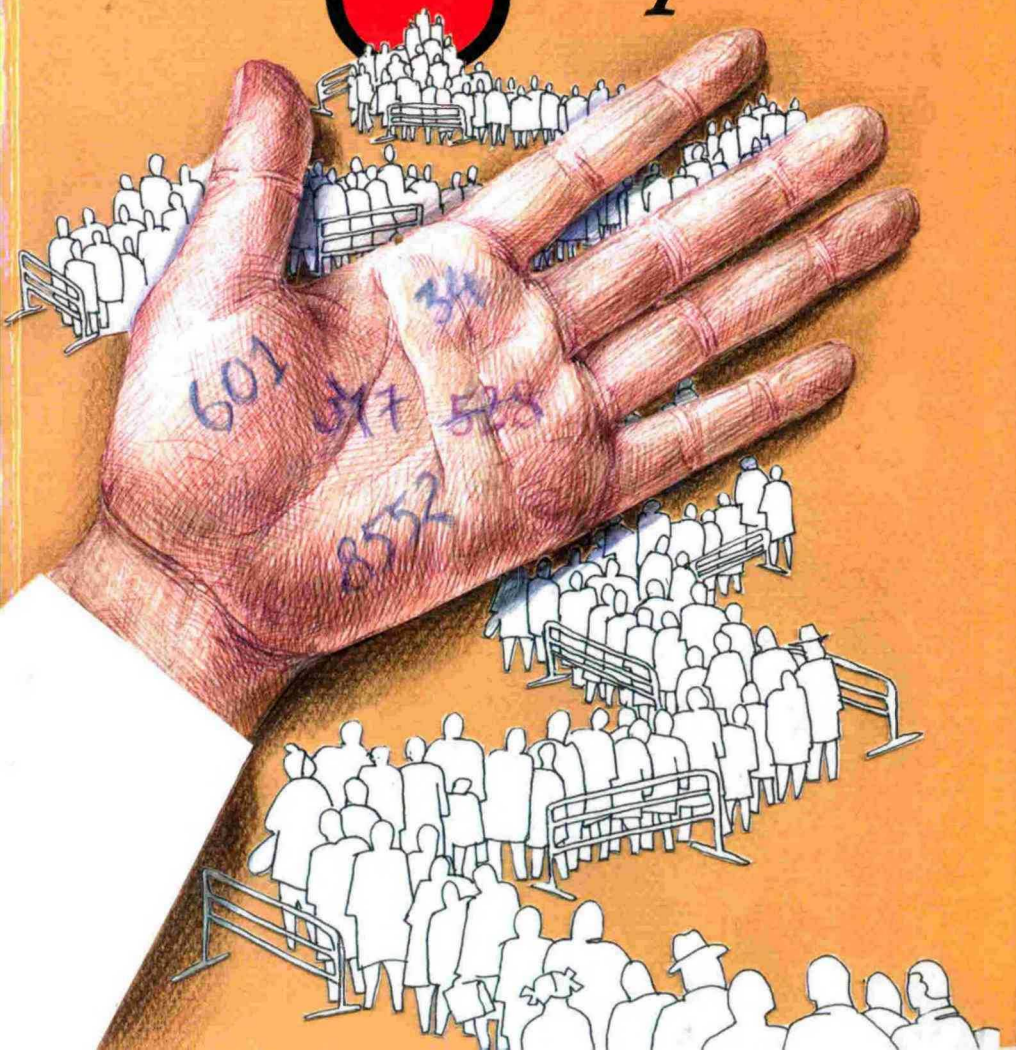


ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

Я родился в очереди



Юрий Дружников

Я
РОДИЛСЯ
В ОЧЕРЕДИ

Москва
Издательский дом
«Хроникер»
2002

«Очередь есть суть и единственный способ существования человека от рождения до смерти, — говорит автор, пятнадцать лет пребывавший на родине в черных списках. — Вся Россия, а впрочем, сегодня и весь мир стоит в очереди за лучшей жизнью, и другого не дано». Название книге дало эссе в газете «Вашингтон пост», опубликованное в 1979 году тогда еще московским писателем Дружниковым и перепечатанное двумястами газетами мира. Некоторые из затронутых здесь проблем остались в прошлом, иные только рождаются, но те и другие являются частью нас самих. Живущий в Калифорнии русский писатель в собранных под одной обложкой эссе, статьях, воспоминаниях, фельетонах, стихах и юмористических миниатюрах, написанных в течение полутора десятков лет ушедшего столетия, пытается понять, что с нами произошло в России и Америке. Дружников пишет искренне, доверительно и парадоксально, размышляя о том, что болит и от чего все же иногда бывает весело.

Книга «Я родился в очереди» впервые издается в России.

ИЗ КАЛИФОРНИИ С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ОТ АВТОРА

Эта книга — попытка соединить вчера и сегодня в собственной жизни русского писателя, живущего в Америке, объять три этапа одной литературной судьбы: годы до эмиграции, процесс перемещения из одной реальности в другую и новую жизнь в иной цивилизации. Автор старался при этом не потерять чувства юмора.

Никогда еще мир не менялся столь стремительно, как в наши дни. Вещи стареют, едва появившись на прилавках. Газетные новости ветшают на ротационных машинах. Взгляды и точки зрения становятся неинтересными, едва они произнесены перед микрофоном. Телевизионные страсти-мордасти зритель равнодушно выключает, чтобы пить чай в тишине. Парадокс мне видится в том, что вещи, новости и взгляды, состарившись, становятся прошлым, а прошлое — это история. История же по природе своей устареть не может. Поэтому призывы забыть прошлое, какими бы намерениями они ни вдохновлялись, мне кажется, обречены. Чем дальше от нас события, тем настойчивее желание вспомнить, осмыслить прожитое, понять заблуждения, отделить истину от лжи. Это тем более так, когда в события вовлечены мы сами.

Название книжки, я бы сказал, символическое. В Москве семидесятых меня перестали печатать и не дали выехать за границу. В 1979 году эссе «Я родился в очереди» и «Исключение писателя № 8552» опубликовала газета «Вашингтон пост». Я не знал, что оно напечатано, вернее узнал через пару дней. Прекрасным летним утром я вышел к машине — стареньким своим «Жигулям». Стекла в машине были выбиты, а на сиденье валялись булжники, которыми в Москве и посейчас еще мостят улицы. Такова была месть за публикацию.

А эссе пошло гулять по свету, из страны в страну, из издания в издание, передавали его и радиоголоса. Когда пресса в России стала чуть более свободной, выражение «я родился в очереди» процитировала газета «Известия», опустив имя автора, которое все еще чис-

лилось запретным: «Я родился в очереди», — сказано у одного писателя. Он мог бы добавить: «и всю жизнь прожил в толпе».*

Нет, не мог бы я этого добавить. Я родился в очереди, но жил не в толпе. Между прочим, русское слово «очередь» в английском делится на два значения: в Америке line (или в Великобритании — queue) — собственно очередь, то есть стоящие змеей люди, и waiting list — список ожидающих своей очереди, и такое уточнение, конечно же, важно. Запрещенный в России автор эмигрировал, но продолжал оставаться в черных списках (waiting list?!) пятнадцать лет, пока его книги начали снова издавать на родине. Очередь подошла сразу, как только рухнул Советский Союз. Получается, что я не только родился в очереди, но жил в очереди всю жизнь. Очередь стала частью моей судьбы.

Все люди на земле — хорошие и плохие, бедные и богатые — от рождения до смерти чего-то ждут, на что-то надеются, стоят за чем-нибудь в очереди. Это называется жизнь.

Книга «Я родился в очереди» выходила в Нью-Йорке и впервые издается в России, хотя «Литературная газета» перепечатывала из нее юмор на полосе «12 стульев», а толстые журналы — некоторые статьи. География газет и журналов, где они печатались, радиостанций, где звучит голос автора: Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Берлин, Мадрид, Лондон, Мюнхен, Варшава, Будапешт, Прага, Эдинбург, Загреб, Мельбурн, Ванкувер, Москва. Отдельные части писались по-английски и теперь переведены для русского читателя, другие создавались по-русски для эмигрантской прессы США или Европы. Будучи изданной в 1995 году в Америке, книга давно исчезла с прилавков. Однако о ней, тогда неизданной в России, спорили критики в российских изданиях.

Перед читателем — стремление восстановить забытое, склеить разорванные части литературного архива, собрать опубликованное в разных местах и в разные годы, а также написанное в стол, попытка из осколков мозаики сложить нечто цельное. Это книга о литературной и нелитературной жизни семидесятых, восьмидесятых и девяностых, диссидентстве и конформизме, нелепостях и зигзагах периода гласности, агонии цензуры и тайных трюках властей, побеге из несвободы в свободу, трудном и плодотворном американском жизненном опыте, наконец, о некоторых проблемах нашего бытия и русской литературы по обе стороны океана.

Калифорния, Дейвис, 2001

* П л у т н и к А. Все как один, или Человек в толпе // Известия, 1989. 15 окт.

I

ВРЕМЯ БЕЗ МЕСТА

*Было время, в котором
Нам не было места.*

Я РОДИЛСЯ В ОЧЕРЕДИ

«Вашингтон пост», 15 июля 1979

Перевод с английского.

Так уж получилось, что я действительно родился в очереди.

Мою мать привезли в родильный дом у Яузских ворот в Москве, который сохранился по сию пору. Мать стояла в длинной очереди к регистраторше. Схватки начались еще дома, и причиной этих схваток было мое непреодолимое желание появиться на свет. К несчастью, мать забыла захватить паспорт, и отец что было сил помчался за ним обратно домой. И хотя отец чуть не стал чемпионом в беге на длинную дистанцию, к тому времени, когда он вернулся, я уже родился.

С тех пор очередь стала неотъемлемой частью моего существования. Или, точнее, я стал частью огромного живого организма, который называется очередью. Ежедневно я стоял в очередях за хлебом, за стаканом воды, чтобы купить рубашку или ботинки, за учебниками и тетрадями, за паспортом и военным билетом, чтобы подать документы в институт, чтобы взять книгу в библиотеке, залечить зуб, жениться, развестись.

Мальчишкой я узнал об очередях на арест. Мужчины и женщины укладывали в чемоданчики нижнее белье, сухари и проводили ночи без сна, ожидая, когда за ними придут. Тогда наступал час другой очереди — на расследование их дела. После суда — очередь на отправку в пересылку, а там очередь в лагерь. В лагере тоже свои очереди: за нарядом на работу, за пайкой хлеба, за кружкой воды.

Вообще, мы, русские, очереди обожаем.

Если вы писатель и хотели бы стать членом Союза писателей, станьте в очередь. Я ждал шесть лет. Долгие годы мои рукописи лежали в издательствах. Некоторые выходили, другие ждут своей очереди по сей день.

Когда писатель умирает, некролог о нем ожидает очереди на публикацию. Райком или горком партии решает, опубликовать несколько слов прощания или нет в зависимости от того, хорошего или плохого поведения был покойник. Иной раз уж и на похоронах отговорили и отплакали, а некролога все нет. Очередь умершего не дошла до тех, кто командует: разрешить сообщить о похоронах в газете или нет. «Вечерняя Москва» обычно печатает объявление о смерти в пропорции: два русских к одному еврею. Поглядите на четвертую страницу. Там соблюдается следующий порядок: мертвый русский вверху, мертвый еврей — под ним. И в этой очереди Великая нация, Старший брат — всегда выше, всегда впереди.

Впрочем, прошу прощения: мысли о смерти появились в моей голове без очереди, поэтому вернемся к живым очередям.

У нас привычно стоять в очередях за всем. Мы не можем себе представить иной жизни. Всегда и всюду стоим мы в очереди. Стоим за билетом на новый фильм. И стоим, чтобы посмотреть старый. Моя дочь хотела увидеть американскую картину тридцатых годов на английском языке. Это можно было сделать только в специальном кинотеатре, достав билет за месяц до просмотра. Она стояла в очереди шесть часов и вернулась в слезах: в очереди все чуть не передрались из-за билетов, ругань висела в воздухе, а в толпе началась давка.

Если приезжий из провинции спешит увидеть тело Ленина и занимает очередь в мавзолее до восхода солнца, к вечеру он будет свободен: здесь строгий порядок, специальные люди подбадривают задержавшихся на секунду, и километровая очередь движется быстро.

Чтобы перебраться из коммунальной квартиры с соседями и общей кухней в отдельную, я ждал очереди тринадцать лет. Записался на холодильник и получил его через три года. После семи лет ожидания в очереди на автомобиль я получил открытку: «№ 033746, гр. Дружников, немедленно

внесите деньги за автомашину. Если они не будут уплачены до 7.30 вечера, вы лишитесь права на приобретение автомобиля».

Уплатив деньги, я почему-то ждал еще три месяца. Наконец, наступил счастливый миг: я выехал за ворота на собственном автомобиле. Через два квартала машина остановилась. Домой я не приехал, ночевал в машине. Мне сказали, что на гарантийный ремонт, который будут делать утром, надо занимать очередь с вечера. Когда машину отремонтировали, я прежде всего поехал занимать очередь за новыми покрышками, которая предполагалась года на четыре. Благодаря такой предприимчивости, мне удалось купить новые шины как раз тогда, когда уже нельзя стало ездить на старых.

Но даже если ваша очередь подошла, это еще не значит, что ожиданиям конец. Однажды в поезде я разговорился с женщиной из Казани. Она ждала своей очереди на установку телефона, при этом вот уже тринадцать лет ей говорили, что ее номер — первый. Догадываетесь, почему?

Фрукты между октябрем и июнем я вижу только у себя на кухне. Их много здесь: апельсины, груши, виноград, бананы, ананасы. Они выглядят очень свежими и сочными на листках иностранного календаря с картинками, который мне подарили американские друзья. Очередей за фруктами почти нет, потому что фрукты в магазинах бывают редко. Но одно время, уж не знаю почему, в магазинах было много моркови. Я пошел и встал в очередь за соковыжималкой. Когда я ее, наконец, купил, морковь из магазинов исчезла, и было не ясно, из чего выжимать сок. Неожиданно появился картофель, надо срочно выяснить, нельзя ли вместо морковного сока пить картофельный?

Любая женщина у нас знает: если в магазине нету очереди — нечего туда и заходить, там ничего нет. Но часто бывает, что ничего в магазине нет, а очередь стоит. Спозаранку бабушки занимают места возле входа.

— Чего выбросили?

— Ничего, милок, — охотно отвечает бабушка.

— А тогда чего же вы ждете?

— Дак ведь, может, чего-нибудь выбросят...



«Я родился в очереди» — иллюстрации Линдетса Линдха к переводу эссе Дружникова, опубликованному в шведской газете «Экспрессен»

Очереди формируют определенные жизненные навыки. Стоять в очереди — самоценная деятельность. Случайно подслушал разговор:

— Вчера в нашем промтоварном очередь была. Я встала, полдня стояла.

— Чего взяла?

— Ничего не взяла.

— Кончилось?

— Да нет, так поглядела и раздумала...

Не имело значения, что давали, важно было — стоять.

Стояние в очереди требует особого опыта. Мы изучаем эту мудрую науку с детства: без нее нельзя выжить.

Моя жена вспоминает: когда она была ребенком, нянька всегда брала ее с собой в очередь, потому что с детьми давали две нормы крупы, мыла или еще чего-нибудь дефицитного. Но еще до того, как нянька приближалась к прилавку, стоящие сзади шепотом договаривались с ней: «Получите — не дадите вашу девочку мне?» — «Так ее же узнают!» — «А мы шапочку с нее снимем. Будто другая...» Так жена моя в детстве сдавалась в аренду.

Есть женщины, ухитряющиеся быть в шести очередях в трех магазинах, двух палатках и на рынке одновременно. И в каждой очереди такая особа возникает точно в момент, когда начинают выдавать. Это, несомненно, еще и особый талант.

Высшая степень искусства, однако, заключается в том, чтобы достать все, что нужно, вообще не простояв в очередях.

Однажды приятель позвонил мне и радостно сообщил:

— Слыхал? Выбросили Мандельштама.

Я схватил такси и через двадцать минут уже ввинчивался в толпу, осаждавшую книжную лавку только для членов Союза писателей на Кузнецком мосту. Дежурный общественник, посплывав карандаш, написал на моей ладони номер 384. Через пять часов действительно привезли однотомник Осипа Мандельштама, и он появился на прилавке. Но мне он не достался. Последний экземпляр схватил человек впереди меня с написанным на ладони номером 381.

Интересно, что о продаже стихотворений Мандельштама, который был убит в лагерной очереди за куском хлеба и потом

несколько десятков лет был у нас под запретом, никаких объявлений не делалось, но все мы как-то об этом пронюхали. А секретари Союза писателей и члены парткома о продаже не знали, но им сообщили. Они тихо заезжали в книжную лавку на следующий день, и продавец с каменным лицом вытаскивал каждому начальнику по томику Мандельштама, заранее завернутому в бумагу, чтобы рядовые писатели (не говоря уж о читателях) этого не видели.

Есть почетные очереди, о которых простые люди мало что знают: преданные власти ученые, артисты, художники стоят в этих очередях в ожидании званий, премий и орденов, получив которые они же стоят в других очередях на получение лучших квартир, дач и прочих даров.

Во многих местах написано, что депутаты и Герои Советского Союза обслуживаются вне очереди. Что касается начальства, для него всё распределяется без очереди по особым каналам в зависимости от высоты положения каждого. На определенном уровне их шоферы и секретари отправляются в закрытые распределители и там закупают всё по особым спискам. Начальники заняты заботами о нашем счастливом будущем, и им некогда стоять в очередях. И, конечно, для того, чтобы думать о нашем будущем, начальникам нужно лучше питаться, им нужны особые продукты.

Что касается нас, мы — люди простые. Мы стоим в простых очередях за простой картошкой.

Очередь — явление вечное, спешить в ней ни к чему. Когда надо будет, она сама подойдет, если вы еще останетесь в живых. Впрочем, право стоять в долгой очереди передается по наследству, и это одно из достижений нашей замечательной системы. Если умер отец, его сын, представив соответствующие документы, может продолжить дело отца и ждать нужную вещь, приходя в магазин раз в месяц на переключку.

Однажды чужестранец, идя со мной по Москве, воскликнул:

— Но почему? Почему вообще существуют эти очереди?! Разве у вас недостаточно населения, чтобы нанять трех продавщиц туда, где стоит одна?

— Продавщиц-то, конечно, хватит! Но, видите ли, три про-

давшицы продадут весь запас колбасы за полчаса. И что тогда они будут делать остальную часть дня?

Я думаю, кое-кто у нас заинтересован в сохранении очередей. У физиков есть такой термин: диссипация, то есть рассеяние энергии. Это когда энергия куда-то девается. Не ведаю, знают ли физики, куда именно, но наши власти знают очень хорошо. Очередь есть весьма хитроумное и удачное нововведение в области рассеяния человеческой энергии. Представьте себе жизнь без очередей. Это очень опасно для государства. Чем люди заполнят день, если не придется стоять в очередях? О чем начнут думать? Что им захочется делать? В сущности, очередь — это огромная государственная соковыжималка.

Очередь есть суть и единственный способ существования российского человека от рождения до смерти. Вся Россия стоит в очереди за лучшей жизнью, и другого не дано. Писатели стоят в очереди и после смерти, ждут признания, издания своих книг, — за примерами ходить недалеко.

Что касается советских газет, то они с удовольствием сообщают об очередях на Западе. Когда там был энергетический кризис, у нас охотно печатали фотографии с очередями автомобилей у бензоколонок. Злые языки тогда говорили, что эти фото снимают в Москве, исхитряясь, чтобы не было видно зданий, марок автомобилей и подробностей. Но так или иначе, очереди на Западе тоже бывают, и мы горды, что в этом тоже стоим впереди других стран и что другие страны заимствуют достижения советской цивилизации.

Однажды в очереди я услышал, как человек, простой русский работяга, сказал:

— Часа два простоишь, так не то что в Израиль — к китайцам согласишься уехать!

Я и сам устал стоять в очередях. И хотя жаль было не достоять в очереди в издательстве и увидеть вышедшей свою книгу, я отправился в ОВИР.

Тут, за визами на выезд, множество видимых и невидимых очередей. Шесть месяцев я ждал только для того, чтобы услышать одно слово: «Отказано». С тех пор стою в очереди и уже намотал на ус то же слово много раз. Иногда здесь слышен шепот новичка:

— Кто последний в очереди за свободой? Я за вами!

Эта очередь — своеобразный клуб, где нет иных развлечений, кроме рассказывания и выслушивания самых разнообразных слухов. Говорят, например, что тех, кто не хочет уезжать, будут заставлять уехать, а тех, кто хочет уехать, будут держать в очереди вечно.

Вчера я встретил приятеля. Это произошло в маленьком переулке возле ГУМа. Мы остановились поболтать. Неподалеку змеилась длиннющая очередь к двери с надписью «Ж». Сотни две девочек, женщин, старух подпрыгивали в нетерпении. Вдруг наш разговор прервала леди средних лет с бегающими глазами.

— Вы последний? — воскликнула она.

— Я?!

Но, не ожидая ответа, она крикнула:

— Я за вами!

И приняла позу бегуна на старте.

ЛИКВИДАЦИЯ ПИСАТЕЛЯ № 8552

«Вашингтон пост», 18 ноября 1979

Перевод с английского.

В Москве исчез писатель, и довольно долго это оставалось незаметным. Писатель ведь — не актер, не бизнесмен и не политик. С утра до ночи он дома, за машинкой, в одиночестве. Возможно, даже не подходит к телефону. Одиночество пока все еще самое лучшее средство, чтобы писать. Исчез писатель, и читатели полагали, что он сочиняет новый роман. Наиболее циничные коллеги жалели: небось, сменил чай на водку и спивается, как все.

Сам писатель, однако, некоторое время и не подозревал, что он исчез. Но однажды на улице его остановил критик и удивился:

— А вы разве не умерли в прошлом году?

— Насколько мне известно, нет, — ответил писатель.

— Тогда почему же мне велели вычеркнуть ваше имя из анализа литературного процесса этого года?

Потом писателю позвонила библиотечарша, добрая и умная, которая организовывала его встречи с читателями по меньшей мере пятьдесят раз. Ее скрипучий голосок он сразу узнал.

— Я звоню из автомата, — затараторила она. — По имени меня не называйте. Пришло указание все ваши книги изъять и сжечь. Ну, в общем... я их потихоньку самым старым читателям раздала... А что там у вас случилось?..

Книги писателя исчезли из магазинов. Имя перестало появляться на страницах газет и журналов. Голос его, до этого регулярно звучавший в популярной радиопередаче «Взрослым — о детях», умолк. Немного спустя ликвидированный писатель

услышал свое собственное имя в фойе Центрального дома литераторов. Незнакомый человек произнес:

— Слыхали новость? Ну, конечно, он уже в Америке. Еще один!

Писатель и не знал, что он уже живет в Америке. Он пошел в поликлинику в Москве лечить зуб. Но главный врач поликлиники сказал, что он получил указание больше не лечить ни его, ни его семью.

— Вы хотите, чтобы я стал беззубым?

— Не я хочу, а я не хочу! Я не хочу себе неприятностей.

Странные события между тем продолжались. Новый юмористический роман писателя «Каникулы по-человечески» в издательстве «Советская Россия» был снят с печатных машин. Писателю шепотом сказали, что это было сделано «по звонку оттуда». Книга прозы «Тридцатое февраля» в издательстве «Советский писатель» и сборник рассказов «Зайцемобиль» в издательстве «Московский рабочий» также мистически исчезли, и автор не смог получить не только деньги за свои труды, но и рукописи. Последних, как ему объяснили, не могут найти.

Немного времени спустя приятель прилетел из Астрахани, где был свидетелем странного эпизода. Ранним утром вдоль набережной шли две женщины в черных халатах и длинными ножами соскребали со щитов театральные афиши с именем исчезнувшего писателя и вполне невинным названием его комедии «Учитель влюбился».

Теперь писатель и сам начал сомневаться в своем собственном существовании. Он был абсолютно уверен, что он еще не живет в Америке. Но оказалось, он не живет и в Москве. Тогда где же он?

Несуществующий человек был раньше весьма популярной темой русской литературы. Гоголевский герой, путешествуя по России, скупал мертвые души. Толстой вывел на сцену живой труп. Тынянов нарисовал подпоручика Киже. Но теперь живого писателя сделали чем-то вроде вышедших из моды литературных героев. Он стал мертвой душой, живым трупом и подпоручиком Киже. Новизна ситуации состояла в том, что как писатель человек был полностью ликвидирован, но физически еще кое-как существовал.

И в том, и в другом я был абсолютно уверен, потому что я сам оказался этим исчезнувшим писателем. Ликвидировали меня самого.

Любопытным было то обстоятельство, что Союз писателей не посылал мне никаких бумаг об исключении. Последним было письмо с благодарностью за большую общественную работу в писательской организации, — за то, что я работал с молодыми писателями. Но это было «до». Что же делать теперь?

Решил я играть в наивность: отправил письмо Георгию Маркову, первому секретарю Союза писателей. Исключен я или нет? И если исключен, то на каком юридическом основании? А если нет, почему меня лишили права заниматься своей профессией?

Ответа я не получил. Видимо, поскольку Союз уже ликвидировал писателя № 8552, отвечать теперь было некому.

Тогда я поплелся выяснить, что происходит. Бдительные дежурные у входа в Центральный дом литераторов сразу узнали меня и не пустили в дверь.

— Но почему?

— Велено сказать, сами догадаетесь почему.

На деле, чего уж тут догадываться? Ведь кое-кого и до меня исключали. Номер моего членского билета 8552 есть, в сущности, мой порядковый номер в списках со времени создания единого Союза советских писателей в 1934 году. Список литераторов, изъятых из Союза за это время, содержит самые известные в русской литературе имена. Парадокс в том, что именно эти писатели, такие, как Ахматова, Зощенко, Пастернак, Солженицын (список можно продолжать долго), и составляют золотую сокровищницу современной русской литературы. А писатели, которые их исключали, напрочь забыты. Циники утверждают: для того и принимают в Союз писателей, чтобы человек остерегался и писал то, что желательно. Периодически изгонять некоторых для примера просто необходимо, чтобы другие, те, кого еще пока не исключили, тоже боялись.

Но если так, зачем они сделали это тайно не только от других, но и от меня самого? Других выгоняли с шумом, а тут тишина. Такой случай произошел впервые. Раньше такие акции

всегда проводились официально. Вычеркнутых писателей называли врагами, идеологическими диверсантами, агентами ЦРУ и клеймили в газетах публично. Теперь ввели новые порядки, с их точки зрения, более гуманные.

Исключение, начиная с меня, — секретная операция. Официально больше не третируют, газеты молчат, все шито-крыто. Союз писателей стал настолько секретной организацией, что рядовому члену не положено знать, состоит он в Союзе писателей или уже нет. Слухи, однако, исправно циркулируют, видимо, чтобы другие писатели не вздумали перестать бояться.

Благодаря дружбе с Неизвестным Солдатом (так мы теперь говорим, если не хотим называть имя), я узнал, что на закрытом собрании Московской писательской организации первый секретарь доложил собравшимся, что данный писатель встал на путь измены своему народу. За ликвидацию меня как писателя проголосовали в едином порыве все секретари и члены правления.

Обвинение в измене, позвольте вам сказать, не анекдот, за него по советскому Уголовному кодексу грозит смертная казнь. У меня оказалось достаточно времени, чтобы обдумать свое преступление. Согласно какой логике эмиграция приравнивается к измене? Каким образом я изменил своему народу? Я русский писатель, частица русской культуры, истории и литературы, где бы я ни жил.

— Скажу тебе по секрету, — оглянувшись, сказал мне в конце концов в неофициальной беседе на улице один из руководителей Союза писателей. — Наверху недовольны тем, что происходит.

Я сделал изумленное лицо.

— А что происходит?

— Ну, утечка культуры, потеря мозгов — называй как хочешь. Надо сдерживать поток. Ты только себе портишь тем, что шумишь, на Западе печатаешься. За это, между прочим, сажают. Молчи — и тебя скорее выпустят.

— Но если они так ценят мой мозг, почему мне не дают публиковаться?

— Твой мозг уже не ценят, — просто сказал он. — У тебя теперь не наш мозг. И сам факт, что такое происходит, нашему руководству неприятен. Зачем же афишировать?

— Понимаю: я засекречен. Исключение из Союза писателей — государственный секрет. Что бы я ни написал, печатать нельзя: тайна. А как же мое право на труд?

— Ой! — он застонал, будто у него заболел зуб. — Слушай, не употребляй ты этого антисоветского слова «право»!

— Значит, печататься мне здесь не дадут. Что же мне остаётся? Писать детские рассказы для Самиздата?

— Ш-ш-ш! Только навредишь себе такими разговорами. Лучше всего — молчи!

В наивном девятнадцатом веке считали, что русский писатель по сути своей человек, главная задача которого говорить правду, как он ее понимает. Союз писателей устами своего руководства изрек свою последнюю директиву: главная задача писателя — молчать.

Теперь придется в соответствии с новыми требованиями секретности усовершенствовать литературные жанры. Секретный роман: его разрешается читать только одному читателю — цензору. Совершенно секретная комедия: зрители смотрят ее, а занавес при этом закрыт. Совершенно секретные, особой важности стихи: поэт открывает рот, но не произносит звуков — как рыба в воде.

Раньше разыскивали врагов среди своих и поднимали вокруг них шум. Теперь тоже разыскивают врагов, но побыстрей их прячут, чтобы все было тихо.

Основной принцип дематериализации элементарен. Писатель, который уезжает, как бы и не существовал. Он изымается не только из настоящего, но и из прошлого. Секретный код, состоящий из одного слова, поступает в издательства, в газеты и журналы, на радио и телевидение, в кино и театры, в библиотеки и дворцы культуры. Вот живой пример, как работает система.

Известный историк Александр Некрич подал заявление на выезд. В очень солидном московском издательстве раздаётся звонок. Строгий баритон командует:

— Некрича — тоже.

Тожe — это есть условный код, означающий, что Некрич из товарища превратился в господина, то есть выехал, и его имя следует дематериализовать. Процесс этот не такой простой, как может показаться дилетантам.

Главный редактор (назовем участников условно) Петров вызывает заведующую редакцией Кукушкину. Спросив ее о погоде, смотрит на потолок и, как бы между прочим, равнодушным голосом сообщает:

— Кстати, Некрича — тоже.

Кукушкина понимающе кивает, идет к себе и шепчет старшему редактору Бессмертному:

— Некрича — тоже.

Старший редактор Бессмертный — человек беспартийный, он может позволить себе хихикнуть или, наоборот, с возмущением негромко воскликнуть:

— Черт бы их побрал, скоро некого будет печатать!

Бессмертный идет к младшему редактору Люсе, которая как раз начала подчищать и подклеивать очередную рукопись для сдачи в типографию. На ходу он соображает, как бы подороже продать новость.

— Если я кое-что скажу, — таинственно произносит он, — что я с этого буду иметь?

— Это зависит от того, что именно скажете, — неопределенно обещает Люся.

— Некрича — тоже.

— Здрассте! За это не только ничего не причитается с меня. За это мне надо платить сверхурочные.

И правда, у младшего редактора прибавляется куча работы.

Процесс дематериализации, то есть ликвидации следов писателя в литературе, сложен и тяжел. Книги требуется изъять из обращения, имя вынуть из всех библиографий, сносок, ссылок, статей, обзоров и рецензий. Все, что младший редактор Люся прочитала, надо снова перечесать. Не дай Бог Люсе пропустить имя Некрича в каком-нибудь малюсеньком примечании! И это только в одном издательстве. А сколько их — да еще журналов, газет, библиотечных каталогов...

Как тут не посочувствовать моим коллегам по Союзу писателей. Многие из них прислуживают в редколлегиях и редсоветах бесплатно, на общественных началах. Они заседают, единодушно одобряют, единогласно поднимают руки, строчат секретные отчеты для начальства, которые никогда не будут опубликованы. Книги им писать уже некогда. Но опыт накоплен

немалый, и работа по изъятию несознательных авторов на всех уровнях продвигается успешно.

Лег я спать, и снится мне, что я оказался в США, в том самом Американском ПЕН-клубе, куда меня заочно приняли. А там знакомая ситуация. Курт Воннегут, поругав власти, вдруг заявил, что едет в Германию. Президент ПЕН-клуба Бернард Маламуд мгновенно, по секретному звонку из ФБР, дает команду дематериализовать Воннегута. Сам Воннегут об этом не подозревает: его ведь исключили тайно.

Издатель вызывает редактора и небрежно бросает:

— Воннегута — тоже.

У редактора прибавляется работы.

И вот пришел читатель-почитатель Воннегута в магазин, а ему говорят:

— Не знаем такого писателя. Что-то вы ошиблись. Нет такого и никогда не было.

— То есть как это не было?

— Тс-ссс... Не было, и все тут.

Читатель — в библиотеку, но и тут то же самое.

В это время пролетел слух, будто Бернард Маламуд собирается поехать во Францию. Стало быть, он тоже встал на путь измены своему народу. Мгновенно он уже не только не президент Американского ПЕН-клуба, но даже и не член его. И некая личность, исполняющая обязанности секретаря, обзванивает издательства:

— Маламуда — тоже.

Затем его лишают американского гражданства, и вернуться в Соединенные Штаты Маламуду запрещено.

Артур Миллер отправился в Китай. Союз Авторы тайно голосует за его исключение, и вот Миллер в черном списке. Книги его изымают из библиотек и сжигают. Рукопись его новой книги таинственно исчезла из издательства. Его пьеса, которая с таким успехом шла весь сезон на Бродвее, снята без объяснений. В общем, Миллера — тоже.

Я просыпаюсь в поту, пью воду. Что-то мне в Америке не нравится. То ли дело в Москве! Тут, как известно, все отлично.

ПОТЕМКИНСКАЯ ОЛИМПИАДА*

«Нью-Йорк таймс», 17 июля 1980

Перевод с английского.

За шесть месяцев до открытия Московской Олимпиады 1980 года страна, принимающая у себя гостей, начала военную интервенцию, напав на Афганистан, своего южного соседа, тоже участника этих самых Олимпийских игр. Советские танки соревнуются, кто быстрее ворвется в Кабул. Единственный благородный жест Международного олимпийского комитета — перенести игры в другую страну. Мои единомышленники-москвичи надеялись, что весь остальной мир солидарен с нами.

Однако Международный олимпийский комитет, заявляя, что спорт не связан с политикой, закрывает глаза на тот простой факт, что одна страна-участница лихо оккупирует другую. На деле моральная слепота комитета лишь способствует разладу в олимпийском движении. Он устранился от протеста, и теперь ответственность за решение ехать в Москву или не ехать лежит на плечах самих атлетов на их совести.

Ваша дилемма нам, живущим за «железным занавесом», хорошо понятна. Знаем, как тяжело тренировались вы несколько лет, как упорно работали на этот день. Это так естественно —

* Это эссе Дружникова, жившего тогда в Москве, опубликованное в газете «Нью-Йорк таймс», способствовало бойкоту Соединенными Штатами проводимых в Москве Олимпийских игр 1980 года. Вслед за США на советские Игры не приехали спортсмены тридцати стран, а затем в Америке началось движение протеста против участия команды СССР в Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В результате советская команда и страны социалистического блока были отстранены от участия в этих Играх.

желать добиться славы, которая откроет перед вами все двери. Больше того, ни с чем не сравнимое чувство — быть в центре внимания тысяч приветствующих болельщиков, раздавать автографы, ощущать на себе восторженные взгляды русских девочек со всеми следующими за этим обстоятельствами.

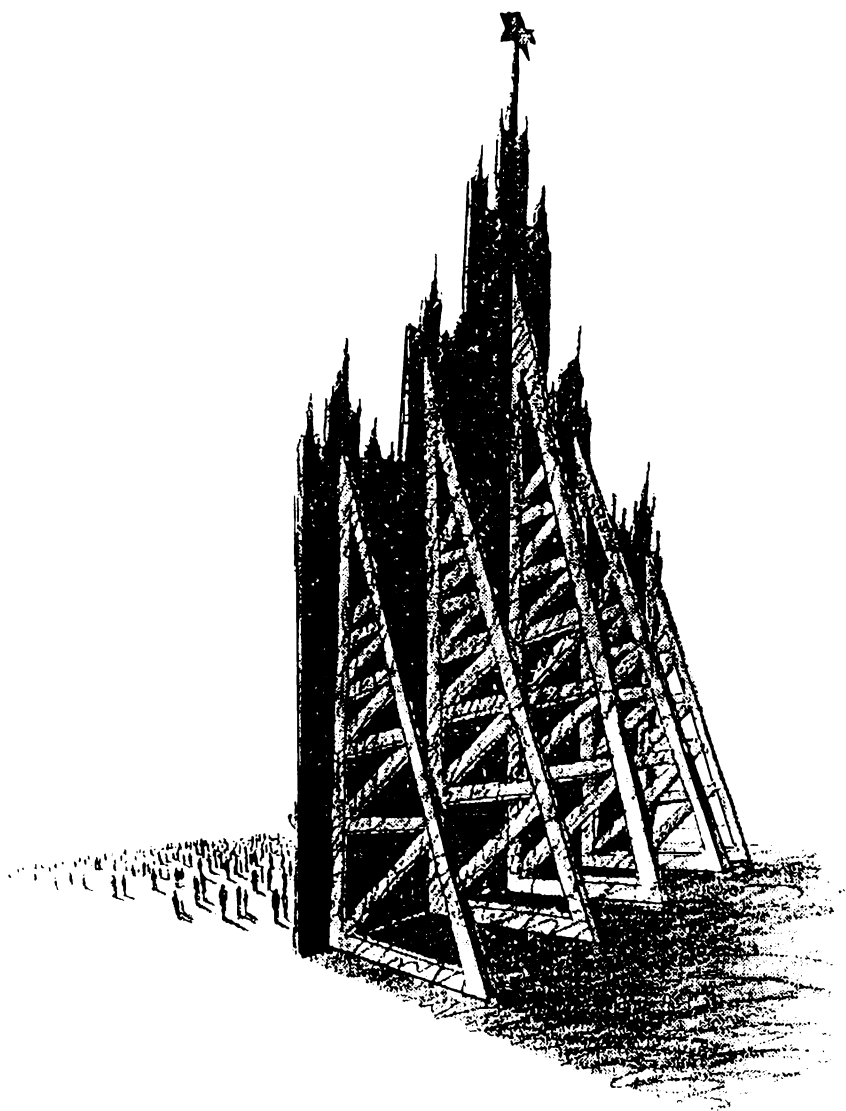
Не мое дело указывать вам, как следует и как не следует поступить, но позвольте пригласить вас за кулисы. Могу показать, какие официальные приготовления ведутся у нас к предстоящим Играм, о чем заботятся и что реально делают власти к вашему приезду в Москву.

Что вас ждет, так это блистательное шоу, организованное по указаниям партийных аппаратчиков всеми ветвями властей, и прежде всего тайной и не тайной полицией, а также армией по формуле, давно у нас известной. Будьте уверены, что каждый момент вашего присутствия в советской стране, включая свободное время, давно и жестко запрограммирован. Днем и ночью, на улице и в постели за вами будут наблюдать заботливые и бдительные глаза.

Вы окажетесь приглашенными на официальные приемы, где речи о свободе, счастье, мире, дружбе и светлом будущем вперемишку с водкой и шампанским будут литься рекой. Хозяева, держа вас за руку, поведут в театры, музеи, дворцы культуры. Вас повезут на автобусах со знающими что говорить и о чем молчать гидами к историческим достопримечательностям, познакомят со славным революционным прошлым вождей.

Система сработает великолепно от первой минуты, когда вы ступите на землю аэропорта Шереметьево и до последнего мгновенья, когда вы оторвете от земли ноги, поднимаясь на трап самолета. Все сделано для вас и против нас, обыкновенных москвичей. Мы — прокаженные. Вы нас не увидите, а мы вас — ну разве что по телевизору. Не сомневайтесь, КГБ и милиция знают свое дело! Их силы утроены на весь период Игр (начиная с долгих месяцев, Игры предваряющих). Заметите ли вы их? Все они одеты, как вы и мы — в гражданское.

Думаете, удастся увидеться с нормальными русскими? Забудьте, дорогие гости, об этом! Молодежь наша уже отправлена в отдаленные районы на стройки и в колхозы. Даже даты



*«Потемкинская Олимпиада» — рисунок из газеты
«Нью-йорк Таймс» (1980)*

выпускных и приемных экзаменов в институты и университеты перенесены, чтобы обеспечить эвакуацию из Москвы лишних групп населения. Столица очищается от «нежелательных элементов»: активных диссидентов и просто думающих иначе, отказников, людей, которые только подали документы на выезд и ждут ответа, безработных, нищих, инвалидов, алкоголиков. Их удаляют из города, из зоны видимости, прячут за горизонт. Непослушных арестовывают. На улицах, где вы будете проезжать, у окон и на крышах будут дежурить агенты. Сердечные приветствия уже разучиваются наизусть представителями соответствующих органов. Гостеприимные хозяева создают для вас образцовый город, реализованную утопию.

Столица нашей страны превращается в закрытый город. В нем комендантский час превратится в комендантские сутки, а точнее, комендантские две недели — военное, осадное положение. Тотальная блокада в действии. Я имею в виду теперь не иностранцев, но советских граждан, которые живут за пределами Москвы. Ни единый автомобиль с немосковским номером не будет пропущен внутрь за кольцевую дорогу. Даже все деловые поездки в город отменены. Случайности исключаются. Стокилометровую зону вокруг Москвы не пересечет ни один самолет, ни один поезд, автомобиль, автобус или пароход. Строжайший паспортный контроль везде.

Какие радости возможны в таких условиях? Вам объявлено, что Москва готова гостеприимно обнять всех. И в самом деле, телевидение показывает десятки новых олимпийских строений. Но любой москвич скажет вам, что вы будете жить не в Олимпийской деревне, а в Потемкинской — фальшивый фасад с подпорками сзади. Сооружение целиком — гигантская игра, в которую насильно вовлечена вся страна. И в этой Потемкинской олимпийской деревне не будет ничего похожего на то, как мы в действительности живем.

Сотни тысяч наших сограждан живут в убогих подвалах, полуподвалах и коммунальных квартирах, где на пять семей одна кухня и один туалет. Наши города страдают от дефицита жилья, продуктов, питьевой воды и самых элементарных социальных, медицинских, спортивных учреждений. Чтобы возвести новые роскошные отели и спортивные сооружения для Игр,

власти резко уменьшили строительство жилых домов. И вот нужда в жилье стала еще острее с тех пор, как цемент и сталь, а также силы строителей брошены на олимпийские объекты.

Факты эти не бросятся вам в глаза, от гидов услышите вы прямо обратное. А между тем, специальные купоны, чтобы купить кусок мяса и пачку масла, во множестве советских городов существуют многие годы. В Саратове, Набережных Челнах, где построен самый большой советский завод грузовиков, в Горьком, в Хабаровске в продовольственных магазинах висят надписи: «Мясо продается только по талонам. Месячная норма на человека 1,5 кило». Это около трех фунтов, или 0,1 фунта (50 граммов) в день. Сподручно ли западному спортсмену закладывать кусок шашлыка в рот, если этот кусок, выражаясь условно, вынут изо рта человека, который живет в ста километрах от олимпийского ресторана?

Если уж вы обязательно хотите приехать к нам, приезжайте, по крайней мере, с открытыми глазами. Поддержите нас, покажите, что вы действительно свободные люди. Говорите свободно! Протестуйте против ареста и ссылок советских диссидентов. Требуйте возвращения нобелевского лауреата Андрея Сахарова в Москву, амнистии политическим заключенным, свободы эмиграции для тех, кто хочет уехать. Не бойтесь наших властей, — не посмеют же они упрятать вас за решетку.

Что собираетесь вы предпринять? Во что верите? Ради чего живете? Хотите ли получить золотые медали из рук улыбающихся чекистов, которые заткнули рот своему народу? Вы уедете домой, поверив, будто советские люди живут также счастливо или даже еще более счастливы, чем вы. Неужели, зная обо всем, что здесь, в Москве, сейчас происходит, вы все же решите приехать?

КАК МЕНЯ РЕДАКТИРОВАЛИ

«Панорама», Лос-Анджелес, 1995, № 723

Недавно, выходя в Москве из метро, встретил знакомую. До пенсии (если это можно там теперь называть пенсией) она работала в том самом издательстве, о котором пойдет речь чуть ниже.

— Вам привет от Б., — вспомнила она.

— А разве он жив еще?

— И здоров. Тут как-то поймал меня за рукав на улице. Консультирует какую-то секретную структуру. Говорил, что следит за тем, что вы пишете. Зря, сказал он, вы в своем романе издеваетесь над органами: они обид не прощают.

— Неужели он это серьезно? Ведь сейчас...

— Я только повторила, без комментария. Советовал сочинять осторожнее. Вы ведь его помните.

По полутемной улице я брел, невольно оглядываясь. Б. сразу явился в моей памяти из сигаретного дыма.

* * *

Неприятно искать оправданий собственной слабости: перед читателем стыдно. В общем, не следовало бы все рассказывать. Но это случилось давно, и если уж прошлое держать в тайне, о чем тогда вообще писать?

С этим московским издательством у меня были хорошие отношения и договор. Тема, хотя и названная туманно, стояла в плане, а план выполняли не только для рапорта, но и для получения прогрессивки. Автор обязан был сдать рукопись вове-

мя, хоть кровь из носу. Я уехал на два месяца в Дом творчества, работал от темна до темна и вручил машинописный экземпляр главному редактору.

Не повезло сразу же: моим редактором назначили Б., усталого человека лет пятидесяти пяти, в черном костюме и таком же галстуке с засаленным узлом. Сам он и воздух вокруг него пропитались удушающим сигаретным дымом. И еще от него пахло провинцией, не объяснить, как именно.

У нас с ним уже был опыт общения. Говорил он вкрадчиво, глядя мимо, а ладонями водил по столу, сгребая пепел. Большую часть рабочего дня он стоял в темном коридоре и курил. Год назад в свободное от курения время он отредактировал мою книгу «Спрашивайте, мальчики»: резал пополам страницы рукописи и клеивал туда цитаты Маркса и Ленина из сборника «В мире мудрых мыслей».

— Без этого звучит аполитично, — тихо разъяснял он. — Нужен фундамент.

— Дело не в цитатах, а в духе, — тогда возразил я.

— Дух надо подкреплять цитатами. Не помешает!

В ту книгу он врезал, кажется, только три цитаты — в начало, середину и конец. Теперь Б. скосил глаза на папку с рукописью, как бы оценивая качество романа по объему и прикидывая количество цитат из вождей, которое придется клеивать. Затем, поставив рядом с папкой вертикально сигарету, как линейку, он смерил толщину.

— Что ж, поглядим, — сказал он.

На самом деле он решил сперва дать поглядеть другим. Поскольку там упоминалась школа, рукопись ушла на внутреннюю рецензию в Академию педагогических наук. Месяца через три оттуда пришел вежливый ответ на нескольких страницах. Говорилось, что автор очень интересно рассказывает о жизни вообще и о работе уголовного розыска, но, к сожалению, ничего не понимает в педагогике. В чем выражается непонимание, не объяснялось. Однако в тех местах, где критиковалась педагогика или в смешном виде описывались учителя, стояли на полях жирные вопросительные знаки, иногда подкрепленные восклицательными.

Получив такую рецензию из педагогического ведомства, Б., человек объективный, послал роман на проверку в Министерство внутренних дел. Там, как следовало из присланной через месяц рецензии, были довольны педагогическими вопросами, затронутыми в романе, но определили, что автор не знает специфики работы советской милиции.

— Ну, как быть? — спросил редактор, держа в руках обе рецензии.

Неужели он пошлет рукопись в некое Третье место, в котором из намеков и, как выражаются цензоры, неконтролируемых ассоциаций, сделают такие выводы, до которых и сам автор не додумался? Увидев мое замешательство, Б. ответил на свой вопрос неожиданно просто и смело:

— Теперь они нам развязали руки. Поработаем!

— Может, я сам попробую подумать, что и как?

— Нечего тут думать! Вы будете жалеть свой текст и только время потратите. Основу я возьму на себя.

Вспоминаю этот момент теперь, и мне чудится, что большие портновские ножницы, которые лежали на его столе, подпрыгнули и весело лязгнули. Это — преувеличение. Ножницы лежали тогда равнодушно. Но именно этот музыкальный инструмент редактор имел в виду, сказав «поработаем». Через месяц он позвонил и просил срочно приехать. Он курил в коридоре и, увидев меня, сразу сообщил, что я заставил его попотеть, но основная работа закончена.

— И каков результат? — с тревогой спросил я.

Он молча прошел к столу и придвинул папку. Рукопись похудела на добрую треть.

— Намайлся я с ней. Но теперь стало чище. Почти все, не совсем правильное, непонятное и двусмысленное я уже убрал. Роман стал значительно стройней, но мешают еще оставшиеся огрехи.

Б. медленно листал страницы, позволяя прочесть его замечания на полях, там, где он сам еще не вырезал.

— Тут уж вам карты в руки, все-таки вы — автор. Забирайте рукопись и действуйте по моим указаниям. Причем быстро. Время поджигает, надо сдавать в производство.

— Сколько же вы мне даете времени?

— Дня три, не больше.

Я стал было возражать, но он похлопал меня по плечу.

— Ладно-ладно, подумайте, а после решим...

После, просматривая дома текст, я насчитал двести пятьдесят одно изъятие из рукописи, в иных местах добавки, меняющие смысл.

«Слова «Бог», «ей-богу», «молиться» и пр. — пережитки. Их надо искоренять из языка», — читал я на полях.

«Заменить фамилии, очень грубые для работников милиции».

«Зачем учительнице учиться пить водку?»

«У вас плохой отец. Но он ведь коммунист! Или убрать, что плохой отец, или — что коммунист».

И так далее...

Я швырнул рукопись под диван и старался о ней забыть. Через неделю Б. позвонил.

— Закончили? Сроки-то прошли... Ну, вот что: берите рукопись и приезжайте. Вместе будет веселей.

Не знаю, почему он сказал «веселей». Ни разу не видел, чтобы он хотя бы улыбнулся. Строгость была частью его натуры. Знакомая из того же издательства рассказала, что в сталинские времена он служил в НКВД и был большим шишкой в дальневосточном Гулаге. Редактор из соседней комнаты, мой бывший однокашник, шепнул по секрету, что Б. однажды перебрал на редакционной пьянке и стал чересчур резво хлопать женский персонал по попкам. Директор издательства пожурил его, а Б. огрызнулся:

— Да заткнись ты! Я в лагере гарем держал. Вызывал по одной для воспитательной беседы, а кончив мужское дело, любил затянуться и потом сигарету об ее белую грудь гасил. А тут и шлепнуть нельзя. Вы у меня допрыгаетесь!

И директор проглотил угрозу, отошел.

Когда лагерь сворачивали, Б. направили служить редактором газеты в Магадане, откуда его поперли, якобы за то, что не сработался с обкомом. Назначили сюда, и все боялись с ним связываться. Получал он скромную зарплату старшего редактора в добавку к персональной пенсии и работал, не халтуря. Однажды, указывая в окно (наискосок от издательства, в отда-

лении, было расположено историческое здание Пыточного двора, в обиходе именуемое Лубянкой), Б. сказал:

— Там дела посерьезней.

И вздохнул. Ему нельзя было не посочувствовать. Сейчас он снова вел следствие. Подсудимым был мой роман. А преступник, то есть автор, пока оставался на свободе.

Мы принялись за дело, следователь и подследственный, судья и подсудимый, палач и жертва, рука об руку. Конечно, он курил, а я давно бросил, и он окутывал меня дымом, в котором тонула бедная моя рукопись. Потом он вдавливал сигарету в пепельницу, стоящую на рукописи так, что, казалось, прожжет пепельницу и текст.

Замечание о слове Бог (Бог он писал, конечно, с маленькой буквы) относилось к следующей фразе: «Вика произносила слова, как заклинание, и молилась в надежде, что ее услышит если не Бог, так хоть Бугаев, министр гражданской авиации».

— Давайте уберем бога. В сущности, он тут и не нужен.

— Уберем, — согласился я. — Если вы настаиваете.

— И поскольку мы бога убираем, слово «молилась» теперь, конечно, тоже ни к чему.

— А что останется? «Вика произносила слова, как заклинание, в надежде, что ее услышит Бугаев, министр гражданской авиации»...

— Знаете что? Зачем попусту трепать имя члена правительства? К тому ж Бугаев был раньше знаете кем? — Б. повел глазами на потолок и, помолчав для солидности, раскрыл государственную тайну: — Бугаев был личным летчиком Леонида Ильича. Это необходимо учитывать. Уберем имя, поскольку ни с кем не согласовано.

— Уберем! — радостно согласился я, входя в атмосферу творческого подъема. — Краткость, по Чехову, сестра таланта. Что у нас от фразы осталось? «Вика произносила слова, как заклинание».

— За-кли-на-ние, — задумчиво повторил он. — Знаете, в этом тоже мистика какая-то... Есть планы, решения, убеждения, призывы, а заклинание — это не из нашего ряда...

— Уберем всю фразу! — смело предложил я.

— Это будет самое мудрое решение, — и Б. поддел указательным пальцем ножницы.

Ззз-ик! Звук тот у меня в ушах до сих пор.

Медленно, но уверенно мы двигались вперед. Вычеркивали все, что касалось намеков на политику («Зачем вам в это лезть? Не это главное в романе».) Перед тем как что-то изъять, он обязательно уточнял со мной: что именно я имел в виду в каждом показавшемся ему подозрительным месте. Само собой, я врал, что ничего не имел в виду, но он все равно вырезал, на всякий случай.

Вслед за политикой рубили личные отношения и, тем более, секс. Не то чтобы прямо сексуальные сцены, этого там не было, — я же понимал, куда сдаю роман. Но человеческие отношения между мужчиной и женщиной он рассматривал с подозрением. Зоркости его взгляда можно было позавидовать.

— «Он взял ее за локоть», — медленно, со смаком читал он. — А вы уверены, что читатель нам поверит, что он ее взял именно за локоть?

— Ну, а за что еще?

— Ну, мало ли... — пошевелив губами, пробурчал он. — Вымараем от греха подальше.

Все это делалось не за один заход, а постепенно, по чуть-чуть. Автора сгибали, ставили на колени, потом положили на асфальт и проехали по нему катком, потом подтащили к дверям издательства и вытирали об него ноги вместо половика.

Именно такое чувство у меня было, когда Б. сказал:

— Ну, а теперь поговорим по сути. Что же у вас получается? Молодой человек, ваш главный герой, кончает самоубийством. И перед нами проходит вереница людей, его окружавших: учителя, директор школы, его одноклассники, приятели со двора, девушка, в которую он влюблен, милиция и даже какой-то таинственный человек в штатском... И получается, что все они виноваты в том, что он покончил с собой. А особенно, че-ло-век в штат-ском, так или не так?

— Видите ли, — замялся я, не зная, что возразить, ведь он довольно точно просёк суть, которую я тщательно камуфлировал.

— Я вам больше скажу, — продолжал он. — Компетентный читатель сразу почувствует, что виновата система. Улавливаете мою мысль? За такой подход нас с вами не только по головкам не погладят, а наоборот, могут головки наши побрить.

Первый раз за всю историю наших взаимоотношений он хихикнул и сделал это как-то нехорошо.

— Молчите? Так вот, берите рукопись на денёк домой и превратите самоубийство в убийство хулиганами. Это все-таки лучше. Милиция хулиганов найдет, и все пропорции в романе будут соблюдены. Кстати, этого человека в штатском, который перед самоубийством вашего героя с ним зачем-то встречался, тоже уберите. Так примитивно не вербуют, — вы ведь на это хотели намекнуть? Или вы желаете, чтобы мы послали на еще одну рецензию — туда? И вообще, я поинтересовался и получил компетентный ответ, что самоубийство у нас — явление нетипичное, стало быть, и предметом литературы оно не является. Значит, договорились? Действуйте! Только то, что вычеркиваете, не вырезайте, оставьте мне, дабы я видел, что именно у вас было и как стало.

Процесс подготовки романа к печати неумолимо катился к развязке. Меня удивляло только, почему названия редактор не касался. Я уже стал было думать, что оно так и останется: «Из сих птиц...»

— А почему тут точки стоят? — когда мы доехали до конца рукописи, он, перевернув ее, ткнул пальцем в первую страницу. — Вы чего замаялись? Скажу...

Неужели он знает? Вот уж не подумал бы, что он когда-нибудь такое читал!

— Скажу, — повторил он. — Точки вы поставили, поскольку понимали, что это непроходимо. Ведь название-то взято из Библии: «Из сих птиц одну в жертву». Так? Сам бы я не догадался, но сын мне подсказал. Уж не знаю, где он этого нахватался...

Б. торжественно смотрел на меня, не отводя глаз.

— Молчите? Что же вам сказать, когда вы приперты к стене? Ну, да ладно, я же не монстр какой-нибудь. Мы — люди современные. И Библию можно читать, если правильно понимать. Но в данном случае речь идет о массовом издании, и на-

звание надо не мрачное, а... спокойное, что ли... Подумайте, потом обсудим.

Дома я нашел список названий. У меня их всегда накапливается с полсотни, а то и сотни две, пока книга пишется, и я названия собираю, пока не подберется лучшее. Теперь такой момент настал, только задача состояла в том, чтобы выбрать нечто похуже.

— А вот «Подожди до шестнадцати», — сразу ухватился Б. — Чем не название? Остановимся? И не чужое — вы сами придумали...

Надо быть справедливым. За время нашей долгой совместной работы Б. нашел в моей рукописи несколько описок и пару ошибок и без назиданий поправил их.

Читатель будет удивлен, а может, и возмущен. Если автор такой принципиальный, почему он просто не забрал рукопись, когда надругательство только началось? И читатель будет прав. Читатель всегда свято прав, а автор всегда виновен, и этот закон действовал во всем мире, но не в Советском Союзе. У нас, если вещь одобрена сверху, читатель уже больше прав быть не может. Прав исключительно одобренный автор, а читатель виноват в том, что неправильно его понял. Для этого-то автора и поправляют, чтобы его одобрить. Кто не подвергнется исправлениям, автором быть не может. А я хотел остаться автором, продолжать писать и печататься.

Только это мне теперь и остается сказать в свое оправдание. Я рассказываю, как было дело, а не как должно было бы быть, в случае если бы я оказался тогда более решительным, отчаянным, смелым, твердым и благородным. Я хотел бы подыскать противоположный пример, но редко встретится на этом свете писатель, который не пойдет на жертвы, лишь бы дожидаться встречи с читателем, которому (писатель до последнего вымарывания надеется) хоть что-нибудь да останется.

Ведь он, интеллигентный читатель, схватит с полуслова, ему только букву оставь! Он согласен быть виноватым в том, что неправильно понял написанное, только бы нашлось для него, для изголодавшегося, что-нибудь неправильное. Поэтому мамы русской литературы, которые давно вымерли, учили нас не только писать, но и вычеркивать, говорить не только «нет»,

но и «да», ибо наша жизнь — это десять, и сто, и тысяча компромиссов на один маленький захудалый взлетик.

Что делал редактор Б. с моей рукописью дальше, я не знал, потому что мы все-таки поссорились. Я уперся в какой-то несущественной мелочи, исчерпав до дна свою жертвенность.

— Всему есть предел, — сказал я и ушел.

Одумавшись, я понял: предела нет. Он позвонил. Все, что надо, он сам уже выкинул и просил только уточнить, не реакционер ли Шлихтер, памятник которому упоминается в романе.

— Фамилия какая-то странная, — прибавил он.

Через полчаса я перезвонил ему и сказал, что связался с горкомом партии. Там разъяснили, что раз уж они разрешили памятник Шлихтеру оставить, когда кладбище сравнивали с землей, то, значит, им бдительность издательства не нужна. Никуда я не звонил, но такой поворот успокоил Б.

Мой редактор часто работал дома, возможно, там у него были ножницы еще большего размера, а то и топор для разделки мясных туш, который использовался для редактирования.

Книга через год вышла. Получив авторский экземпляр, я начал читать. Изменено было все, одно имя автора каким-то образом случайно уцелело. А ведь могли имя тоже заменить или вовсе убрать. И было бы даже лучше: не так стыдно, по крайней мере. Во мне боролись негодование, равнодушие, брезгливость и прочие чувства. Ни штриха радости, которая подогревается запахом типографской краски. Первым желанием, когда я окончил чтение, было бросить роман на пол и топтать, топтать, топтать, чтобы превратить бумагу в пыль! Но это был один экземпляр из пятидесяти тысяч таких же, которые растоптать я не мог, даже если бы захотел.

Некоторое время спустя, не помню уже зачем, зашел я в издательство.

— Да вы разве не слыхали? — удивилась секретарша редакции. — Б. больше у нас не работает. Подкосило его.

— В каком смысле?

— Ушел на пенсию. От несчастья: сына похоронил.

— Сына? А что случилось?

— Самоубийством кончил. Отца ненавидел, говорил, что такие, как он, во всем виноваты. Тыща и одна ночь. А подробностей я не знаю.

Вот так дела...

Я понятия не имел, читал или не читал сын Б. куски романа именно об этом, тщательно вырезанные дома отцом. Самоубийство произошло такое же, но, может, все-таки это было случайное совпадение?

* * *

Значит, Б. жив, здоров и консультирует секретную структуру, размышлял я, бредя по улице.

Теперь, рассказывая это, утаил я от вас только одну деталь. Со старой редакторшей мы отошли от метро в сторонку и еще немножко поговорили про Б. Расставаясь, я поцеловал ее. Глаза у нее блеснули и опять погасли. Вдруг она закусила губу и решительно произнесла:

— Вы далеко живете, не здесь. Так вот, чтоб вы нашу жизнь лучше понимали.

И она вдруг быстро расстегнула две пуговицы на черной кофточке и показала мне грудь. Возле соска темнело бурое пятно размером с копейку.

— Я не знал, что вы сидели, — сказал я в смущении, чтобы что-нибудь сказать.

Нечто похожее на усмешку проскользнуло по ее морщинистому, без капли косметики, лицу.

— Восемь лет. В том самом лагере на Колыме, где он был начальником. Я тогда прехорошенькая была.

— Как же вы могли потом вместе работать? — вопрос был глупый, но как-то сам собой вырвался.

— А как вся страна с ними живет? — не обиделась она. — Не говорю про раньше — теперь! Что же мне — убить его? Я слабая, сама еле дышу. Да ведь они сейчас везде между нами, только притворились нормальными. Может, и вправду ждут своего часа?

ЦЕНА ТОЧКИ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 2 ноября 1988

Никогда бы не подумал, что проблема знаменитой фразы «Казнить нельзя помиловать» коснется меня самого. Как известно, царь забыл поставить запятую, отчего приказ его можно было прочитать в двух вариантах: «Казнить нельзя, помиловать» и «Казнить, нельзя помиловать». Цена запятой была равна цене человеческой жизни. Аналогичная история у меня случилась с точкой. К счастью, не жизнь моя, а только моя книга висела на волоске. Вот она у меня в руках.

Это сборник рассказов «Что такое не везет», выпущенный московским издательством «Молодая гвардия» в 1971 году, в период, который теперь называют застоем. Тираж книги вполне приличный для прозы — 150 тысяч экземпляров. Есть, конечно, и номер Главлита — регистрация издания в цензуре. Рассказы как рассказы, не без подтекста, конечно, но и крамолы особой нет и быть не может, коль скоро издано в тот период. А вот конец книги, то есть последняя страница последнего рассказа, вызывает улыбку даже у тех, кто хорошо знаком с зигзагами цензурологии. На той странице... Впрочем, сперва скажу, о чем рассказ, на той странице кончающийся.

Люди жили в московском старом доме, окна которого выходили на грязную кирпичную стену. Стена осталась от другого дома, который давно снесли, а стену убрать забыли. Жаловались жильцы, но сверху не поступало указания снести. Кроме облупившейся стены, жильцы ничего из окон не видели. Мир от них был закрыт. И тогда один из соседей, чудаковатый одинокий пенсионер-художник, ни за что отсидевший свое, где положено, и за это реабилитированный, с помощью трех под-

ростков намазал во всю стену некий гриновский пейзаж: море, одинокий парус и восходящее солнце. Не абстрактный, избави Бог, а вполне оптимистический сюжет. Не тут-то было! Другой жилец, который в свое время сажал туда, куда положено (такая у него была профорентация), донес, что на стенах без разрешения рисуют, что хотят, и компанию живописцев начинают прорабатывать.

Если до конца открыться, то в подтексте рассказа, который называется «Родная стена», автор хотел протащить примитивный намек: стена всем мешает, но убрать ее нельзя и украшать не положено. Так вот этот прозрачный намек ни редакторы, ни цензура не заметили, хотя другие рассказы из рукописи выкидывали. Когда книжка вышла, «тогда считать мы стали раны», как сказал классик, намекая, я уверен, на цензуру.

Купюр и замен было много, вплоть до имен, недостаточно благозвучных. Стоит ли говорить о таких мелочах, как изъятие малейших намеков на недостатки и убогость жизни? Даже сомнения автора в себе самом были в тексте ликвидированы. Книга называлась «Мне не везет», а стала называться жизнеутверждающе: «Что такое не везет и как с ним бороться». Я еле уговорил убрать хотя бы эту борьбу.

Но, дойдя до последней страницы пахнущего краской сигнального экземпляра, я прикусил губу. «На бывшей грязной, пятнистой стене по синим с белой пеной волнам метался парусник, — прочитал я собственные слова. — Над ним висело рыжее солнце,»

Тут стояла запятая, и на этом книга кончалась. Последнюю строку, как сказала шепотом добрая редакторша, цензор велел выскрести уже на валу печатной машины, в последний момент. Корректоры и не знали, что там болтается запятая, не исправленная на точку.

Что же за крамола была в ликвидированных словах рассказа, если ее выдирали по живому так, будто, сохранись она — зашаталась бы держава?

В рукописи было: «Над ним висело рыжее солнце, на которое напозла черная туча». И точка. Только и всего. Разумеется, туча не имела права напозлать на наше солнце. Кто ей раз-

решил? С кем согласовано? Книга должна оканчиваться в мажоре. Советское солнце обязано светить днем и ночью. И цензор личной властью черную тучу разогнал.

Сколько об этом ни пиши — все не полно. За всю жизнь не слышал, чтобы хоть одна книга вышла так, как была написана. Всегда по готовым страницам прогуливалась еще одна властная рука.

Рука эта — Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, или Главлит. После революции это слово означало Главное управление литературы. Изобретено это управление, по-видимому, тремя людьми: Лениным, Крупской и Луначарским. Цензура была управлением в Наркомате просвещения. Деятельность Главлита кооперировалась с другим управлением — Главполитпросветом, ведавшим в стране агитацией и пропагандой, когда в ЦК таких отделов еще не было. Фактически первым цензором, пропускавшим списки книг, разрешенных в советской республике для чтения, была первая леди. Лев Толстой, не говоря уж о Достоевском, были поначалу запрещены ею лично. Это тем более любопытно потому, что гимназисткой Крупская писала письма Толстому и была его восторженной почитательницей. А он ей раз ответил.

Итак, Главлит, Лит или, в печатных изданиях, одна буква «Л», заменяемая, чтобы советологи не догадались, на другие знаки. Например, в книге, уже упомянутой, номер А-09256. Есть и глагол «залитовать». Все, что печатается, будь то приглашение на свадьбу, объявление об обмене квартир или трамвайный билет, — литуется. И на календаре знак Лита. Прежде чем советский человек прочитает, что второго числа среда, цензор проверит, не сведения ли это для служебного пользования.

В областях Обллит, в городах Горлит или объединенный Облгорлит. В каждой редакции, издательстве, на радио и телевидении имеется таинственная комната с надписью «Вход запрещен. Уполномоченный Главлита». Если большая редакция — их несколько. И тогда они несут вахту по ликвидации туч и облаков посменно. Должен признаться, мне все еще странно пи-

A black and white illustration of a boy in a striped shirt looking up at a sailboat on a wall. The background is a wall with a grid pattern and several small, dark, square patches. The boy is on the left, looking up and to the right. The sailboat is on the right, with its mast and sail visible. The sail has a pattern of vertical lines. The title 'ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ' is at the bottom, and the author's name 'ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ' is at the top.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

На бывшей грязной, нятнистой стене по синим с белой пеной
волнам метался парусник. Надним висело рыжее солнце.

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ

«Цена точки». Обложка книги рассказов «Что такое не везет» (художник А. Блох) и последние две строки книги, предшествующие словам «на которое напозла черная туча», снятым цензурой (1971).

сать в газету, в которой цензора Главлита просто нет. Впрочем, и там, где он есть, часто делают вид, что о нем не знают. Обычно редакторша, честная труженица, говорила:

— Запрещено ссылаться на Главлит. Надо говорить, будто редактор просит убрать, но это — они.

Покойный создатель «настоящего человека» Борис Полевой рассказывал с возмущением, какие настырные американские журналисты. Они спросили его, как работает цензура в журнале «Юность», редактором которого он был. «Нет в Советском Союзе никакой цензуры!» — воскликнул Полевой. Этот его ответ был в американской газете опубликован. А ниже шла цитата из второго издания Большой Советской Энциклопедии: цензура в СССР «является органом социалистического государства», и ее задача — «предотвращение публикаций, которые могут нанести ущерб интересам трудящихся». Все, как известно, делалось от имени трудящихся, включая уничтожение самих трудящихся.

А как нынче дела насчет кастрации туч? Теперь публично объявлено, что именно запрет публиковать здравые мысли и привел к тому, что мы видим невооруженным глазом. До гласности власти старались разоблачать царскую и буржуазную цензуру, которая, якобы, имеется в капиталистическом мире, и невнятно говорить о своей.

Так, в третьем издании той же энциклопедии утверждается, что советская конституция гарантирует свободу слова, но есть «госконтроль», чтобы не допустить опубликования сведений вразрез с интересами трудящихся. То есть цензуры как бы не было. Не было и вывески на огромном здании в Китайском проезде в Москве, возле гостиницы «Россия», где размещается центральная штаб-квартира Главлита. А еще ведомственные цензуры: военная, атомная, космическая, медицинская, управления геодезии и картографии. Гигантский спрут, опутывающий государство. Тысячи служащих. Бюджетные расходы, отнятые от жратвы.

Патологический страх наказания за то, что пропустил какую-нибудь тучку, наползающую на наше солнце, был ведущим, а иногда единственным качеством всех цензоров, которых я встречал, когда работал журналистом и редактором. Большин-

ство из них были полуграмотными, и чем кончается текст — запятой или точкой, для них было едино. С них не за это спрашивали. Зато у некоторых уполномоченных был прямо-таки мистический нюх: сегодня они уже запрещали то, на что лишь завтра выходила запретительная инструкция. Или — заранее требовали вписать то, что только с завтрашнего дня следовало добавлять в идеологический суп.

Шестидесятые годы прошли под знаком кукурузы. Во всех изданиях должна была упоминаться кукуруза. Цензура зорко следила за цитированием из речей Хрущева. Например, в Издательстве политической литературы в Москве, помню, была установлена норма: пять цитат из докладов Хрущева на один печатный лист, то есть на каждые шестнадцать страниц издаваемой книги. Десятки редакторов судорожно искали: где Хрущев помянул, скажем, кибернетику или глазные болезни? И не найдя, врезали авторам цитаты о том, что он сказал про науку вообще. Одно время появилось указание называть цензоров политическими редакторами. Его быстренько отменили, ибо политический надзор за печатью все-таки осуществлял не Главлит.

О том, насколько сузились рамки литературной свободы, можно судить хотя бы по сюжету, выбранному Пушкиным. Перенесем его в советское время. Офицер армии, вернувшийся из Афганистана, мечтает разбогатеть и для этого прокрадывается к старой большевичке, чтобы узнать тайну трех карт. Мыслимо ли было опубликовать что-либо подобное в советской России?

Запрет мог быть мелким — отдельные названия, цифры или выражения вроде изъятия нежелательной тучки, и — тщательным просеиванием данных. Например, предыдущие четверть века нельзя было упоминать в печати некоторые этнические группы: крымских татар, немцев Поволжья, евреев. В одном официальном документе я читал: «лица национальности, большинство которой живет за пределами СССР». Это то, что у Гоголя вместо «высморгаться» — «облегчить свой нос посредством платка». Потом слово «евреи» разрешили употреблять, но запретили словосочетание «еврейский народ». В черных списках десятилетиями держали определенные имена.

Ища выход, пытаюсь сдвинуть с места застывший механизм, Политбюро ослабило политические функции цензуры в некоторых редакциях, в частности в «Московских новостях», «Аргументах и фактах», «Огоньке», возложив персональную ответственность на главных редакторов. Грубо говоря, за тучки стали отвечать редакторы, а за утечку гостайн — Главлит. Чтиво пошло веселее. Но, конечно, и политические огрехи стали прорываться чаще, — ведь все инстанции, разрешив, с мазохистским усердием следили, кто споткнется. За ошибки редакторов, как полагается, вызывали на ковер.

Тревогу забил цензурный колокол. Теряя власть, заведующие тайнами стали угрожать утечкой государственных и военных секретов. И в этом есть свой резон. Например, глава партии не появляется публично в течение шести недель. На Западе циркулируют разные слухи. Если генсек купается на курорте, на слухи можно не реагировать. А если серьезное? Кто не только регламентирует, но и зорко бдит, чтобы неодобренная тучка не закрыла солнце? Нет, советский организм не хочет весь просвечиваться рентгеном. Лучше болеть незаметно.

Отношения между печатью и цензурой отражают, я бы сказал, уровень гласности. Есть две всесоюзные организации, которые практически вне игры: это тайная политическая полиция и тайная литературная полиция — Главлит, хотя, конечно, «литературная» сказано чересчур узко. Оба эти ведомства остаются под шапкой-невидимкой. Не было случая, чтобы в результате публичного осуждения пострадал хотя бы районный уполномоченный Главлита за то, что он произвольно вычеркнул гениальную мысль, способствующую прогрессу. Как ни смешно, и Михаил Горбачев подлежит цензуре. Устно он еще может высказать что-то субъективное. А в печати это бывает вычеркнуто или поправлено. Может, цензура сильнее партии?

В пору, когда я был молодым журналистом, мы спорили в узком кругу, кто предложит лучший выход из тупика. Представьте, что для демократии в стране можно сделать только один шаг. Какой именно? Ответы были разные: ввести многопартийную систему, распустить на хорошую пенсию КГБ, даже сделать аполитичным образование. Но один из нас ответил: «Все очень просто, ребята! Упраздните цензуру, и она потянет де-

мократию». Теперь отчетливо понимаю, что тот мой приятель был близок к решению. Жаль только, сам он сделал карьеру и, кажется, теперь — за цензуру. С ней, как с хорошим охранником, ему спокойнее.

А для не таких, как он, дилемма: или демократическая печать, то есть независимая от власти, или подцензурная. Середина — это либерализация под контролем, полная свобода за колючей проволокой. Кто-то всегда дежурит у дозатора и готов обрубить невыгодную мысль на запятой. Ибо договорить до точки — значит сказать правду. А правда им нужна не всякая, только та, которая нужна. Посчитал бы кто-нибудь накануне юбилея Октября, во что обошлись обрубленные фразы отечеству.

Полистал я старую свою книгу перед сном. И вот ведь пошли неконтролируемые ассоциации: приснилась мне демонстрация. Идут граждане мимо мавзолея и вместо портретов основоположников и призывов несут одни большие вопросительные знаки. А на трибуне стоят лидеры и периодически извлекают откуда-то и показывают гражданам большие восклицательные знаки. На площадь вливаются новые колонны — несут огромные запятые. И тут лидеры вынимают и показывают им огромные, как кукиши, точки.

Между прочим, в жизни демонстранты потом выходят по Москворецкому мосту на Ордынку и Пятницкую. Там неподалеку я родился и жил до войны. Семнадцать лет назад вышла упомянутая книжка с запятой. Прошлой осенью, перед отъездом, сходил я посмотреть: родная мрачная стена перед домом так и стоит.

Что же касается того сборника рассказов, то цензор, кастрировав текст на запятой, сделал книгу прямо-таки историческим экспонатом для Музея цензуры, если он будет когда-нибудь создан.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 13 октября 1987

Друзья, родные и коллеги еще недели за две до нашего отъезда уверяли, что очередь прощаться с нами («доступ к телу», как сформулировал сосед-сатирик) длиннее, чем очередь в мавзолей. Сравнить не могу: в мавзолее с детства не был. Но в нашу малюсенькую квартирку возле метро «Аэропорт» по вечерам можно только протиснуться. Кто-нибудь из детей сидит на телефоне:

— Да, выпускают... Да, все в порядке... Да, приходите...

Стены увешаны плакатами, цитатами из вождей, стихами. «А ты участвуешь в перестройке?» — спрашивает с плаката образцовый работяга, сжимающий в руке гаечный ключ. На лицо его наклеена моя бородастая физиономия. В коридоре лозунг: «Давно пора ехать, а люди чего-то ждут. В. И. Ленин». Неужели Ленин такое говорил? Говорил, и не такое еще! Стены кухни расписаны напутствиями друзей в прозе и в стихах.

— Такие вольности — несомненный результат послаблений сверху, — говорит зашедший без звонка знакомый официальный писатель. — Может, останетесь?

Ему молча указывают на стену. Там стихи:

А все-таки мы улетели,
И нет нас в советской стране,
В той самой, где дуют метели
И все мы по уши в раю.

— Осторожно! Вы еще не улетели. Всякое бывает...

— Улетят! Теперь они проданное национальное достояние.

На стол выложено все, что удалось достать, запастись на черный день тотального изобилия. Все тотчас поедается. С выпивкой сложнее, ибо водитель троллейбуса объявляет остано-

ку «Винный магазин», а следующая остановка называется «Конец очереди». Зашел накануне в парфюмерный купить на дорогу кусок мыла. Очередь минут на сорок. Оказывается, дают туалетную воду, и собрались алкаши со всего околотка. Не более трех бутылок в одни руки. Стоящему за мной бывшему милиционеру дяде Степе повезло: он с моей помощью взял шесть. Пускай выпьет бедняга за нашу дорогу. А мы ухитряемся добыть кое-что менее вредное для здоровья через знакомых с черного хода за полуторную цену.

Привыкший к ежедневному размеренному писанию с утра, без поблажек (хотя и в стол много лет, но расслабляться нельзя), — вот уж две недели я не пишу. Зато сочиняю справки, оставляю на хранение друзьям рукописи, плачу за ремонт квартиры, которого не будет, и выполняю десяток нелепых процедур для получения виз. Глупо рассказывать об этом подробно: прошедшим через это все известно, а не прошедшие не могут нормальным своим сознанием охватить феномен в целом. К тому же на фоне десяти лет жизни взаперти разве это трудности?

По поводу нашей квартирки уже конфликт в кооперативе: кому она достанется. Кооператив считается заурядным среди писательских домов в нашем «дворянском гнезде».

— Смотри, в каких шикарных домах живут советские писатели, — показал я, стоя на балконе, писателю, русисту из Швеции.

— О, конечно, — согласился он, — это типичные американские труппы.

В эмиграционный бум семидесятых годов из нашего кооператива выехало шестьдесят процентов населения во главе с председателем кооператива кинорежиссером Каликом. В квартире рядом, как с возмущением рассказывала соседка, торжественно сжигали перед отъездом комсомольские билеты и чуть не спалили дом. Потом советские войска выехали в Афганистан, и над страной нависла андроповщина. Теперь что-то потеплело. Ржавая железная дверь заскрипела, и брезжит полоска света. Одного выпускают, другому обещают. Но ворота прижаты кованым сапогом.

Около трехсот раз я провожал других, пекся об оставленных родителях и детях, добывал из-под земли дефицитные ле-

карства, не по почте отправлял и получал письма, хоронил. Отъездные фото Галича, Льва Копелева, Войновича, Владимова снимаем со стен, дарим друзьям, потому что, наконец, и в моем собственном доме проводы. Неужели и в самом деле на этот раз провожают меня?

Пообещай мне это год назад, я бы не реагировал: чиновники разных уровней, от Министерства культуры до ЦК, как говорится, пудрили мозги нам множество раз. Но именно год назад мы с женой поехали в Самарканд — для заработка я переводил роман живого местного классика с его русского на общепотребительный.

Жену мою повели к местной гадалке, которая, как сказали, лично посетила Мекку. К старухе стояла очередь. За десять рублей гадалка открыла книгу с ветхими страницами и скрипучим голосом пропела:

— Мужа твоего несправедливо обижают. Его преследует человек в форме. Но через год у него большая дорога. Нет, не дорога домой, и не в тюрьму, а еще куда-то... И мужа твоего ждет успех.

Не до успеха нам было. Выжить бы, сохранить себя, спасти рукописи от конфискаторов в форме и литературоведов в штатском. Приближался юбилей — 10-летие немоты, 10-летие в вакууме, 10-летие внутренней эмиграции. В рекламируемую эпоху гласности такой юбилей представлялся особенно актуальным.

Писатель решил проверить гласность на прочность. Для всех она, эта гласность, или только для «чистых»? И вообще, поступило указание всем дружно перестраиваться, а Союз писателей остается монстром, глухим к реалиям жизни.

Правда, первого секретаря Союза писателей, в маразме принявшего трибуну Съезда писателей за туалетную кабинку, под робкий гул аудитории вывели под руки. Другой секретарь призвал писателей учиться демократии, после чего его поспешно переквалифицировали в управдомы Института мировой литературы. Руководство Союза писателей сосредоточилось в руках мафиозных практиков соцреализма.

Печальная эта картина оставляла мало надежд, однако я написал им почти сердечные письма: дескать, не пора ли меня

отпустить по-хорошему? В ответ получил грубое письмо: вы должны сами знать, куда обращаться, тем более, что вы к нам не имеете никакого отношения.

Вот что значит гласность! Все-таки проговорились, что исключили. А ведь десять лет скрывали, на письма с Запада отвечали, что такого писателя вообще нет. Теперь же я есть, но «не имею отношения». Союз писателей — общественная организация, почему же за восемь тысяч ее членов все решает пара бюрократов? Прошу дать мне возможность выступить в «Литературной газете» или на собрании, чтобы сказать слово. Они не ответили.

Оставалось очередное открытое письмо, на этот раз прямо к писателям, минуя инстанции. Открытое письмо это разослали мы в полутысяче копий, сделанных на машинке, ибо у каждого ксерокса дежурит чекист. Опубликованное сразу же, в мае, на Западе и переданное многими «голосами», письмо это, видимо, сработало, хотя тогда мы этого еще не поняли.

В нашей тесной квартире кипела работа. Мы готовились к выставке, посвященной уникальному юбилею. Не знаю, звучал он в унисон или в диссонанс с объявленной Горбачевым открытостью. Вывеска у двери гласила: «10 лет изъятия писателя из советской литературы».

— Nonwriter, — не знаю, как это перевести на русский, — размышлял профессор из США, один из посетителей выставки и великий знаток русской литературы. — Термин английский, а явление советское...

На выставке — книги «бывшего писателя», пьесы, купюры из рукописей, изъятые цензурой, иллюстрации художников к рассказам, вырезки из прессы с критическими статьями, фотографии встреч с читателями, публикации на Западе, наказуемые по статьям Уголовного кодекса.

Не существующий официально юбиляр по случаю открытия выставки разослал сотню приглашений на пресс-конференцию — советским и иностранным журналистам, радио и ТВ, а также руководству Союза писателей, Министерства культуры и ОВИРа, чтобы на конференции ответили на вопросы прессы. Игра? Пусть так. Но они сами придумали эту игру, называется она «Гласность».

Накануне открытия выставки раздался неожиданный звонок начальника Московского ОВИРа. Уже несколько лет в эту организацию я не обращался, а тут такая честь.

— Президиум Верховного Совета и Министерство внутренних дел, — торжественно произносит он, — разрешает вам выехать, если ваше поведение будет хорошим.

Вот и еще расширился круг учреждений, заботящихся о моем поведении. Это радует: остальные государственные проблемы — и экономические, и международные — они уже решили, только мое поведение их немного беспокоит. И как раз перед открытием выставки.

— Послушай, — сказал приятель, — представился отличный способ проверить знакомых. Тебя никто не уговаривал отменить весь этот карнавал?

— Никто, — уверил я его.

— Слава Богу, везет тебе на друзей!

На другой день вдоль родной улицы Усиевича выстроился ряд машин явно неотечественного производства. Ни советские журналисты, ни чиновники не явились. Гласность охранялась молодым человеком в черных очках, сменившим нашу старушку-лифтершу, и группой молодцов в черной «Волге», подогнанной вплотную к подъезду. Выставка открылась.

Погода в Москве в это лето была неопределенная: то жара, то холод, то солнце, то затяжные дожди. Появились туристы из бывших советских граждан (с хорошим поведением): в стремлении получить твердую валюту помягчел мизантропизм. Мертвого Бориса Пастернака восстановили в членстве в полуживом Союзе писателей. А овировский хомут на нашей шее и после торжественных обещаний был затянут прочно, как всегда. Москва слезам не верит, это было испытано не раз, но и мы слезам Москвы не верим — знаем им цену.

Опять доверенная машинистка работает две недели без отдыха, печатает под копирку полторы тысячи открытых писем протеста. Посылаю их в редакции, в ЦК, в Союз писателей, в Моссовет. Пишу, что хочу сделать свое положение более ясным, поскольку книги и рукописи уже похоронены, а я, как мне кажется, еще жив. И потому намереваюсь открыть Новый Союз писателей для тех, кто лишен возможности публиковать свои

произведения на родине, в общем, для писателей-лишенцев. Называться он будет Союз авторов, как это принято в большинстве цивилизованных стран. Прошу руководство Союза писателей прислать список исключенных из СП членов, но только живых, так как Союз авторов, в отличие от Союза писателей, мертвых не принимает. При Союзе авторов, в соответствии с реанимированным нэпом, открывается независимое издательство «Золотой петушок».

Первым автором нового издательства я выбрал сам себя. И готовил рукописи к изданию. В Центральный дом литераторов, куда меня перестали пускать десять лет назад, отправил заявление с просьбой предоставить зал новому Союзу авторов и первому частному издательству «Золотой петушок» для торжественного открытия, которое состоится в сентябре, накануне открытия в Москве Международной книжной ярмарки. Но Дом литераторов срочно заперли на ремонт.

Неожиданно позвонили нам из политического отдела Американского посольства, пригласили в гости — сейчас, сразу: группа конгрессменов приехала в Москву, и днем окон в расписании нет. Лил проливной дождь. В полночь мы уже беседовали.

Конгрессмен Джерри Сикорский, неутомимый борец за права человека, давно бомбардировал Горбачева письмами, и не он один. А тут Сикорский заявил, что не уедет из Москвы, пока я не получу визы. Я очень испугался, что Сикорский станет вместе с нами отказником. Но страх оказался напрасным. Утром нам выдали визы с такой вежливостью, какой я не подвергался ни разу за всю мою советскую жизнь.

И вот — прощание, описанное выше.

— Хохотать или плакать? — спросила моя взрослая дочь.

На практике то и другое было вместе. Проводы предпоследние, последние, послепоследние и самые последние. Ни дня без строчки, а тут ни дня со строчкой, один бушующий вокруг нас фольклор. Кажется, только один раз, когда заглядывали прощаться аккредитованные в Москве журналисты, возле нашего подъезда опять дежурили топтуны. Хотелось их простить, пригласить выпить, — холодно на дворе, и дождь накрапывал. Хотя... вру, конечно: не хотелось ни простить, ни пригласить, и понятно почему. Впрочем, понятно ли?

Объясните мне, для чего писателя, то есть животное вполне мирное, десять лет целеустремленно травить, да так, чтобы он не только злобную власть, но и страну свою постепенно перестал уважать? Зачем растлевать советских писателей, заставляя их единогласно осуждать на собраниях коллегу, врать иностранцам, выскребать имя? Подсчитает ли бухгалтер с Лубянки, во что обошлись народной казне десять лет слежки, подслушивания, обысков, размножения рукописей (они показывали мне на допросе «их» экземпляры)? А зарплата следователей, инспекторов, топтунов, их протертые подошвы? А уничтожение тиража моей книги в типографии? А нравственный урон власти в глазах читателей, из которых целеустремленно делают дураков? И почему обошелся в глазах зарубежных коллег облик страны, в которой вольготно ворью, а спецслужбы заняты тем, что засовывают кляпы в рот писателям, грозя им лагерем и психушкой?

Может, я по инерции брюзжу, и это все в прошлом?

Наконец, таможенники в аэропорту Шереметьево.

— Вот этот, — говорит один в штатском другому в форме. — Позвони шефу...

Это мы слышали: и с трапа снимают, и из самолета вынимают. Позвонив, таможенник тихо возвращается, что-то шепчет другому. Может, напоследок ткнуть нас зонтиком? Появляется сонный шеф в штатском.

— Рукописи, фото пленки, письма, магнитные записи?..

Старая песня... Пожимаю плечами. Шмонают вещи. В них — ни листочка записей, ни строки, ни телефона друзей... Рукописи давно ушли за границу другим, таинственным путем.

Мы растерянно оглядываемся. За перилами толпа наших друзей. Они смеются, рыдают, машут нам, что-то произносят. Москва для нас — это они. Чуть поодаль от них двое в спортивных куртках. Руки в карманах. Напряженные лица. Тусклые глаза. Они тоже провожают нас, и за это им течет зарплата. Они — тоже Москва.

БЕГОМ ИЗ ПАРТИИ

У микрофона Радио «Свобода»
Радио «Liberty», Мюнхен, 1990

В годы страха, наивности, издержек среды и воспитания одна беда или, если хотите, один стыд меня миновал: в партии я никогда не был. А наверное, вполне мог бы и оказаться. Но срабатывало какое-то «чуть-чуть», что-то во мне противилось еще в то время, когда я сам не понимал, когда не было возможностей для сравнения. То они не хотели меня, то мне удавалось ускользнуть.

А уж когда стал понимать и еще служил в газете, то выкручивался, на что только ни ссылаясь. Но чаще всего на незрелость, на то, что, дескать, готовлюсь, а пока еще не готов, так сказать, не достоин. И, как ни странно, это их устраивало, и от меня отставали. Так и остался в редакции и.о. — исполняющим обязанности редактора отдела, ибо снять эти две буковки могла только партийность. А потом вовсе ушел на вольные хлеба.

В газете служили только «подручные партии», по меткому определению Хрущева. Парадоксально, что книжки писать дозволялось и беспартийным, — большой был просчет властей. В Союзе писателей в партию, насколько я знаю, никого не завлекли, чтобы не делить имеющуюся власть в аппарате управления писателями и издательствами.

В тридцатые годы и в войну они принимали кого угодно, лишь бы написал «желаю участвовать в строительстве коммунизма». А потом стали зорко следить за пропорциями. Рабочий класс должен был составлять большинство. Во-первых, согласно доктрине, партия-то как бы по своему происхождению про-

летарская. Во-вторых, пассивный балласт не мешал бюрократическому аппарату держать кнут и пряник.

Интеллигенцию, то есть образованцев, рвавшихся вступить, чтобы урвать для себя кусок пирога, традиционно придерживались. При этом в среде интеллигенции делали три исключения. Охотно принимали без очереди историков. Главную массу тут составляли учителя истории, то есть, с их точки зрения, опять же пропагандисты.

Как уже сказано, затаскивали журналистов — они прежде всего были нужны агитпропу. Ведь без партбилета нельзя войти на партсобрание, а значит, нельзя этому журналисту доверить писать отчет с районной партконференции, не говоря уже о том, чтобы войти в здание горкома, обкома или ЦК.

Наконец, всячески завлекали людей с именами: актеров, художников, композиторов — даже если из них уже сыпался песок. Откройте советские энциклопедии и увидите, как много известных всему миру советских мастеров искусства имели членские билеты ВКП(б)-КПСС, ничего, в сущности, не имея с этой партией общего.

Но если человек поет хорошо, то с партбилетом ему светят не только лучшие роли, периодические ордена, звание народного артиста, но и режиссура, и поездки с гастрольями за рубеж, а то и директорство в театре, и даже депутатство, хотя из него такой же политический деятель, как из меня балерина. Впрочем, деятельности-то в этой области от них как раз и не требовалось. А просто полагалось сидеть и дружно, со всеми вместе, поднимать руку «за».

Талантливые ученые продевались сквозь игольное ушко, как правило, сами: ради степеней и получения лабораторий. Многие этого и не скрывали, хотя отдельные творческие люди сопротивлялись. Маяковский был в партии, а потом сам вышел. «Чтоб не послали в Астрахань селедкой торговать», — объяснил он, и в те годы это ему сошло.

До революции партия была ничтожно мала и в значительной степени безграмотна, — такова одна из первостепенных тайн ее истории. Был период, когда партией практически руководил Ленин, ЦК состоял из его жены, брата и двух сестер, а партийный актив — из пары его любовниц. Если посмотрим

литературу (что не входит сейчас в мою задачу), то увидим, что с годами статистику увеличивали простым пририсовыванием нулей, дабы создать видимость народного переворота. А объясняли липовую статистику так: мол, в те годы не все члены партии имели партбилеты. Или так: из конспирации лидеры ячеек держали списки в уме.

Факт остается фактом, что, несмотря на все усилия, за столетие (1-й съезд состоялся в 1898 году) партия, меняя названия и программы, получив тотальный контроль за идеями, имея огромный аппарат пропаганды и провозгласив, что все в душе коммунисты, едва ли набрала в свои ряды 5 процентов населения. Несмотря на все махинации, образовательный уровень ее так и остался низким.

Я хорошо знал одного заместителя директора крупного московского ракетного завода. Партком завода имел права райкома. У них там была разнарядка: ежемесячно принимать в партию столько-то рабочих. Сделать это было непросто, желающих не находилось. Но зато было большое количество алкашей, которых завод принудительно содержал в ЛТП — лечебно-профилактических учреждениях. Это было что-то вроде ведомственной тюрьмы. Там, за решеткой, их кормили и по утрам выводили на работу. А зарплату отдавали их семьям.

Так вот этих работяг периодически исключали из партии по вполне понятным причинам. Но когда для выполнения разнарядки сверху не хватало новых кандидатур, алкоголиков снова принимали в члены партии. А через некоторое время исключали опять — за алкоголизм.

Веками существуют три сакраментальных русских вопроса: кому на Руси жить хорошо? кто виноват? и — что делать? Настало такое время, когда все три вопроса упираются в одно слово. Кому на Руси жить хорошо? Мы знаем — партии. Кто виноват в несчастьях народов этой страны? И ответ опять — партия. А если так, то ответ на вопрос, что делать, прост: дать партии самораспуститься.

В партии во все времена были и есть сейчас честные люди, мы таких знаем. Не будем разбираться, как они туда попали, — с каждым может случиться беда или бес попутал. Эти порядочные люди давно бы выкинули свои партбилеты, но было опас-

но, страшно, и они, как говорится, не рыпались. Но теперь каждому, кто понимает, что происходит, каждому, у кого осталась своя (а не партийная) совесть, пора из партии выходить. Тихо или шумно, решительно или осторожно, группами единомышленников, чтобы веселей, или в одиночку, но из партии надо драпать. Привилегий, которые удерживали раньше, становится меньше. Карьере партия теперь только вредит. И вообще, настанет день, когда с партии спросят за все сполна. Тогда у тех, кто вышел, будет алиби: «А я, ребята, осознал и вышел добровольно, сам».

Ортодоксы сейчас говорят об обновлении партии. Их можно понять, они остаются без кресел. Но поставим вопрос ребром. Могла ли обновиться нацистская партия? Могут ли обновиться кокаиновые мафии? Переродиться коммунистической партии Советского Союза не дано. Она вырождается. И пусть себе на здоровье двигается в том же направлении. Паранойя до тех пор болезнь, пока есть больные. Партия существует, пока в ней люди. Наверное, коммунисты попытаются организовывать другие партии, как они это делали всегда, как хитрил их учитель Ленин. Но это будет потом. А сегодня эта партия изжила себя.

Чтобы вступить в партию, нужны были рекомендации опытных ее членов. Согласно московскому анекдоту, чтобы выйти из партии, теперь требуется раздобыть три рекомендации от беспартийных. И не такой уж это анекдот. Чего только ни делали с беспартийными и со своими партийными тоже эти самые коммунисты за три четверти века, разве что дустом не посыпали. Про Чернобыль уж и не говорю.

И все же у меня большая просьба к беспартийным: дайте, пожалуйста, рекомендации коммунистам. Чтобы они могли выйти из своей партии. Быстрее дело пойдет.

АД, РАЙ И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Исторический аспект тюремного мышления

«Вестник», Балтимор, 1992, № 2

Проблема выезда за границу, которую сегодня на бывшей подсоветской территории обсуждают едва ли не в каждой четвертой семье, трудной в нашем отечестве была всегда. Скользя по российскому прошлому, глаза историка выхватывают наиболее важные моменты, чтобы представить общую картину.

Возможности бесконтрольного пересечения границы на Руси были ликвидированы при Иване Грозном. «Ты затворил Царство Русское, сиречь свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне, — жаловался Андрей Курбский, который исхитрился сбежать в Литву, Ивану IV. — Кто поедет из твоей земли в чужую, того ты называешь изменником, а если поймают его на границе, ты казнишь его разными смертями».

Бежать Курбскому было легче, чем многим другим. Юрьев (Дерпт), который теперь называется Тарту, считался в каком-то смысле полузаграницей. Им несколько веков владели рыцари Ливонского ордена. Отметим: Курбский видел, что происходит и что назревает, а близились опричнина и массовые казни, и он не хотел соучаствовать. Один из патриотически настроенных его друзей, узнав о его планах, стал отговаривать Курбского бежать; он никому не сказал, не донес, что Курбский собирается в Литву, но вызвал Курбского на дуэль. Курбский был великолепным фехтовальщиком, заколол своего оппонента и бежал.

Итак, хотя термина еще не было, Курбский стал невозвращенцем. Его примеру последовали многие образованные рус-

ские, между прочим, и первопечатник Иван Федоров. Так что, проходя теперь по Охотному ряду, я склоняю голову перед монументом, поставленным по иронии истории эмигранту.

Да и сам Грозный готовился в случае опасности драпануть за кордон. Сентябрьской ночью 1567 года царь потребовал к себе английского посла Дженкинсона. Переводил толмач Рюттер. Иван велел сообщить королеве Елизавете, «чтобы между ним и Ее Королевским Высочеством было бы учинено клятвенное обещание, что если бы с кем из них случилась беда, то каждый из них имеет право прибыть в страну другого для спасения себя и своей жизни и жить и иметь убежище без боязни и опасности до того времени, пока беда не минует и Бог не устроит иначе; и что один будет принят другим с почетом. И хранить это в величайшей тайне».

Грозный спешил не случайно: он панически боялся заговора бояр. А ответ не приходил. Через три года царь послал в Лондон преданного человека, и тот привез от Елизаветы ответ. В письме, заверенном малой королевской печатью, Елизавета великодушно обещала царю покровительство с «благородною царицею, супругою Вашєю и с Вашими любезными детьми, князьями, если бы когда-либо посетила Вас, господин брат, наш царь и великий князь, такая несчастная случайность, по тайному ли сговору, по внешней ли вражде, что Вы будете вынуждены покинуть Ваши страны и пожелаете прибыть в наше королевство». Договор же о взаимном укрывательстве Елизавета игнорировала.

Иван просто взбесился от того, что его человека в Лондоне даже не приняли на высоком уровне. Все переговоры велись через министров, и тянулись они почти год. За это время положение царя укрепилось, заговоры он утопил в крови, хотя понимал, что не застрахован от повторений. В злобе Грозный продиктовал хамское письмо Елизавете, обращаясь к ней «на ты» и издеваясь над тем, что она девственница. Елизавета ответила вежливо, по-королевски, с достоинством, и это царя еще больше вывело из себя. Жертвами этой злобы оказались английские купцы, у которых отобрали привезенные ими в Московию товары.

Мысль породниться с английским престолом оказалась навязчивой, и Иван замыслил женитьбу на одной из племянниц

Елизаветы — Мэри Гастингс. Посланцы доложили, что она ангельской наружности, и в Москве стали уже поговаривать о новой царице Марии Хантинской. Впрочем, услышав побольше о своем будущем муже, племянница на брак не решилась. И тогда Иван Васильевич пригласил английского посла и наметнул ему, что отказ одной из племянниц только усиливает его желание сочетаться браком с какой-нибудь другой родственницей королевы Елизаветы. И по сему он собирается в Англию лично, причем берет с собой государственную казну.

Обойдем стороной спекуляции о причинах смерти Грозного. Скажем только: когда английский посланник Баус договаривался о следующем приеме у царя, в Посольском приказе ему ответили, что «его английский царь помер». За границу Иван не удрал. Больше того, сам замысел побега стоил ему жизни: он был задушен или отравлен своими фаворитами.

Парадоксально, но факт, что людей, сочувствующих Западу, первым назвал предателями родины именно Иван Грозный. При поездке купца за границу за него должны были поручиться головой десять человек. Если тот не возвращался в срок, их секли плетью.

Тема бегства из этого государства висела в воздухе всегда и на всех социальных уровнях. Позже планы удрать в Америку одно время вынашивал и будущий молодой царь Александр I. Дворянство было тестом, из которого государство пекло для себя преданных чиновников. «Чтобы можно было спокойно удерживать их в рабстве и боязни, никто из них... не смеет самовольно выезжать из страны и сообщать им о свободных учреждениях других стран». Так объяснял русскую ситуацию немецкий путешественник XVII века Адам Олеарий.

Кстати, с XV века (а может, и раньше) под изменой стали понимать главным образом побег или попытку побега за границу.

Причин тому было несколько: опасение, что чужая вера проникнет внутрь, возникнет ересь, что, узнав о вольной жизни за границей, вернувшийся будет недоволен крепостной зависимостью на родине, наконец, весьма частое превращение путешественников в невозвращенцев: «одно лето побывает с

ними (с иностранцами. — Ю. Д.) на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей».

Тайные побеги за границу были следствием запрета на легальный выезд. Чтобы пресечь побеги, возникла система заложничества — остающаяся семья, жизнь которой зависит от того, вернется посланный за границу домой или нет. «А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство без ведомости, не бив челом государю, и такому б человеку за тое дело поставлено было в измену, и вотчины, и поместья, и животы взяты б были на царя, да ежели б кто сам поехал, а после его остались сродственники, и их бы пытали, не ведали ль они мысли сродственника своего ж, или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали бы, для чего он послал в иное государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему наущению». Это вспоминает Григорий Котошихин, автор интереснейшей книги «О России в царствование Алексея Михайловича», выпущенной в 1666 году.

Заметим: государство предполагает в личных стремлениях человека только плохие намерения. Законы не разрешают, не обеспечивают, не гарантируют, но ограничивают, запрещают, запугивают. Для того, чтобы выехать, надо унизиться. Выезд за сто лет, прошедших от Ивана Васильевича до Алексея Михайловича, стал труднее. Тем труднее, чем больше было желающих выехать. Периодические смуты, постоянная борьба с ересями и нестабильность ситуации подталкивали людей к этому. Наплыв иноземцев оказывал влияние на умы, формировал критические взгляды, недовольство.

Хорват Юрий Крижанич, писатель, подвизавшийся при Алексее Романове в Москве в 1645—1675 годах, сформулировал пять принципов власти в России, которыми регулировалась жизнь во всех ее проявлениях. Ощущение, будто это написано недавно, а то был семнадцатый век. Вот пять принципов русской власти:

1) полное самовладство, или, говоря современным языком, тирания,

2) закрытие рубежей, то есть железный занавес,

- 3) запрет жить в безделье (принудительный труд),
- 4) монополия внешней торговли,
- 5) запрет проповедовать ереси, или идеологическое единомыслие, борьба с диссидентством, постоянное свидетельство преданности власти.

Добавим теперь к этому сверхзадачу, о которой Крижанич запечатлел, а именно: идею мирового господства, амбиции: Москва — Третий Рим. Крижанич писал о закрытии границ: чужестранцам не разрешается свободно и просто приходить в нашу страну, и нашим людям не разрешают без важных причин скитаться за пределами. Эти два обычая — две ноги и два столпа сего королевства, отмечает он, и их надо свято соблюдать.

При Петре Великом, прорубившем так называемое окно в Европу, для охраны границ в 1711 году была учреждена ландмилиция, то есть пограничная военная стража. Вдоль границ начали строиться оборонительные линии на юге Украины. Однако для учения, торговли и заимствования западных новшеств, особенно в военной области, поездки за границу при Петре расширились, прежде всего благодаря его собственному практическому интересу к Европе.

Иностранцев во времена Петра I уважали и не любили. Выпуск за границу встречал противодействие в русском обществе. Историк пишет: «За посылание молодых людей в чужие края (Петром Великим. — Ю. Д.) старики роптали, что государь, отдаляя их от православия, научал их басурманскому еретичеству. Жены молодых людей, отправленных за море, недели траур...»

Павел Анненков вспоминает, что замечательному писателю Алексею Писемскому было свойственно органическое отвращение к иностранцам, которого этот умный человек победить в себе не мог. «Присутствие иностранца, — говорил Писемский, — действует на меня уничтожающим образом: я лишаясь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его». Интеллигентный Анненков комментирует эту неприязнь так: «Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено

и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких и им подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей прежнего боярства и думных людей московского царства?»*

Анализ причин этой неприязни к Западу увел бы нас в сторону. Важно, однако, отметить, что традиционное русское мышление вообще все иностранное и за границу в целом, как отмечает американский славист Д. Ранкур-Лаферрьер в своей интересной книге «Из-под «Шинели» Гоголя», соотносит с дьявольщиной, с тем местом, где, с точки зрения необразованного русского человека, дьявол обитает. За граница — это то, что находится далеко: у черта на куличках, у черта на рогах, а сами иностранцы сродни дьяволу. Об этом свидетельствуют многочисленные источники от древней русской литературы до «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, у которого демонический Воланд все время подчеркнуто изображается иностранцем: «Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец».

Веками вдалбливалось в русское обывательское сознание, что за граница есть нечто проклятое Богом, ад. Если общался с иностранцем, необходимо помыть руки. Даже пища в «нечистой земле» грешная, хлеб надо брать с собой. Купец Афанасий Никитин по разным странам на «том свете» отпутешествовал, а вернувшись, заявил: «Кто по многим землям много плавает, тот во многие грехи впадает и веры христианской лишается». Таким образом, косная советская пропаганда о дяде Сэме и других баях-империалистах, которые едут специально, чтобы угощать наших пионеров отравленной жевательной резинкой и бросать яд в наши колодцы, ложилась, так сказать, в исторически подготовленную почву.

Для лучшей же части русской интеллигенции за граница — во все времена альтернатива паскудного существования, источник просвещения, культуры, земля обетованная, вообще рай.

* Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 486.

«Франция казалась страной чудес», — писал Щедрин. А то было тревожное время революции 1848 года.

Облегчилась проблема выезда за границу при императоре Петре III с изданием Манифеста о вольности дворянской. Привилегированное сословие освобождалось от принуждения к службе. Неслужащий дворянин получил даже право ехать за границу и служить там. Прислуга просто вписывалась в подорожную списком.

При Екатерине Великой, с ростом культуры русского общества, сближение с Европой еще более углубилось. Поездка за границу для учения или расширения общей культуры, а также для лечения становилась неременной частью существования. В Европу ехали цари, министры, служащие, купцы, художники, музыканты, сочинители. Одни из них приезжали и снова уезжали, другие оставались там навсегда. Сравнительно легко удавались и побеги. Брат писателя Василия Капниста, Петр, благополучно бежал от настойчивых ухаживаний Екатерины за границу, просто сев инкогнито на корабль, уходивший в Англию.

Многие русские, покидая отечество в конце XVIII — начале XIX века, переходили в католичество. Другие, даже живя в Петербурге, старались получить образование в нерусских учреждениях и предпочитали не иметь ничего общего с духом народа, потребностями страны и, как пишет официальный историк Л. Н. Майков, «тянули в сторону врагов родины».

При этом историографы периода, который я бы назвал переломным (правление Александра I), — утверждают, что дворянин, если только он хотел выехать за границу, сделать это, как правило, мог. Писатели часто служили по дипломатической части и ездили за границу всю жизнь. Василий Тредиаковский был чиновником в Париже и Гамбурге. Антиох Кантемир — послом в Лондоне и Париже. Бывал в Европе Фонвизин, и она ему не понравилась.

Карамзин двинулся в путешествие по Европе, когда ему было двадцать три года. «Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения», — писал он. «На польской границе осмотр был нестрогий», — вспоминал свой первый вояж за границу Карамзин в книге «Письма русского

путешественника». Проинструктированный заранее друзьями, писатель подмазал таможенников, и они даже не стали рыться в его вещах. Проехав пять стран, через полтора года Карамзин вернулся в Россию и стал думать о том, не отправиться ли навсегда в Чили, Перу, на Филиппины, на остров Святой Елены: «Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных, а здесь боюсь и подумать о седирах шестидесятилетия», — писал он Дмитриеву. Позиция Карамзина такая: каждый может уехать, нельзя только, выехав, ругать свою страну.

К середине XIX века выездное законодательство настолько усовершенствовалось, что выехать практически мог каждый. Гоголь, Тютчев, Тургенев, Достоевский, Толстой, Блок и многие другие жили и творили за границей, ездили туда-сюда, некоторые, как Жуковский, женились на иностранках и уезжали. Довольно безвкусная акварель художника Е. Рейтерна запечатлела Жуковского в Швейцарии, в 1832 году, на берегу Женевского озера. До этого Жуковский выезжал за границу множество раз, в том числе с августейшей фамилией, а, женившись, уехал и умер в Германии. Многие, в том числе Чехов, умирали за рубежом, а хоронили их на родине.

Фрейлина Александра Смирнова писала Жуковскому из Парижа: «Отсюда еду на днях в Брюссель, посмотрю Бельгию и Голландию, а в Роттердаме сяду на пароход до Гамбурга и так далее до благословенного Петрограда. Меня туда ничто не влечет: напротив, тоска забирает, когда подумаешь, что точно надобно вернуться. Никто более меня в сию минуту не оправдывает слов Кюстина». Именно за границей развилась свободная русская пресса (Герцен и Огарев). Но даже крестьяне из Сибири ухитрялись перебираться в Калифорнию. Когда лямки расслабились, на какое-то время эмиграция перестала быть роковым событием, поскольку никто не преследовал и можно было возвращаться, сколько душе угодно.

Сравнительную легкость выезда и побега, слабость охраны границ и взяточничество таможенников, о чем еще Карамзин и Гоголь писали не без юмора, стали использовать представители разного рода террористических организаций, включая, разумеется, большевиков. Когда Ленина сослали в деревню, он

год читал книги, сочинял революционные брошюры, охотился, катался на лыжах, а потом подал прошение ехать за границу для поправки здоровья и продолжения образования. Никто в семье Ульяновых не работал, но денег хватало и на жизнь, и на образование, и на путешествия. В 1900 году он отправился в Германию, Англию, Швейцарию, Францию, проведя за границей за небольшим исключением семнадцать лет. Не будь определенного либерализма в империи, не было бы в России и революции, и Ленин с единомышленниками называли бы себя не большевиками, а отказниками. Они прекрасно понимали, почему советскому человеку не надо ездить за границу. Благодаря проворному гению Ленина, который, придя к власти, тут же со знанием дела начал задраивать окна и двери, Россия возвратилась к средневековью. Впрочем, Ивану Грозному не снились ни такие возможности, ни такие результаты.

Новым явлением стала насильственная высылка, чистка интеллигенции. Одним из пиков такой эмиграции была отправка силами ЧК по инициативе Ленина ста шестидесяти одного «внутреннего эмигранта» в сентябре 1922 года из Советской России. Вождь сам составил список, в который вошли и Горький, и Короленко. Ленин приказал выгнать их «архиакуратно». Неудобных интеллигентов изгоняли, но их было ничтожное число по сравнению с добровольным бегством, пока это было возможно. Между прочим, тот же Булгаков с женой и четой Мандельштамов чуть не удрали с Кавказа за границу от большевиков. Потом Булгаков жалел, что остался, просил Сталина его выпустить, но — тщетно.

При Сталине запретили браки с приезжающими иностранцами. При Хрущеве дверь было приоткрылась. «Я считаю: это невероятно — после пятидесяти лет удержать рай под замком», — лихо заявил он в воспоминаниях. Но продиктовал это, когда уже стал почетным и вполне безответственным пенсионером.

А иезуитская система при нем и при Брежневе создала гнусную процедуру проверки каждого перед выездом даже на три дня не только чекистами, но сперва консилиумом врачей, а затем комиссией выживших из ума партийных функционеров. Кто не бегал, собирая характеристики на самого себя, кто не разде-

вался перед членами комиссий и не стоял под их сенильными взглядами, будет жить дольше.

Перебраться через колючую проволоку после окончательного торжества социализма становилось все трудней. И людей, которые хотели, но не могли выбраться из рая в ад, становилось все больше, ведь закрытая на замок граница — лучший способ воспитать нелюбовь к своей родине.

Основоположник русской литературы — курчавый африканец, предка которого насильно ввезли в Россию ублажать царя. Держали поэта взаперти, чтобы не взглянул на другие страны и при этом воспевал подвиги русских захватчиков. Роковая миссия России во втором тысячелетии состояла в непрерывном, часть за частью, отсечении от Европы и Азии: Сибири, Украины, Крыма, Прибалтики, Карелии, Скандинавии, Балкан, Польши, половины Германии и — изоляции захваченного от остального мира цепями, шлагбаумами, колючей проволокой, стенами, радарам. Можем ли мы сказать, что национальная доктрина со времен Пушкина изменилась необратимо?

О торможении прогресса в связи с закрытой границей разговор должен быть особый. Статус отказника стал рефлексорным выражением состояния государства. Как массовые репрессии порождали класс заключенных, возродив в XX веке в СССР и Германии рабовладение, так и массовые отказы создали в Советском Союзе новый слой. Десятки тысяч людей были отвергнуты властью и обществом и насильно привязаны к государству. Отказники, если хотите, были своего рода декабристами со знаком минус. Как декабристы, страшно далеки они от народа, мечтали о западном устройстве государства и могли быть в любую минуту депортированы в Сибирь. Но, в отличие от декабристов, они по своим убеждениям не хотели участвовать в делах этой страны. Пушкин, кажется нам, и тут был первым: первым настоящим и пожизненным отказником в России.

Пока вы молча любите или не любите данную страну, вас не трогают. Если вы громко «за» — власти делают вид, что верят вам; если громко «против» — вы тоже ясны, они знают, куда вас деть. Можно шумно судить или тихо растоптать в парадном, когда вы вечером возвращаетесь домой. А можно размазать по стене психиатрической клиники.

Но самое страшное заявить, что вы — третья категория: просто не хотите здесь жить, готовы уехать. В общем-то ясно, что вы не «за», что вы «против». Но относительно реальной побудительной причины эмигрировать вы молчите. А власть хочет, чтобы высказались, дав ей повод вас наказать. Власть-то причина ясна. Ведь если сегодня апеллировали вы, завтра захотят бежать многие другие, и властям уже видится всенародный кросс, в котором участвует полстраны, и очередь на выезд от Москвы до Владивостока. Вот почему людей, задающих антисоветский вопрос «Брать ли зонтик?», надо изолировать в местах не столь отдаленных.

Самое трудное в положении отказника, как ни странно, не то, что его не выпускают за границу, а надежда, что выпустят. Если б знать наверняка: никогда не уедешь, то смирился бы, стал жить, как остальные. А власти, не выпуская, надежду подогревают обещаниями, примеров отъезда вокруг тоже немало. У отказника — ни нормальной работы, ни среды, ни дома, родные и друзья с ним как бы уже простились навсегда, а он все мозолит глаза. Как у аиста, у отказника нормальная поза на одной ноге. Но ведь он не аист!

На закрытых собраниях начальники говорят, что, утечка мозгов, не в интересах государства. На самом деле они уверены, что у них на всё хватит своего ума. Да и не нужна им высокая культура, которой они не понимают. Они боятся физической утечки людей, ибо кем же тогда командовать? Им страшно потерять полный контроль над людьми, данный им исторической удачей, ибо раб, который может разорвать цепь — не раб. Выезд лишает верхи возможности глумиться, наслаждаться своей властью. А слаще этого, как известно, ничего на свете нет.

Итак, с точки зрения традиционного мышления русского начальства, подданный, стремящийся эмигрировать, хуже бунтаря или инакомыслящего. Устремления протестантов хотя бы исторически патриотичны. Последние протестуют или ратуют за улучшения, необходимость которых понятна и самим властям (сколько бы они ни утверждали обратное), но по тем или иным причинам правительство на перемены не идет. Когда изменения все-таки произойдут, протестантам все простится, они даже могут стать героями, хотя и не скоро.

Подданные, стремящиеся потерять подданство, даже если они клянутся в любви к родине или делают это действительно только по семейным причинам, — все равно одним своим нежеланием оставаться они демонстрируют всему миру больше, чем бунтари. Они не верят в улучшения здесь, их не устраивает не только система, но это государство вообще. «Что? Вы говорите, Россия разваливается? А черт с ней, с Россией, этой ленивой бабищей», — заявил вовсе не похожий на нигилиста Василий Розанов в сентябре 1916 года.* Ни в одной стране не найдешь таких крайностей, такой антипатии к родине у части ее населения. Отрицают не только данное правительство, но порой все, что с родиной связано. Их протест суров, как смертный приговор неизлечимому больному, окончателен, как похороны. Ничто так не бесит власти, как нежелание находиться за общей колючей проволокой, которое в пропаганде называется антипатриотизмом, предательством своего народа, изменой нашему делу и прочее.

Прислужники власти, некоторые писатели и поэты, подпевают в этом тайной полиции, разжигая ненависть народа к отщепенцам. В пример приведу несколько строк из стихотворения Станислава Куняева «Разговор с покинувшим Родину».

Для тебя территория, а для меня —
это Родина, сукин ты сын.
Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля,
с тяжким стоном берез и осин...
Гнев за гнев — коль не можешь любовь за любовь —
так скитайся, как вечная тень,
ненадолго насытивший желчную кровь,
исчезающий оборотень.**

Конечно, стихи могли бы быть и менее пошлыми, не в этом дело. Не кажется ли вам, что тут целый букет низменных проявлений: узколобость, злоба, ненависть, даже зависть к тому, кому повезло? Но политика правительства в России всегда строилась по такому же принципу, то есть сиди и не рыпайся.

* Голлербах Э. Город муз. Л., 1930. С.171.

** Комсомольская правда, 1980. 12 окт.

У отказа, однако, было две стороны: власть отказывала отказнику в выезде, а отказник отказывал власти в участии, в признании ее легитимности. Впрочем, где тут причина, а где следствие, трудно разобраться, процесс двуединый. Все хотят за границу, но все лояльные граждане хитрят, делают вид, производят фальшивые слова о любви к матери-родине. И только изгой-отказники письменно заявляют, что жить здесь не хотят, и портят этим картину народного ликования.

Отсюда — эффект парового котла, из которого периодически приходится спускать пар, чтобы не разорвало, — суть эмиграционной политики России на протяжении многих лет. Отсюда же волны эмиграции, поляризация народа на три части: те, кто сидят в тюрьмах, те, кто на свободе внутри страны, и те, кто все-таки добился свободы внешней и стал отрезанным ломтем.

Как волны эмиграции из России накатывались в наше время на западные берега, как дошло до девятого вала, читатель знает лучше меня.

ЧУДЕСА ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ, ИЛИ ПАРТИЙНАЯ ТОПОНИМИКА

Взгляд на Московию 1988 года с птичьего полета

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 8 ноября 1988

Добрую половину своей сумбурной жизни я прожил в Москве, на Песчаных улицах, в районе, который в течение нескольких веков носил название село Всехсвятское — по церкви Всех Святых, мимо которой по Санкт-Петербургскому шоссе туда и обратно много раз проезжал Пушкин. Помните, Татьяну везут в Москву? «Вот окружен своей дубравой Петровский замок». На замок этот открывался красивый, как мираж, вид сразу после поворота тракта у Всехсвятской церкви.

Теперь этот вид не открывается. Ленинградский проспект (бывший Тверской тракт) застроен двумя рядами одинаковых коробок, среди которых главным сооружением в этом районе был Протезный завод имени Карла Маркса. Позади него ютилась обувная артель инвалидов «Молодая гвардия». Сейчас завод и артель перенесли на другое место. Я не против градостроительства. Я за инвалидов. Просто хочется понять диалектическую связь между протезами и основоположником бывшего в употреблении нового учения.

Петровская академия, что позади Петровского замка, переименована в Тимирязевскую (награда за то, что Тимирязев, в отличие от своих коллег, вступил в сотрудничество с большевиками). Всехсвятскую церковь не видно: пережиток старого мира загорожен пожарным отделением с башней, помпезной станцией метро, вместо которой хватило бы просто отверстия в земле, и мрачным домом, построенным для ушедших на отдых сталинских генералов. Длинный ряд нищих стариков и

гарух стоит вдоль стены дома до входа в церковь, и это единственное, что не меняется в течение десятилетий.

А остальное... От Всехсвятской церкви шли по номерам Песчаные улицы до Песчаной площади и реки Серебрянки — и было удобно ориентироваться. Серебрянку засыпали. Все холмы и овраги уничтожили, построив одинаковые шестизэтажные дома из серого кирпича (возводили их пленные немцы). А когда живописную местность вокруг Всехсвятской церкви сделали лысой, улицу назвали Живописной — потому что по приказу Сталина здесь дали мастерские членам Союза художников.

Вот уже тридцать лет, в нелепом порядке, Песчаные и все близлежащие улицы переименовываются. Гимназический переулок — в Чапаевский, где я долго жил. Рядом с ним — улицы Вальтера Ульбрихта, Георгиу Дежа (где жил не Деж, а Назым Хикмет), Сальвадора Альенде, Луиджи Лонго, Куусинена. Бедные водители троллейбусов ломают язык, произнося остановки: «улица Кусинова» и даже «Укусименя». Кладбище за церковью сравнивали с землей, на могилах построили два кинотеатра: «Ленинград» и «Дружба». Но живые улицы вокруг превратили в кладбище секретарей иностранных компартий, которые никогда здесь не бывали (а может, и привозили их — улицу показать?) В эту теплую партийную компанию затесался советский шпион: там есть улица Рихарда Зорге.

Район Всехсвятское теперь именуется Сокол, а чуть ближе к центру, возле метро «Аэропорт», площадь Эрнста Тельмана. Назвали бы станцию метро «Буревестник»! Ведь неподалеку отсюда разбился, начав показательный рейс, знаменитый самолет «Максим Горький» со стахановцами на борту. Изъято из памяти лежащее вдоль тверской дороги Ходынское поле. Бронзовый Тельман показывает увесистый кулак всем проезжающим в международный аэропорт Шереметьево.

Ходынку еще в двадцатые годы называли аэропортом имени товарища Троцкого. Потом имени товарища Фрунзе. Потом и Фрунзе отрезали. Название станции метро «Аэропорт» также теперь бессмысленное, потому что пассажирских аэропортов в Москве четыре, и все нынче не тут, а до городского аэровокзала от метро далеко.

В «дворянском гнезде», как именовали писательские дома на «Аэропорте», названия улиц по конвейеру заменяли именами официальных советских писателей, лауреатов и депутатов. Позавчера шел по улице — было так, а вчера — «Улица Константина Симонова». Само собой, все граждане, здесь живущие, обязаны в трехдневный срок сдать паспорта в милицию, чтобы поставить штамп о прописке на новой улице, хотя они живут на старой.

В советской печати эпохи разгула гласности начали появляться статьи на тему о неуместности некоторых названий, данных в период сталинского прогресса и брежневского регресса. Метростроевская опять Остоженка. Несколько других имен вернулись к первоначальным, и это хорошо. Но если на переименования бросить, так сказать, обобщенный взгляд, мы сразу обнаружим основное табу. Никто не прикасался к запретному идеологическому аспекту проблемы. А тут-то и зарыта собака.

Зуд переименований начался в нашем отечестве сразу после революции. В принципе все должно было называться по-советски. И вот улицы с исконными историческими именами, на которых жили наши предки, во всех городах и деревнях стали Баррикадными, Большевицскими, Октябрьскими, Коммунистическими, Пролетарскими, Колхозными, Ударными, Соцсоревнования, Красноармейскими, Стахановскими и пр. Потом пошли улицы и площади, регистрирующие, сколько удалось продержаться советской власти: 10 лет Октября, 25 лет, 50 лет. Есть улицы по номерам съездов партии, по партийным датам.

Конечно, вожди партии не забывали и о собственной славе.

Полистайте старые географические карты (если удастся найти): страна покрывалась городами типа Троцк, Рыковск, Зиновьевск. Затем эти названия пошли под запрет. На картах остались и стали множиться Сталино, Сталинск, Сталиногорск, Сталинабад, Сталинград, Сталинири. Подключился соцлагерь: три города Сталин, Сталинштадт, Сталиногруд, Сталинварош, сотни колхозов, заводов его имени, не говоря уж о паровозе «Иосиф Сталин», который нас в эти города вез.

Пример сверху в свое время оказался заразительным. Местные руководители тоже начали увековечивать сами себя. Были

и трудные моменты. В начале тридцатых годов партия послала в Свердловск нового первого секретаря обкома слесаря Ивана Кабакова. Выкорчевав троцкизм и проведя коллективизацию, Кабаков решил увековечить свое имя. Уральский город на реке Какве, Надеждинск, Кабаков переименовал в самого себя — в Кабаковск.

Просматривая списки секретарей обкомов, Председатель Совета Народных Комиссаров Молотов возле фамилии Кабаков поставил три буквы «ВМН», что значило «Высшая мера наказания», то есть — расстрел. Кабакова не стало. Никто не решался написать или произнести вслух название города. Город остался без названия. Трагикомическая ситуация продолжалась два года. Наконец, сверху поступило указание бывший Надеждинск (без упоминания, что это Кабаковск) назвать в честь нового сталинского героя-летчика — Серов.

Когда запретили имя Сталина, на втором дыхании пошло в ход имя Ленина. Ленинград (который старожилы упрямо называли Питером) уже был. Множились Ленинск, Лениногорск, Ленинанкан, Ленинабад, Ульяновск, Горки Ленинские, Ленинодачное. Прошу прощения у читателя за нудность — но надо же хоть раз взглянуть на эту картину, созданную коллективным умом партии!

По всей стране появились улицы, колхозы, школы, заводы, библиотеки имени вдовы Ленина, его сестры, брата, имени революционной подруги вождя товарища Инессы. На этикетках жевательной резинки, которую стали продавать в табачных ларьках, написано: «Фабрика имени Крупской». Потому, видимо, что жвачку жуют на уроках. Одинарные имена в процессе жизни удваивались, появлялись слоеные топонимические пироги. Такие названия удастся произнести только скороговоркой после специальной тренировки, например, Московский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина (бывший имени Л. М. Кагановича).

В конце пятидесятых годов границу Москвы расширили за счет пригородов, и в ней оказался ряд улиц и площадей Ленина. «Между людьми не бывает никто безымянным», — заметил еще Гомер в «Одиссее». Миллионы безымянных выходили из лагерей, и миллионы остались в Тмутаракани в безымянных

могилах, когда в Москве имя Ленин было в явном переборе. Вот ведь парадокс: представьте город, в котором все улицы носят имя Ленина, — Ленин в таком городе становится безымянным! Но это только в теории.

На практике не знали, как разнообразить имя основоположника в списке одинаковых улиц. Помню, историки партии подсказали поистине гениальный выход: назвать улицы псевдонимами, под которыми вождь писал, скрывался от полиции, на которые имел фальшивые паспорта. Одна такая улица уже была — Тульская. Но смелая идея эта осталась нереализованной. Откройте справочный том пятого издания собрания сочинений, и вам станет ясно почему.

У Ленина за не очень долгую его творческую жизнь было 257 имен-псевдонимов, более чем достаточно для переименования всех этих улиц. И еще часть можно было оставить в запас для разворачивавшегося жилищного строительства. Но псевдонимы вождь выбирал для себя странные: Посторонний, Почти примиренец, Ленивец и т. д. Представим себе «Улицу Постороннего», «Площадь Почти примиренца» или «Бригаду коммунистического труда завода имени Ленивцына».

Увековечивание вождей всегда было важнейшей, если не главной, заботой органов переименования. Но элемент везения — кому быть увековечиваемым, а кому нет — тоже, конечно, имел место. Скажем, Карл Либкнехт и не ведал, как ему повезло: по всей стране, даже в мелких городишках, есть улицы его имени. Я сам во время войны жил в Воткинске, где родился Чайковский, на улице Карла Либкнехта. Улицы Чайковского тогда там не было.

А Никите Хрущеву не повезло. При жизни он сам издал декрет, запрещающий называть что-либо именами живых. Хрущеву надо было стереть с карты Молотова и Ворошилова. Но в этом была, кроме сведения счетов, и логика: живые герои спиваются, завтра сбегут за границу, а потом спешно опять переименовывай. Лучше подождать, пока они умрут. Собственный декрет и помешал Хрущеву назвать его любимый Курск Хрущевском. Теперь даже захудалого переулка Хрущева в стране нет. Зато те, кому везло и кто когда-нибудь попадал в элитарную партийную номенклатуру, получил в подарок по улице, даже

Вышинский и Крыленко — официальные убийцы миллионов невинных людей.

Ну, а в целом? Горько было глядеть перед отъездом на Москву. Кроме вторичных (от слова Ленинград) Ленинградского проспекта, Ленинградского шоссе, Ленинградского района, маячили Ленинский проспект, Ленинская площадь, Ленинский проезд, Ленинская слобода, Ленинские горы, Ленинский район, стадион имени Ленина, улица Юных Ленинцев, Ульяновская улица, Ульяновская эстакада, даже названия вроде завод имени Владимира Ильича, площадь Ильича, Ильичевский проезд. Последний, между прочим, был переименован так в честь вождя еще при его жизни. Только в Москве приближается к ста пятидесяти цифра мемориальных досок на всех местах, где жил, заходил, выступал великий вождь. Кажется, неохваченными остались лишь туалеты. По иронии истории в последний раз имя Ленина присвоили Чернобыльской атомной электростанции.

Протезный завод имени Карла Маркса, который я упоминал, — мелочь. Охотный ряд в Москве стал проспектом Маркса, появились улица Карла Маркса, улица Маркса и Энгельса. Мало этих — еще Марксистская улица и Марксистский переулок. Неужели все остальные улицы столицы оставались не марксистскими?

Переименования давно достигли безвоздушного пространства: вслед за морским заливом Сталина возникли три горных пика Сталина, пик Ленина, пик Ленинграда, горные вершины Коммунизма, Дружбы Народов и т. п. Бериевский научный консультант, академик Курчатов, превратился в кратер на Луне.

А на Земле была дана новая установка: называть улицы в соответствии с наступающим светлым будущим. И пошли гулять Привольная, Зажиточная, Счастливая, Изобильная. И деревни да города с названиями вроде этих. Но хотя висели на этих счастливых улицах заверения партии в том, что вот-вот все обещанное наступит, названия упорно не хотели превращаться в действительность. Магазиновые полки на Изобильной улице оставались пустыми.

Поскольку вожди сменялись, менялись и вывески. Пермь — Молотов — снова Пермь. Царицын — Сталинград — Волго-

рад. Были Набережные Челны и Рыбинск, стали Брежнев и Андропов. Теперь Челны именуются по-старому, а Андропов по причинам, о которых мы догадываемся, вроде бы еще нет. Ну, не стал, так со временем станет Рыбинском. А вдруг, не дай Бог, Громыкой? Был Ижевск, стал Устинов, и вот... Я, честно скажу, запутался.

Помню, сам читал в «Литературке» храброе письмо читателя — не назрело ли Устинов сделать опять Ижевском? Ясно, что назрело — такие письма без задней мысли не публикуют. Но стал ли опять Ижевск Ижевском или еще не стал? Калинин Тверью становится. Вятки нет, есть Киров. Луганска и Мареуполя нет, есть Ворошиловград и Жданов. Диву даюсь, может кто-нибудь мне объяснит, как в свое время Москва в этой азартной игре уцелела?

Царское Село вряд ли опять появится, а хорошо бы. Не потому, что я люблю царей, а потому что я уважаю Пушкина, а Пушкин уважал историю. Он оказался в литературной номенклатуре, и вот по всей стране тысячи улиц, площадей, деревень и городов Пушкинские и Пушкины. Так замусолено имя, что долго придется отмывать. Например, у меня хранится вырезка из районной газеты: «Пушкин по числу квартирных краж на первом месте в области». Жаль, что в городе Пушкин больше воров. Но еще больше огорчает, что поэт не может вызвать оскорбителя на дуэль.

Народ приучили, что начальство меняет названия без конца. Везде прошлое выскоблено, забито, покрашено — нечего вспоминать. Особенно тщательно соскабливали этнические имена, например, татарские в Крыму. Там появились Клубничное, Земляничное да Орджоникидзе. Коктебель всемирно известен, но на карте он не существует, есть Планерское. Глупее, кажется, и придумать невозможно.

Чего только не смывала и не намывала мутная волна переименований! Нам, винтикам, все равно, куда нас завинчивают. И если сказано, что этот санаторий в городе Юрмала под Ригой будет называться «ДКБФ», — значит, так тому и быть. Кому положено, тот знает, что ДКБФ — это Дважды Краснознаменный Балтийский Флот. А кому не положено — и знать такие военные секреты не надо.

Топонимика — вполне нейтральная наука о географических названиях, их происхождении, истории, связи с культурой и жизнью огромной и многонациональной страны — превратилась в лихорадочного регистратора унылого набора слов из новоречи, как ее назвал Джордж Оруэлл. Специальные отделы Верховных Советов, областных и городских исполкомов занимаются утверждением и переутверждением названий улиц, городов и весей. Я сам видел в Мосгорисполкоме целую книгу названий впрок — на всякий случай. Вдруг приказ срочно переименовать — а у нас уже есть утвержденные имена. Куда прилепить, в какой район, на какую улицу — не все ли равно?

Поменяйте в Москве местами названия проспектов и улиц: Комсомольский с Коммунистической, Профсоюзную с Пролетарской, Промышленную с Сельскохозяйственной, Шарикоподшипниковскую с Велозаводской. Перетасуйте двадцать одно название, начинающееся со слов «Улица маршала...» и восемь названий «Улица генерала...» (еще одно кладбище, на котором живут москвичи, в районе Серебряного бора), — что от этого изменится? И меняют. Главное — своевременно, дабы не упрекнули в небдительности. И чтобы было «идейно выдержано».

Этот туманный термин в советской топонимической науке означает соответствие названия вкусам высшего начальства и личную признательность вождей к имяреку. Как говорится, благодарность за услуги. И всегда — выкорчевывание памяти предков и традиций народа.

Главная магистраль Риги называлась Александровской — в честь Александра Первого. В двадцатых годах, когда Латвия стала независимой, Александровская сделалась улицей Свободы. Позже в Латвию вошли советские войска, сделали улицу Ленина. Во время войны она стала Адольф Гитлер штрассе. После войны — опять улицей Ленина. А теперь снова улица Свободы, но уже только по-латышски: Бривибас.

Отречение от прошлого шло по многим каналам, и с самого начала несколько раз менялись названия коммунистического государства. Но главная задача была — вытравить из памяти прошлое, будто кроме социализма не было ничего на этой

земле и, конечно, не будет. Меньше всего повезло центральным губерниям. Название вряд ли кто-нибудь произносил целиком: Россий-ская Советская Федеративная Социалистическая республика.

Россия — таинственное слово, так же как «руссы» или «россы». Не совсем ясно происхождение этих слов и их первоначальный смысл. По мнению В. О. Ключевского, впервые название это встречается в арабских и византийских источниках в девятом веке, а в летописях позже: «идоша за море варягом к руси». Возможно, слово это шведское, через финнов его заимствовали татаро-монголы и славяне. Однако вот что говорится в «Этимологическом словаре русского языка» А. Г. Преображенского: «Не объяснено, несмотря на многочисленные попытки».

Но дело не в первоначальном смысле. Для миллионов людей это слово веками было (и остается) названием родной земли. Декабристы мечтали о создании Соединенных Штатов России. Они хотели сохранить слово «Россия» в названии государства. Сочиненное в 1922 году, склеенное из иностранных слов, бессодержательное название «Союз Советских Социалистических Республик» — ни одним словом не привязано ни к глобусу, ни к истории Московии, ни к Евразии, являясь искусственным названием утопической униформы, так и не прилипшей к исконной стране. На практике название это официально укорочено и превращено в семантическую пустышку: Советский Союз. Назвали бы Республиканский Союз, Союзный Совет, Социалистический Союз — не было б ни хуже, ни лучше.

Думаю, когда демократизация станет серьезной, а не игрой в поддавки, то поднимется вопрос о том, чтобы, в очередной раз покаявшись, очистить от идеологических экскрементов и реабилитировать настоящую картину улиц, городов, деревень, фабрик и всего прочего. Народы, населяющие Россию, поистине героические. Сохранить любовь к родной земле в условиях, когда ликвидировали саму возможность назвать место, где живешь, своим именем, непросто. Если реалии станут принадлежать людям, то и названия перестанут быть партийными. В них, этих названиях, прибитых гвоздями к стенам, вписанных в бюрократические бумаги, воплотился миф о том, чего нет. Лично

мне симпатичнее американская система названий городов и улиц. Иногда она несколько однообразна, но чиста и стабильна.

Временные имена — как шелуха, как советское гражданство, которого можно лишать или которым награждать по своей корысти. А реальное российское гражданство, данное рождением на этой земле и универсальными правами человека, остается. Подождем. Глядишь, дойдет дело и до восстановления настоящего названия — Россия. А пока читаем в газетах: «Тысячелетие крещения Руси в Советском Союзе».

Но кое-что из нынешних глупостей я бы в названиях сохранил. Пусть напоминает о славных временах рубки леса. Сохранить что-то надо... Только вот что?*

* Многим городам и улицам, здесь упомянутым, а также и самой России, позже возвратили исконные имена. Статья «Чудеса переименований» была опубликована на рубеже этого процесса, передавалась по радио «Свобода» и таким образом участвовала в переменах.

МЕСТО ДЛЯ ГОГОЛЯ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 12 июля 1995

В нью-йоркской газете опубликовано интервью с одним ленинградско-петербургским профессором и композитором. Он высказывает свое мнение по широкому спектру нынешней культуры Петербурга и Москвы. Композитор, посетивший Нью-Йорк, — консерватор, что в нем меня (и, наверное, не одного меня) привлекает. Даже там, где он сгущает краски супротив реальности, где он подливает «чернухи». Я и сам ее люблю, был не раз публично за это руган, начиная с советских времен. Но как же без «чернухи» обойтись, чтобы ярче выразить мысль?

И все же постулат г-на композитора вызывает мое активное сомнение. Спорить с проинтервьюированным не хочу, но вопрос принципиальный и промолчать не могу, а потому выкладываю обе точки зрения, его и свою, на суд читателя.

Те же самые большевики, считает гость, проворачивают нынешние перемены, «якобы возвращая России ее прошлое, украденное ими же. Идиотизм переименования петербургских улиц достиг невероятного уровня. Была у нас, например, улица Гоголя, который, как известно, не большевик и не последний человек в русской культуре. Нет, ей вернули старое название — Малая Морская, причем мэр Петербурга даже не удосужился узнать, что улицей Гоголя она стала в 1915 году, при Николае Втором».

Далее композитор говорит, что мэр Петербурга улицу Салтыкова-Щедрина сделал опять Кирочной, а улица имени народолюбца-революционера Чайковского осталась. И, по мнению бывшего ленинградца, Ленинград надо было переименовать не так, как сделали, а — в Петроград.



«Место для Гоголя». Рисунок М. Беломлинского из газеты
«Новое русское слово», Нью-Йорк

На заре переименований, то есть в начале перестройки, дискуссий было много. Две долгих — в «Литературке» и «Новом русском слове», и я в них был втянут, призывал вернуться к слову Россия вместо безликого Советского Союза («Новое русское слово». 1988, 8 ноября). Сон в руку! Меньше чем через три года это свершилось. Тогда я, возможно, погорячился, добавил, что в перспективе отпочкование приведет назад к исторической Московии, и даже Сибирь отделится. Но это мы еще посмотрим, как пойдет дело.

Понятно, что топонимика, наука о названиях, в советское время стала придатком идеологии. О том, что сотворили с картами страны, мы знаем. Как сейчас видно, «деименизация» (такой вот мой собственный термин), начавшаяся в конце восьмидесятых, стала частью деидеологизации. Спервоначально это была вроде бы внешняя, но очень зримая, бросакая, а потому важная часть всего процесса, наглядно убеждавшая толпу, включая нас с вами, в серьезных переменах. В большой пропорции исчезли за эти годы назойливые и казавшиеся вечными имена вождей и липовых героев. Убавилось количество тавтологий типа «Ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина». Города и улицы становятся самими собой, хотя далеко не везде.

По мнению композитора, это все «идиотизм». Он считает, что большевики украли названия и сами же их якобы возвращают. Но разве нынешний мэр города переименовал точку на Неве в Ленинград?

Нет у меня любви к российской администрации, и все же мне кажется, что названия не «якобы возвращают», а всерьез, что происходящее — нормальный, живой и сложный процесс. И считать всех большевиков нескольких поколений одинаковыми подонками — значит в оценке явлений жизни следовать щелевым критериям, которые в свое время выработали партokrаты. Номенклатурному композитору, со множеством его советских чинов и почетных званий, придется тогда и себя отнести к тем самым большевикам, от которых он теперь отмежевывается. Он нигде не говорит «мы», с газетной трибуны обвиняя «их».

А суть в том, что в процессе переименований возник вопрос хирургический: до какой глубины резать? Вот этот вопрос,

в сущности, опять поднял композитор, набросившись с обвинениями на мэра Петербурга.

Есть ли разница: немецкое название Санкт-Петербург или голландское? русские или полунемецкие Екатеринбург и Екатеринослав? Несомненно, разница есть. Но важнее то, что названия эти подлинные, исторические, а не заменители. Петр Первый, точку на карте поставивший, запатентовал название города. Разве и таким авторским правам цена теперь в России копейка?

Улица Гоголя, которую композитор требует оставить, извините, не историческая. Да к тому же это название неудобно для жизни и просто нелепо. Выходит, Гоголь жил на улице Гоголя, а если даже и не жил, что часто и в массе городов с улицами в честь писателей (и не только писателей) случается, то это тем более глупо: почему эта улица — Гоголя, та Лермонтова, а не наоборот?

Получается, что Пушкин жил в Одессе на Пушкинской улице, в Москве он гулял по Пушкинской площади, а по Пушкинской набережной там же, в Москве, не гулял: она советского производства. Еще хуже, что по всей стране сотни улиц Пушкина вообще не имеют никакого отношения к поэту, а просто переименованы из-за централизованного культа Пушкина, ураганом прошедшего по городам и весям. Сам поэт в этом не виноват, он жертва пропаганды, решившей, что он полезен, и я думаю, что ему место, как и раньше, на Страстной. Нескромно и стыдно стоять Пушкину на Пушкинской.

Полагаю, что читатели вообще или жители улицы Гоголя в частности не хуже городских властей знают о месте Гоголя в русской культуре, но не потому, что ходят за картошкой по улице Гоголя. Имени писателя положено значиться на обложке его книги, а не на каждом углу, где люди не обращают на имя никакого внимания, зато, отдавая писателю честь, приостанавливаются и задирают ножку все проходящие собачки.

И — если называть улицы в честь писателей, то где мера и логика? Вон в Москве вокруг бывшего «дворянского гнезда», где жили члены Союза писателей, а также в Переделкине — улицы до сих пор носят имена номенклатурных сочинителей. Писатели-администраторы увековечивали умерших коллег в

расчете на то, что сами когда-нибудь в виде улиц и переулков перекрестятся с ними. Туда тоже добавляли и улицу Гоголя, и улицу Пушкина — для весомости. Но вот Симонов успел стать улицей, а, допустим, Чаковский или Георгий Марков нет.

А ведь кроме писателей имеются тысячи имен в разных областях культуры и науки, заслуживших жизненным подвигом право иметь свою улицу, деревеньку, а то и городок. Что же делать в государственном масштабе? Переносить на карту всю книгу «Who is Who in Russia»?

Может, вместо названий улиц ставить памятники? Но даже ценность памятников великим и не очень великим деятелям девальвируется, если их ставит государство. Потому что у государства на уме чаще всего конъюнктура. Вот погорячились и поставили у входа на Красную площадь бронзового Жукова, и никто не заметил малой детали. Нет, не смешной факт, что ноги у лошади под Жуковым идут в ногу, как два солдата, а лошадь так идти не может. Забыли москвичи, что это место в тридцатые годы было предназначено лично Сталиным для монумента Павлику Морозову. Монумент герою-доносчику номер 001 переместили на Красную Пресню, а в августе 91-го скинули. Поглядим, какая судьба будет у поставленного для устрашения Чечни сталинского оруженосца Жукова, улица которого тоже, конечно, давно есть, но этого показалось мало. Кстати, она называется «Улица Маршала Жукова». Для сравнения: «Улица Камер-юнкера Пушкина»...

Ценны уникальные памятники, вознесенные на собранные у населения деньги, как Пушкин 1880 года. А что стало потом? Вместо одного монумента поэту, поставленного в городе, где классик родился и много жил, статуи, именуемые «наглядной агитацией», по приказу стали изготавливаться на скульптурных фабриках едва ли не для каждой третьей средней школы. Или, может, прав Честертон: классики — это те, кого хвалят, не читая? Но ведь Честертон смеялся, а композитор и его единомышленники защищают идею штампованного почтения к известным людям серьезно.

Где же выход? На мой взгляд, в историзме, то есть уважении к прошлому, корням, истокам. Политбюро нравился Ленинград, композитору — Петроград, даже уважаемый Александр Исаевич предложил свое оригинальное имя Петербургу

взамен подлинного: «Я б его назвал Невгородом. Это в духе русского языка...» («Вестник РХД». № 17. С. 280). Но историческое название, то есть настоящее, только одно — Санкт-Петербург. Да, имеются неприятные и даже похабные имена поселений в России. Исконное имя пушкинского Болдина — Еболдино. Разве что такие имена не возвращать, уважая себя и других. Но это опять-таки особое исключение.

Сдается мне, улица Гоголя в Петербурге принципиально правильно восстановлена как Малая Морская, а улица Щедрина как Кирочная. Площадь Пушкина в Москве должна так же точно стать Страстной, как улица Горького сделалась Тверской. И Пушкинская улица не нужна (она и стала Большой Дмитровской), как не нужны повсеместные улицы а la Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Розы Люксембург, не говоря уж о Стахановских.

И — это мое обращение к имеющим сегодня власть — город Пушкин обязан стать Царским Селом. Все равно он станет им, если не завтра, то послезавтра. Пушкин учился в Царском Селе, жил с женой на даче в Царском Селе, а не в городе Пушкине. «Отечество нам Царское Село», а не город Пушкин. Я уже как-то писал про городскую газету: «Пушкин по числу квартирных краж на первом месте в области». А жители Пушкина — все автоматически пушкинцы и пушкинки, даже те из них, кто больше любит живших в Царском Селе Иннокентия Анненского или Федора Тютчева.

В принципе вернувший себе исконное имя Нижний Новгород звучит нормально, а невернувший город Белинский — пародийно. И в этом смысле разницы между Пушкиным, Горьким и тем же Белинским быть не должно. Имена людей, будь то писатели, певцы, политики, академики, маршалы или стахановцы, внедрять в историю и географию таким путем ни к чему. Могут быть исключения, но не унылое правило.

Странно как-то, что Международная конференция по творчеству Пушкина проходила в Пушкине, а не в Царском Селе. Так же странно, как и то, что на этой конференции российские участники, шарахнувшись в другую сторону, дружно изображали Пушкина в своих докладах набожным, ортодоксальным верующим христианином, другом Библии и Евангелия, сделав

вид, что забыли, как десятилетиями они же убеждали нас в его атеизме и революционности. Видно, к истинам и чувству меры пушкинистике вернуться так же трудно, как... ну, например, то-понимике.

Композитор возмущается, что нет логики: то переименовали, а это нет, и недовольство справедливо. Но считать страну в трудном переходном периоде «явно и тяжело больной», как интервьюируемый российский деятель культуры это делает, — явный и тяжелый перебор. Чтобы все логично и последовательно сделать, нужны время, деньги и — как бы это поточнее сказать? — культурное содействие, а не брюзжание. Время неконструктивной заливчатской ругани всего и вся, смело изрекаемой российскими гостями в наполеоновской позе со сложенными на груди руками под защитой статуи Свободы, уходит.

Постепенно страна вернется к исторической реальности, восстановятся уважение и терпимость, Гоголевский бульвар в Москве станет Пречистенским, и пошлый памятник Гоголю «от правительства Советского Союза» заменят старым, ибо два, стоящих по соседству — перебор. Но всегда будет требоваться осторожный подход и большое чувство меры в названиях улиц. Если уж немогуту строителям от любви к данному писателю, можно использовать и имя Гоголя. Например, улица Гоголя в новом районе. А все ж лучше, если Гоголь будет просто стоять на книжной полке. Главное, чтоб читали.

ПРОЗАИЧЕСКИЕ РИФМЫ

Было время, в котором
Нам не было места.
Надо петь было хором,
Избегая ареста.

В небе гул воронья.
Беззащитность и водка.
От тупого вранья
Искарежена глотка.

И без смысла просторы
И без смеха фиеста,
Ни про что разговоры, —
В общем, время без места.

От тоски и печали
Только охи да вздохи.
До чего мы устали
Умирать в той эпохе.

Из теперешней дали
Вспоминать те детали
Позабытого ада,
Может, вовсе не надо?

Всем простить лихолетье,
Вымыть начисто уши,
Чтобы в тысячелетье
Вплыли чистыми души.

2

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОСИДЕЛКИ**

ФЕЛЬДФЕБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

«Панорама», Лос-Анджелес, 1989, № 440

Московская «Литературная газета» в 1989 году сообщила о важном событии в жизни советских писателей. В качестве читателя мне стало смешно. Но сам я, никуда не денешься, тоже бывший советский писатель. И начал я вспоминать...

Дело в том, что в военном билете, который всегда был непременной частью тамошнего мужского досье, а иногда и женского, у меня значился самый почетный и ответственный воинский чин: «солдат, рядовой, необученный». Точнее бы написать: «не совсем необученный» или «рядовой недоученный», потому что они меня начали обучать, так сказать, солдатскому мастерству.

Произошло это свыше тридцати лет назад в Казахстане, где я тогда после института отрабатывал в школе завучем и, в связи с острой нехваткой кадров в провинции, был учителем всего джентльменского набора гуманитарных предметов. История эта, по-моему, имеет отношение к упомянутой публикации, и вскоре будет ясно почему.

В армию меня забрали из класса, прямо с урока литературы. Школа рабочей молодежи осталась без завуча и без учителя, но на данное обстоятельство военкомату, понятно, было плевать. Что касается меня, то, хотя каждый солдат метит в генералы, я лично и в страшном сне не хотел стать кем-либо в военной иерархии.

Толстый майор маленького росточка приезжал к бараку на мотоцикле, красный от жары и только что принятого стакана

кзыл-ординской «Московской», и лично разъяснял тактическую задачу: район подвергся химической атаке американского агрессора. Установка — надеть противогазы и в них преодолеть тридцать километров до зоны, обезвреженной нашими химвойсками.

— Бегом — марш!

Человек, далекий от генштабов, спросит: зачем американскому агрессору в безлюдной пустыне использовать газы? Разве что помочь местным сельхозорганам бороться с сусликами... На деле смысл в империалистической акции был. Едва начинали мы бежать вялой трусцой по раскаленному солончаку, майор садился на мотоцикл и без противогаза ехал по тропинке позади нас. Когда от жары первый солдат, задохнувшись в маске, падал, майор заботливо говорил с характерным акцентом:

— Зачѐм так себя мучишь, слюшай? Давай пять рублей и вот тебе коробок.

Это были обыкновенные спички. Стоил коробок пять рублей. Заплативший вставлял его между щекой и противогазом. Бежать и дышать отравленным американскими агрессорами воздухом становилось значительно легче. В это время падал второй солдат, и майор подкатывал к нему. Коляска мотоцикла была набита спичками. Когда с ног валился последний солдат и выяснялось, что у него нет пяти рублей, майор в рупор командовал:

— Амэриканский агрѐссор разгромлѐн. Мѐстность дѐгазирована. Снять противогазы! А этот солдат поражен. Нѐсите его обратно! Шагом марш!

Больше километра-двух мы никогда не пробегали. Но тащить приятеля по пятидесятиградусной жаре на себе никому не хотелось. На его лечение скидывались по рублю. Майор хохотал, бросал скомканные рубли в коляску и в клубах дыма отбивал в забегаловку.

Проходило утро за утром. Ученья закончились. Так я и не узнал, удалось ли советской армии разгромить американский империализм в Кзыл-Ординской области.

Вспомнилась мне эта история, когда читал в «Литературке» от 19 июля 1989 года ту информацию без названия. Вот она в сокращении. «Состоялся второй выпуск офицеров политсоста-

ва запаса из числа членов Союза писателей СССР, прошедших месячные сборы на Первых высших офицерских курсах «Выстрел». Все литераторы успешно закончили учебу. Приказом министра обороны СССР им были присвоены первые и очередные офицерские звания. В гвардейской Кантемировской танковой дивизии, где были проведены итоговые занятия, заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота в торжественной обстановке вручил писателям свидетельства об окончании учебы и офицерские погоны. При вручении присутствовали секретари правления Союза писателей СССР».

На всякий случай оговорюсь, что к военным большинства стран я отношусь не хуже, чем к штатским. А к тем, кто воевал и воюет в гуманных целях, спасая народы от проказы тоталитаризма, — с особым уважением. Данный разговор про тех советских писателей, кто нынче рвется получить погоны.

Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ. При всей туманности данного почетного звания, в нем было нечто, отражавшее время. Тогда искренне верилось в переделку человеческого естества с помощью условных рефлексов, тщательно проверенных академиком Павловым на собаках. Теперь, полвека спустя, когда художники слова публично превращаются министром обороны в офицеров человеческих душ, это, согласитесь, опять отражает время. Кого сегодня дают в Вольтеры советским читателям?

Газета умолчала, кто именно из писателей получил погоны. Возможно, это стратегическая тайна. Но по опыту знаю, что для шоу такого уровня список утверждается наверху и включает самые известные имена. Министр лично подписывает приказ. А известные имена подписывают министру книжки с интеллектуальными дарственными надписями, вроде «гвардии поэт первого ранга такой-то».

Писателей, назначенных министром обороны в Вольтеры, не знаем, зато о группе энциклопедистов — руководителей Союза писателей СССР, которые при вручении офицерских погон присутствовали, кое-что слышали. Первый из них — командует Союзом писателей, но не писатель. В справочниках не значится, но всегда на виду. Ведает оргвопросами. Сменил друго-

го литчиновника — чекиста-генерала. Оба исключали, организовывали травлю, вставляли в черные списки неудобных писателей. Он отбирает лиц, едущих за казенный счет в зарубежные поездки, ездит сам вместо писателей. Десятилетиями протаскивает в члены Союза писателей вышедших на пенсию генералов из КГБ и министерства обороны. Остальные энциклопедисты примерно такие же функционеры от литературы.

Офицерские погоны всем участникам повывадали. Но погоны носят не на голое тело. Значит, либо разыскали на складе, либо будут шить в армейских ателье защитного цвета френчи и галифе из добротного сукна. Не для того, чтобы носить. И, конечно, не в загранку ехать, призывать Запад к борьбе за мир. А для очередных переквалификаций и военных торжеств. Последняя в отечестве кожа пойдет не на детские туфельки — на хрустящие сапоги а ля Коба. Погоны в торжественной обстановке с гордостью получают и у зеркала в Центральном доме литераторов, когда это событие обмывается, примеривают.

Смешно-то смешно, но грустно. Для внешнего шарма подогревается новое мышление, а для внутреннего — кондовое «если завтра война». Во вне — улыбка генсека, излучающаяся по-над костюмом, сшитым в Лондоне, в ателье для миллионеров. Внутри — маршал, по статусу глава Комитета обороны, сплетенные из золотых нитей эполеты.

Мне возразят: Лермонтов, Лев Толстой, Гумилев, не говоря уж о литературно одаренной кавалер-девице, носили погоны. Но делалось это в каждую эпоху по своим резонам. По дворянской традиции, по бесшабашности юности, по необходимости (офицерам хорошо платили), потому что родина была в опасности. Пушкин не носил погон, но накропал постыдные вирши в честь кровавой оккупации Польши, что наши славные писатели делали и делают охотно. Зачем все-таки сегодняшним мастерам слова рваться из рядовых в *офицера* (Толстой считал, что так звучит лучше)?

Чтобы осмыслить эти стремления, мне захотелось услышать трезвое мнение не советских и не бывших советских специалистов, а американцев. Я поделился с ними сомнениями.

— Войны давно нет, а военные писатели, как мышки в известном опыте, всё педалируют тему, — сказал профессор сла-

вистики, мой коллега. — Дело не только в том, что больше ни о чем они не могут писать. Тема войны, запугивание войной, страх, что завтра будет еще хуже, — важная часть государственной идеологии.

— Но при чем здесь погоны, то есть кусочки картона на плечах?

— Когда-то, оседлав этого конька, милитаристы заняли в Союзе писателей, в издательствах и даже в Верховном Совете руководящие кресла. Жажда власти — самое сильное из всех человеческих стремлений, а погоны, звания, ордена на груди — наиболее примитивные атрибуты этой власти.

— У них были исторические примеры...

— О да! В коллекционировании побрякушек такие писатели равнялись, разумеется, на лидеров государства. Сегодня в военном аппарате сидят их единомышленники. Армия, надеются они, их опора. Новое поколение — это враги, гласность — десант в их тылу, перестройка — фронт. Теперь они роют окопы в литературе и занимают круговую оборону. И разумеется, надевают погоны.

А вот мнение другого американского эксперта, занимающегося славистикой с точки зрения психоанализа.

— Стремление иметь погоны, а на них хотя бы на одну звездочку больше, чем у других, — просто мегаломания, то есть мания величия, — сказал филолог и фрейдист, автор нескольких книг по русской литературе. — Мне кажется, это посредственные писатели, чаще графоманы. Они неспособны выдвигаться за счет интеллекта. Из-за бездарности их нельзя назвать придворными поэтами. Во времена Сталина и Брежнева они были, в сущности, придворными попуаями, повторявшими догмы, спущенные сверху. Ни о чем, кроме патриотизма, в котором у них сквозит антисемитизм, они писать не могут. Погонами, званиями, должностями, орденами, государственными премиями, статьями, в которых они в неумеренных тонах прославляют литературные подвиги друг друга, они компенсируют свою ущербность.

— Что можно сказать об их здоровье?

— Истоки этой социальной болезни (я имею в виду стремление военизироваться), по Фрейду, исходят из параноическо-

го страха. Эти люди напряжены. Они ждут нападения, во всем видят обман. Сегодня им чуть труднее. Они боятся заслуженного наказания от невоенных за реальные грехи прошедшего времени. В погонах они чувствуют себя уверенней. Некоторые из них добиваются права носить оружие. В прошлом два таких военных писателя — Фадеев и Кочетов — застрелились. В отношениях с женщинами данные авторы не просто мужчины, и не художники (вряд ли женщина будет читать их батально-идеологические бреды), — для женщин они офицеры. Для гомосексуалистов военная служба и разного рода учения есть удобное поле для активности, особенно в советских условиях, при изоляции от дома...

Вот такие я получил комментарии от своих коллег.

Среди писателей полусоветской России немало рядовых и не рядовых, близких нам по духу, страждущих и надеющихся. Энтузиасты и послушные исполнители воли начальства, готовые носить погоны, как видим, тоже есть. Заведуют процессом товарищи генералы. Мобилизуя писателей в военные батальоны, они готовятся вовсе не к демократии и не к защите родины (это чистая туфта, ибо кто на них нападет?). Вот почему первые высшие офицерские курсы с ласковым названием «Выстрел», предназначенные для поэтов, прозаиков, критиков и драматургов, заставляют даже доброжелательного читателя озабочиться.

Мы как-то позабыли в словесной шелухе, что ПУР (Политуправление Советской Армии) десятилетиями кастрировал солдатское чтение, не допуская перестроечные журналы в армию. Он содержал графоманов из черной сотни, издавая и переиздавая их сочинения, навязывая изучение их писаний на политзанятиях. Позабыли, но ПУРовский генерал (сокращенно, стало быть — пурген), ответственный за строевые рифмы, напомнил нам актом вручения погон, что у них, в армии, все путем, все в ажуре.

И видится мне, как все это происходило на военно-литературных учениях на энском полигоне под Москвой, недалеко от Солнечногорска. Четко печатая шаг, майор стихотворных войск А. подходит к подполковнику литературной службы Б. и, отдав ему честь (ненасовсем), рапортует:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Дозвольте моему замполиту капитану В. зачитать перед строем бойцов-рифмачей рапорт-поэму-присягу под кодовым названием «Шагаем только правой». Эпиграф из полковника С.: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

Внезапно рядом приземляется вертолет.

— Отставить, майор! — перебивает подполковник, и оба вытягиваются в струнку. — Перья на плечо! В распоряжение нашей части прибыл генералиссимус советской литературы и гаулейтер сибирской прозы М. С ним литературный оперуполномоченный Смерша В. Здравия желаю, ваши высокородия! Дозвольте доложить о творческих победах комсостава нашей военлитчасти на фронте борьбы «за» и «против». На сегодняшний день писателями в погонах создано 123 456 789,0 погонных метров военной литературной продукции. Недовольный условный читатель уничтожен...

Тут я, пожалуй, прервусь, поскольку в этот момент литературный генералиссимус спросил, где поблизости нужник. Если у читателей возникнет желание продолжить этот шедевр, милости просим. Заряжайте сюжет и стреляйте. Присылайте ваши сочинения. Победителям будут вручены погоны с количеством звезд по желанию самих сочинителей. А пока вернемся на реальное поле боя.

Потрескались и замарались идолы, перед которыми стоят навывтяжку писатели-офицеры. Едят глазами начальство, которое косит налево. То, о чем пишет «Красная звезда», больше годится для «Крокодила». А военные писатели все бьют в барабан, рекомендуя сочинять стихи в строю, рассчитавшись слева направо по одному и маршируя в ногу. Глядишь, и делиться начнут не по творческим объединениям, а по родам войск. Книжки их напоминают о славных травлях прошедшего времени.

Дело в том, что на стене у меня в университетском офисе висит портрет, который приводит в умиление посетителей. Смотрят серьезно, потом начинают улыбаться. На портрете изображен крупным планом последний гений соцреализма в золотых погонах маршала. Он достиг совершенства в изображении собственных подвигов, которых не совершал. А затем описал их в произведениях, которые не писал. Это, как уже

понятно читателю, лауреат Ленинской премии по литературе Леонид Брежнев. Портрет, написанный маслом, я сам сфотографировал в Третьяковской галерее в 1975 году. К сожалению, никак теперь не могу оживить фамилию этого Рембрандта: намертво выпала из памяти. Ну как можно таких авторов в погонах, как Брежнев, удалять из советской литературы, тем самым обедняя ее сокровищницу?

Грустно происходящее, дорогой читатель. Нет среди военнизированных классиков, сочиняющих бронетранспортерную лирику и ипритовую прозу, ни Гоголя, ни Зощенко. Не погоны нынче надо пришивать на плечи таким писателям, а талоны на сахар и мыло.

Чему научились славные милитаристы-писатели (назовем их для краткости милиписатели) на занятиях в гвардейской Кантемировской танковой дивизии? Ведь это та самая дивизия, что стоит вблизи Москвы и вводится в первопрестольную во время правительственных заварушек. Может, там милиписатели выяснили, на каком пути сейчас стоит бронепоезд (инвентарный номер 14-69)? Узнали, когда их в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой их поведет? Кого от кого теперь освобождать? Кого окружать братской помощью? Или снова двинуться на врагов внутренних?

Нет у меня ответов на эти вопросы, как нет ответа на еще один: что на уме у фельдфебелей от литературы? Вспоминаю тот спичечный коробок, который дают вставить между щекой и противогазом, чтобы отдышаться.

РОДИМЫЕ ПЯТНА, ИЛИ МОСКОВИТЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

«Панорама», Лос-Анджелес, 1989, № 433

Полгода назад я получил несколько одинаковых писем из разных университетов о том, что в США прибывает известный советский журналист и критик, специалист по советской и американской литературе 3-в. Кроме этого, как явствовало из писем, 3-в культуролог, знаток религий (может быть, теолог?), специалист по фантастике (наверное, фантаст или футуролог), а также и эксперт по стратегии звездных войн (наверняка связан с советским пентагоном — не на кухне же он эту стратегию разрабатывает). Письма особо отмечали его эрудицию в теории и практике советской журналистики до и во время гласности. Прилагался список отраслей знания, в которых гость может прочесть лекции. Причем на английском, которым он владеет свободно.

Окончание писем было настоятельно-рекомендательным. Калифорнийскому университету в Дейвисе предлагалось заранее согласовать визит с другими университетами, поскольку гость будет нарасхват, выделить средства на дорогу, оплатить не менее чем две, а еще лучше несколько лекций в одном месте (от 200 до 300 долларов за каждую, ибо одна лекция гостю не выгодна). Требовалось обеспечить транспортировку прибывающей знаменитости от, до, между и внутри, оплатить отель, питание, помещения для выступлений, рекламу, «ибо гость из СССР стеснен в средствах».

О 3-ве я прежде, к стыду своему, не слышал. Возможно, от узости собственного профиля. В советской и американской литературах, где он специалист, имя такое мне не попало.

В принципе ничего против выступлений советских гостей в американских университетах я не имею. Больше того, я и мои коллеги им всегда рады. Чем больше контактов, тем, вообще говоря, лучше для обеих стран. К нам едут ежедневно со всех материков, правда, не с такими обильными требованиями. Тихо и, я бы сказал, стеснительно выступил у нас незадолго до московского гостя с интереснейшей лекцией «Как найти работенку вроде моей?» Курт Воннегут, заставив многотысячную аудиторию полтора часа хохотать. Понимаю и финансовые заботы советских товарищей, поскольку раньше за фунт сушеных рублей давали один английский фунт, а теперь и этого не дают. Зато у гостя с собой уникальная информированность, эрудиция, интересные соображения, и он едет с американской, как здесь говорят, академией поделиться. Между нами девушками, специалисту во всех областях я не полностью доверяю, но бывают же исключения. Леонардо да Винчи, например.

О том, что средства выделены и З-ва пригласили, я узнал из нараставшего потока объявлений о его предстоящем прибытии, распространяемых разными организациями, в том числе, Дейвисским научно-исследовательским институтом глобальных конфликтов и сотрудничества. Нас информировали, что «его (гостя) план покрывает следующие районы (то есть в каждом из районов гость охватывает группы разного рода учреждений. — Ю. Д.): город Вашингтон, штаты Вашингтон, Канзас, Мичиган, Иллинойс, территории Роуд Айленда, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и т. д. Дополнительные темы лекций пока еще можно срочно заказывать у мистера З-ва лично по его московскому телефону».

Потом появились на кампусе огромные афиши: «Лекционное турне З-ова». С его краткой биографией. Из нее следовало, что он энергичный молодой журналист (выходит, еще молодой, но уже известный — редкое сочетание!), а также великолепный оратор. И — круг его энциклопедических знаний расширялся. Кроме сообщенного ранее, он киновед и апокалипсисовед (то есть знает, когда наступит конец света). В графе «профессия» было проставлено место службы: литсотрудник журнала «Наука и религия». О личных заслугах З-ва, между прочим, было сказано (стараюсь перевести кратко, как можно точ-

ней, самое основное): «составитель антологии советской фантастики», «лично знаком со многими писателями-фантастами» и — «со знанием дела может говорить о выдающихся успехах современной советской литературы и кино».

На лекцию господина З-ва «Журналистика в СССР раньше и теперь» пришло человек тридцать пять, в основном политологов, славистов и историков, — официальный прием представителя иностранной державы. Один из присутствующих был в сильно поношенных брюках, не подпоясанных ремнем, и в мятой рубашке с засученными рукавами. Это и был известный советский журналист. Когда его представили, выяснилось, что он не столько журналист, сколько физик, который работал по своей основной профессии под другим именем. А под псевдонимом З-в стал писать статьи. Потом изменил профессию: перешел на службу в журнал «Наука и религия», где пребывает по сей день. Что ж, вполне понятный и даже заслуживающий уважения ход конем: человек выбрал новое призвание. Но дальше возникло недоумение.

Лекцию свою З-в начал так (записано на пленку, перевожу):

— Я понятия не имею, как читать лекцию о журналистике. Но если будете задавать вопросы, я на них отвечу.

Студенты, которых я привел, повернули головы ко мне. Я покраснел.

— Может быть, вы хотя бы кратко обрисуете нам тему обещенного разговора? — робко попросили гостя слушатели.

На ломаном английском языке, с помощью подсказок слов, которых он не знал, докладчик поговорил о гласности и перестройке в смысле того, что до этого был застой, а теперь наоборот. Присутствующие стали задавать вопросы и из ответов узнали, что есть в СССР передовые издания «Огонек» и «Московские новости» (докладчик разделяет их симпатии) и еще не перестроившиеся журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник». Что налицо прогресс: Залыгин хотя и редактор «Нового мира», но беспартийный. Что у верующих раньше свободы было меньше, а сегодня больше. Ответы, как говорится, незамысловатые.

Несправедливо упрекнуть гостя в дезинформации. Дезинформации, можно считать, не было. Но не было и информации,

если под этим словом понимать хоть что-либо, выходящее за рамки детского лепета. О том, что рассказывал З-в, все присутствующие знали не хуже оратора. Любой из читающих эти строки тоже мог бы ответить на все вопросы и, возможно, за меньшую сумму. КПД лекции был равен нулю.

Впрочем, постойте-ка. Университет выложил круглую сумму. Собравшиеся (все люди весьма занятые: я видел среди них видного экономиста, консультирующего правительство) впус-тую потратили время. С другой стороны, гость не только вобрал в себя эту сумму и превратил ее в материальные ценности, но и получил за поездку много информации.

— Сейчас я собираюсь писать книгу об Америке, — заявил З-в в конце собеседования и даже немного приоткрыл карты. — Наша главная задача — поддерживать Михаила Горбачева в его начинаниях.

Честно говоря, думалось, что оратор поблагодарит за внимание. Дежурная фраза, не более того. Но она не появилась. После того, как гость разъяснил присутствующим профессорам их главную задачу, слушатели воспитанно и тихо разошлись.

Я подошел к З-ву познакомиться и предложил перейти на русский. Он отказался (мышление, дескать, уже стало английским), но благополучно перешел. Поговорить, однако, оказалось невозможно, поскольку каждая минута гостя расписана. Представители Института глобальных конфликтов повезли утомившегося докладчика в ресторан обедать, поскольку через два часа уже начиналась следующая его лекция «Современная термоядерная война». Как она начнется (не война, а лекция), уже можно было себе представить. Узнал я, что мистер З-в приезжает в Америку третий раз. На этом этапе выступает в двадцати американских университетах.

— Я на полной самоокупаемости, — гордо пояснил он. — Своей копейки не трачу!

В этом трудно было усомниться.

— Ну, а не опасно так смело и остро говорить о гласности и перестройке? — осторожно спросил я.

Гость иронии не уловил.

— Первые разы трудно было. А сейчас понял: можно что угодно говорить. Они ведь ни черта не понимают. Вы же видели, какие вопросы задают.

— Вопросы задавали три-четыре пенсионера, которые приходят на такие лекции, чтобы не скучать дома. А специалисты вас не спрашивали...

— Ну, меня ждут, — заспешил он.

На том мы и закружились. На вторую лекцию я, разумеется, не пошел. Студенты после сказали, что она отличалась такой же глубиной. Не знаю, сколько всего людей в двадцати университетах слушали этого известного журналиста. Не знаю его американских друзей, которые, как он мне объяснил, помогают ему предпринимать эти турне. Ясно лишь, что на сегодняшний день Америка открыта уже четыре раза: раз Колумбом и три раза 3-вым.

— Может быть, он знает что-нибудь, но просто не может выразить из-за плохого английского? — предположила одна моя студентка.

Мне же кажется, что дело тут не в английском. На английский и перевести нетрудно, было б что. Поставим вопросы в иной плоскости. Зачем человек рвется выступать, если ему сказать нечего? А если нечего сказать, зачем ехать так далеко? Как удастся гостю успешно выдавать себя за видного советского эксперта и журналиста-перестройщика?

Едут в Америку многие. Известные и неизвестные, смелые и трусоватые, но стиль чаще всего вырисовывается один. Мягко говоря, отсутствие стеснительности. Чуть жестче — стыда. Еще чуть строже — видна нагловатость. А принципа два: галопом и за-твердую валюту. Но при этом охотно потребляя гостеприимство. Вот что, однако, занимательно: не только материальные, но и моральные обязательства, оказывается, несет только принимающая сторона. А советские — ну, вы же понимаете, какой с них спрос?..

В нашем университете незадолго до описанного выше консультанта по гласности и перестройке была объявлена группа членов Союза писателей. Из имен глаз выделил только одну известную поэтессу. Текст афиши: «Поэт такая-то прочтет сти-

хи по-русски, и кто-нибудь переведет». Это «кто-нибудь переведет» применительно к стихам мне особенно понравилось. Другой гость обозначался в объявлении как «президент московского отделения Союза поэтов, поэтический критик». Про Союз тамошних поэтов я раньше не слышал.

Пришел я, привел студентов послушать музыку советского стиха. Оказалось, группу писателей в зале заменяет одна переводчица с английского из Москвы.

— А где обещанные по списку?

— Видите ли, они в данный момент в Москве, в очереди стоят за билетом...

И прибывшая гостя (хорошая, между прочим, переводчица Апдайк и Чивера на русский), представленная нам известным американским поэтом — нашим университетским профессором, сразу стала агитировать собравшихся вносить деньги на книгу, коя в России еще не вышла. Это будет совместное советско-американское издание в духе гласности: часть авторов советские, а часть янки. Переводчица стала раздавать заявки, чтобы заполняли тут же и прилагали чеки: цена книги двадцать два доллара. Собравшиеся никак не могли взять в толк, почему автомобили и дома сперва дают, а потом за них выплачивают, а за книгу, еще не написанную, надо платить вперед. Им объяснили, что так в СССР принято.

На том объявленная дискуссия о поэзии закончилась.

Опять-таки я ничего не имею против стихов известной московской поэтессы, они мне нравятся. Не напрямую виноват и «Аэрофлот» (хотя я однажды горел в его самолете и люблю его ругать). Не понимаю лишь мелочи: почему на выступлении этой поэтессы и президента Союза поэтов мы сидели в Калифорнийской губернии, а они в это время стояли в Московской на Фрунзенской набережной? Что, телефона еще не изобрели? Снять бы трубочку и позвонить:

— Дорогие хозяева, извините. Я, такая-то, задерживаюсь по независящим от пославшей меня иностранной комиссии Союза писателей обстоятельствам. И вот тут за мной (а может, впереди — президент все-таки!) стоит в очереди поэтический критик. Он тоже приедет не тогда, когда объявлено, а когда достанет билет...

Вскоре я отправился в Сан-Франциско на гастроли московского театра, к которому раньше относился хорошо. Хотя и не сенсация, но, наверное, неплохой показали спектакль «Галич». После спектакля, когда зрители по сложившейся нынче традиции грузили неимущих советских актеров в автомобили, чтобы везти их гудеть в ресторане, шел я по улице и думал: что же объединяет талантливого режиссера с налетчиками на университеты? Какая нить тянется от заведующего московскими поэтами, который вообще не выступал, к режиссеру, который появился на сцене?

Спектакль московского театра начался на двадцать пять минут позже обозначенного времени. Зрители смущенно хлопали в полутьме, деликатно напоминая, что пора бы уже приступить непосредственно к гастролям. Наконец зажгли рампу. На сцене высветился руководитель труппы в заношенных джинсах. Встал возле унитаза и нескольких картонных коробок, взятых на ближайшей помойке (декорациям эпохи гласности свойственны смелые художественные решения). Боюсь выглядеть ханжой, но это же сцена все-таки, хоть и бегущая по волнам. В Москве бы, сиди в зале замызганный чиновничек из Министерства культуры или даже из отдела культуры Мосгорисполкома, режиссер перед выходом к рампе в лучшем своем костюме десять раз поправил бы галстук. А тут... Все сойдет...

Как, думаете вы, начал священное слово перед американским зрителем главный режиссер московского театра «Эрмитаж» на калифорнийской сцене? В жизни не догадаетесь!

— Мы вам показываем спектакль, хотя в Сан-Франциско только один день, завтра уезжаем, и наши актеры даже город осмотреть толком не успели.

— Спасибо вам! — сказала женщина из зала.

И я хочу повторить: большое спасибо. Могли бы актеры витрины обзирать, промтоварами запастись, а вот ограничили свои естественные желания из-за нас, зрителей. Пошли на жертву. Что ж с того, что зритель хорошо заплатил за билет и ждет? Понимать надо: актеры-то когда опять в Америку попадут? В опубликованных объявлениях, между прочим, значилось: «По окончании спектакля состоится обсуждение с учас-

тием зрителей». Об этом даже не помянули. И играли без антракта, чтоб быстрее.

Что-то слышится родное в песнях эдаких гостей: необязательность, социалистический наплевизм. Открыть границу можно росчерком пера, но с открытием границы разница в нравах становится только острее. Две трети столетия советским журналистам, поэтам и актерам вдалбливали, что они самые лучшие в мире, а другие, там, за кордоном, не люди вообще. Осознав это добровольно или по необходимости, журналисты, поэты и актеры ретранслировали эти мысли дальше: в газетах, книгах, на подмостках. Два мира — две морали. Обмануть врага, получить и перехитрить есть доблесть и героизм. За это вешали на грудь ордена.

Граница открыта только что, а психология сформирована давно. Какая ближайшая цель поездок? Конечно, потреблять. Мы не можем ждать милостей от Запада, взять их у него — наша задача. Тем более, что есть чего брать. И некогда сказать «извините» или «спасибо». Да и зачем?

Слышу от многих коллег, что гости неофициальные добрей, внимательней, не побоюсь сказать, порядочней посланцев официальных советских организаций. Как только российский человек хоть косвенно представляет не себя самого, а учреждение, — отбыв, он уже не пришлет вам открытку со словом привет. Он вас употребил, выполнил, что намечал, получил, чего хотел, сдал положенную часть добытого в посольство в Вашингтоне и — штепсель выключен до следующего раза. Когда вы понадобится, вас уведомят.

Родимые пятна отечественного воспитания... Дерево познания добра вырублено с корнем, а на этом месте вырос репейник. Один мой коллега, когда я поделился с ним мыслями по поводу новой породы советских гостей, заметил:

— Нельзя смотреть на происходящее с одной стороны. Это рынок. Если кто-то ухитрится продавать шелуху от семечек, значит, есть спрос. Кто-то эту шелуху покупает.

С этим трудно не согласиться. Наивность приглашающих аборигенов, мотивы, по которым это делается, анализу и описанию не поддаются. Кто-то слышал от кого-то, что за «железным занавесом» есть такой-то. А дальше... Все зависит от та-

ранных способностей гостя. Если они достаточно эффективны, то Америка сдается.

Несколько крупнейших организаций раскошеливаются, транспортируя упомянутого выше лектора из Москвы через океан и по всем Соединенным Штатам. А он, зная наивность и терпимость хозяев, смело играет роль известного советского журналиста, критика, эксперта и Бог знает кого еще, таковым не будучи.

Мы знаем многих подлинных писателей, артистов, ученых, которых официально не посылают и не принимают. Некоторые из них появляются по частным приглашениям. Используя личные связи, мы организуем их выступления, подчас бесплатно или платим сами. Большинство таких людей не едет вообще. У них нет нахрапа, свойственного налетчикам.

Американцев можно понять. Они хотят больше узнать о происходящем в России из первых рук. Они доверчивы и легко заглатывают приманку. Культурных организаций несчетное количество. Вот почему я не удивлюсь, если апокалипсисовед З-в вскоре снова появится на Калифорнийском побережье в очередном транзитно-лекционном турне. Звоните ему заранее, господа. Но, конечно, готовьте наличные. Гость ведь на самооплаемости.

БЮРО ПОГОДЫ ИМЕНИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Обозрение нравов, в котором участвуют советские журналисты, автор из Калифорнии и его любимый бронзовый герой в Москве

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 9 января 1990

Новый год начался для меня теплым поздравлением из Москвы. Журнал «Человек и закон» (тираж десять миллионов) объявил, что собирается прислать мне в Техас повестку «в уголовном порядке... держать ответ перед советским судом». Журнал меня разоблачил как оскорбителя чести указанного в заглавии пионера-героя № 1. Кроме того, по мнению редакции, я обесчестил одного из героев своей книги, с мальчиком связанного. Позвольте процитировать два абзаца.

«Не так давно Дружников жаловался, что всю жизнь провел в СССР в очередях, только родился вне очереди — в коридоре роддома, — пишет советская журналистка. — Теперь благоденствует в Техасе, преподает в университете. Повезло ему и еще раз: быстренько сумел напечатать в Англии свой роман. Видно, не терпелось издательству «Оверсис» выпустить в свет еще одну антисоветскую фальшивку. И вот о чем хотела бы я спросить Дружникова: «Что он теперь думает о правах человека, конкретно о правах С. Н. Карташева? На каком основании ослабил старика, объявив его «убийцей»? Не мешает писателю вспомнить, что в нашей стране закон охраняет честь и достоинство граждан, и тот, кто закон этот злобно попирает, может быть наказан в уголовном порядке. И как бы не пришлось «автору», получив в Техасе повестку, вернуться в покинутую им страну, чтобы держать ответ перед советским судом. Любопытно было бы посмотреть, на основании каких документов попытается «писатель» отстаивать свою «версию».

Упоминаемое журналисткой эссе «Я родился в очереди», как знает уже читатель, было опубликовано в газете «Вашингтон пост» в 1979 году, когда меня тайно и против собственного устава исключили из Союза писателей. «Свой роман» — не роман вовсе, а документальное исследование по истории советского общества, название которого журнал стыдливо опускает. Что же до исторических фактов, обсудим их несколько позже.

Дабы не забыть, сразу поясню редактору журнала «Человек и закон», что я живу теперь не в Техасе, а в Калифорнии, в городе Дейвисе, а то еще повестка потеряется. Перед тем, как вызывать, почитайте что-нибудь о юриспруденции, чтобы не путать гражданские дела («ослабил старика») с уголовными («наказан в уголовном порядке»). Все-таки вы орган Министерства юстиции. Не забудьте запросить правительство о возвращении ответчику незаконно отобранного гражданства (и суммы в рублях за это взятой). Проверьте также у себя в сейфе наличие твердой валюты. Одна поездка ответчика будет вам стоить знаете сколько? И умножьте это на столько раз, сколько раз суд будет откладываться. Кстати, фамилия потерпевшего всегда писалась через «о» — Карташов — так он значится во всех документах ОГПУ.

Более двух лет назад в Лондоне вышла документальная книга «Вознесение Павлика Морозова». Имя мое в советской прессе было под запретом. И вдруг — склонение во всех падежах с незабытым лексиконом: «антисоветская фальшивка», «быстренько сумел напечатать», «оскорбление могилы Мученика» (с большой буквы). Обличители мои вышедшей в Лондоне книги не читали, но пишут (забавная искренность): «любопытно было бы посмотреть». А происки в книге они обнаружили по моему интервью «Голосу Америки», которое журналистка «случайно записала на пленку», и опубликовала вывод, что я намереваюсь «посмертно репрессировать» пионера-героя. Опять накладка: как же его репрессировать посмертно, если он вечно живой?

Короче говоря, и для меня в 1989 году настала гласность, правда, «в уголовном порядке». Мрачной статье в журнале «Че-

ловек и закон» предшествовали многочисленные мелкие насочки и намеки в советской печати на моего героя: что он, дескать, не совсем хороший, а насчет моральной стороны дела — тоже как-то, в общем, не то. Оказывается, во всем виновато, разумеется, радио из-за бугра. В чем же суть дела, отбросив советский идеологический камуфляж?

В конце 1987 года в Лондоне вышла ходившая до этого четыре года в Самиздате книга. В ней — результаты нескольких лет кропотливого изучения истории «пионера-героя № 1», как он записан в книге Почета ЦК комсомола, и процесса создания официального советского мифа об этом славном мальчике. Объехав тринадцать городов, я аккуратно записывал на пленку и фотографировал последних живых свидетелей.

Работал я с 1979 по 1983 год. Но легче стало ездить в Сибирь в 82-м. Мои коллеги направлялись на родину Павлика Морозова в Герасимовку в связи с пятидесятилетием смерти героя накладывать на него, как говорят американцы, «мейкап» — новый слой. И хотя я ехал как раз с обратной целью: старый слой грима отмывать, — никому это в голову не приходило, и никто не обращал на меня внимания. Да и сам я был весьма осторожен. Защитница мальчика-доносчика напишет после, что, расспрашивая о том, как было на самом деле, я тем самым обманывал доверчивых людей. А я оказался последним, кто успел записать их показания. Нашел мать героя Татьяну, брата Алексея, отсидевшего червонец за шпионаж, племянника, которого тоже зовут Павлик Морозов, родственников, одноклассников, учительниц, следователей дела о его убийстве, архивы первых журналистов, примчавшихся в глухую сибирскую деревню Герасимовку писать о нем, материалы секретно-политического отдела районного ОГПУ. Большинство участников дела Морозова теперь в лучшем мире. Последние очевидцы уходят.

Документы свидетельствуют, что Павлик как модель для подражания, о которой написаны сотни книг, полотен маслом, симфонических произведений, киносценарий и даже опера, и реальный подросток из деревни Герасимовка нынешней Свердловской области, мягко говоря, не совпадают. Документально доказано, что Павлик Морозов донес на собственного отца не ради партии и социализма, а потому что его мать подучила сына

донести, чтобы отомстить отцу за то, что ушел от нее к другой. Кулаков в Герасимовке, с которыми боролся Павлик, не было, но по указанию сверху в тот момент их надо было найти и уничтожить для разжигания классовой борьбы в деревне.

Представители райкома партии и ОГПУ использовали мальчика, чтобы подглядывал, где лежит хлеб у соседей, который надо отобрать силой. Крестьян организованно грабили, а ребенка использовали наводчиком. Вот как писала о Морозове «Пионерская правда» вскоре после убийства: «Павлик не щадит никого... Попался отец — Павлик выдал его. Попался дед — Павлик выдал его. Укрыл кулак Шатраков оружие — Павлик разоблачил его. Спекулировал Силин — Павлик вывел его на светлую воду. Павлика вырастила и воспитала пионерская организация. Из него рос недюжинный большевик».

Кроме доноса, никаких заслуг перед родиной у Павлика нет. Но кому нужно было зверское убийство подростка, да еще вместе с братом и поблизости от деревни? Сверху поступила команда: повсеместно расстреливать кулаков и любой ценой организовывать колхозы. На террор кулаков ОГПУ готовило ответ — чекистский террор. А поскольку крестьяне вели себя мирно, надо было изобразить террор кулаков. За кровавое убийство мальчика и его брата арестовали свыше десяти крестьян, чтобы запугать всю деревню, а затем расстреляли дедушку, бабушку, дядю и двоюродного брата Павлика («кулацкую банду»).

Однако по обнаруженным документам Секретно-политического отдела ОГПУ Урала, серия «К» (кулачество), убийцы были вовсе не «лица, настроенные антисоветски», как утверждает официальный миф, а чекисты. Их имена названы в книге. Уполномоченный Карташов, которого защищал от меня журнал «Человек и закон», лично застрелил без суда еще 38 человек (его собственные показания, данные не без гордости). Карташов хвастался, что убил бы и больше, да был отчислен из органов по причине эпилептических припадков. Заслуженную пенсию он получил.

Осведомитель ОГПУ в деревне Герасимовка Иван Потупчик, который впоследствии сидел в Магнитогорске за изнасилование несовершеннолетней девочки, похвалялся мне, как занимался расстрелами в карательной дивизии НКВД. Оба эти

ИНФОРМЕР 001 ДРУЗНИКОВ

INFORMER 001 THE MYTH OF PAVLIK MOROZOV



YURI DRUZHNIKOV



*«Бюро погоды имени Павлика Морозова». Единственное подлинное фото Павлика Морозова, найденное автором, — на обложке американского издания книги «Доносчик 001» (издательство «Трансэкшен», 1996).
Художник Джозеф Бертуччи*

человека — преступники, и есть документы, указывающие на их причастность к убийству двух детей, одного из которых Сталин и партия сделали национальным героем.

Но кто бы ни убил Павлика Морозова, в любом случае полную ответственность за убийство этого мальчика и за растление миллионов других малолетних павликов несет ОГПУ-КГБ, по выражению Ленина — «вооруженная часть партии». Колхоза, который Павлик якобы защищал от врагов, не существовало. «В ответ на убийство» чекисты держали под винтовочным дулом крестьян, пока те не записывались в колхозники. Если бы не террор партии против народа — сейчас наша родина не шла бы по миру с протянутой рукой.

Пионером Павлик (и это доказано) тоже никогда не был. Дети ходили в церковь. Пионером Морозова называли сперва в секретных документах, а затем в газетах после его убийства. Придумали легенду, что его якобы «пригласили в район» и там приняли в пионеры. Точно также после смерти его сделали русским, ибо герой № 1 должен быть «старшим братом», а Павлик, его родители и вся деревня — белорусы.

Сам-то мальчик Морозов ни в чем не виноват. Он, как установлено, был умственно отсталым, к тринадцати годам едва выучил буквы, а уж в политике-то и вовсе ничего не понимал. Взрослые дяди, используя его неполноценность, учили его доносить, а потом убили его и брата, приказав захоронить их без следствия. Когда скрыли все улики, организовали шумный всесоюзный показательный процесс против кулачества. Расстрел невинных в ноябре 1932 года был сигналом к массовым бесконтрольным расправам партийной полиции по всей стране.

Положительный герой-доносчик понадобился НКВД для уничтожения кулаков, а затем для кампании массового доносительства накануне и во время большого террора. Родился Павлик в Сибири, а создан в бронзе в Москве. Со всей страны в Москву стекались доносы. Через год после смерти Павлика «Пионерская правда» уверяла: «Миллионы зорких глаз будут следить...» А в декабре 37-го газета «Правда» в передовой призывала к доносам всех: «Каждый честный гражданин нашей страны считает своим долгом активно помогать органам НКВД в их работе».

Сегодня проблема не только в том, что было сделано, но, прежде всего, в том, что продолжают делать с этим мальчиком уполномоченные на то взрослые.

Как уже было сказано, обо всем этом задолго до статьи в журнале «Человек и закон» поведали зарубежные голоса, хотя их тогда еще глушили. В советской печати стали проскакивать намеки на Морозова. Журнал «Огонек» рассказал о четвертом классе одной московской школы, который во время перестройки борется за право носить имя Павлика Морозова. И журналистка мужественно писала об обществе сталинских времен, извратившем «даже самые первичные понятия о нравственности».

В публицистическую борьбу за очистку духовной атмосферы вступила газета «Московские новости»: «Что такое советский гуманизм? И чем он отличается от обычного? Нормальный, общепринятый гуманизм — это человечность, правдолюбие. А советский гуманизм вдохновлял Павлика Морозова доносить на отца». Хотя все давным-давно ясно, все ж до такого откровения советская печать раньше не поднималась. Гуманизм тут ни при чем, — это понятно и «Московским новостям», и читателю. Речь идет о коммунистической морали, отличной от нормальной. Такая мораль, известно, классовая, как Ленин говорил, краеугольный камень. А камни там сдвигать еще нельзя. Один автор в «Новом мире» заявил: «Я до сих пор вздрагиваю каждый раз, когда подъезжаю к своему дому на улице Павлика Морозова». Что же, «вздрагивают» с ним вместе многие москвичи.

Не выпады против героя № 1 отдельных нетерпеливых представителей интеллигенции испугали власти. Обратная связь пошла от миллионов детей конечно же туда, куда печать ежедневно призывает сигнализировать. В газеты потекли письма. «Недавно узнал о том, что Павел Морозов вовсе не тот, о каком мы говорили, не пионер-герой, а предатель, — писал в редакцию «Пионерской правды» мальчик из города Цимлянска Ростовской области. — В нашей отрядной песне есть такие строки: «Равняйся на Павла Морозова!» А на кого равняться? Я очень гордился, что наш отряд носит его имя. А вышло вон что».

Очень важный вопрос задал взрослым мальчик. Нынешняя гласность сделала еще шаг, чтобы назвать дела прошлого своим именем. Молчать трудней: миллионы читают советские газеты, но эти же миллионы слушают западные «голоса». Имеется значительное количество граждан, которым неловко, что у страны герой № 1 — примитивный стукач. Дети теперь другие, они прекрасно понимают что к чему. Вряд ли сейчас найдется разумный мальчик, который побежит в райотдел КГБ доносить об антисоветских анекдотах, которые он слышал от отца: все их рассказывают, всех не посадишь: кто будет перестройку делать?

Но зашевелились и те, кто спокойненько стучал все эти годы и кто на этой ответственной работе занят сейчас. Запахло разоблачениями. Похоже, органы пропаганды и не предполагали, что тема окажется настолько болезненной. «...Пишут пионеры и их родители, — сообщала газета. — Пишут учителя и библиотекари. Пишут ветераны и студенты. Вопросов в письмах много, но суть у них одна: хотим знать правду о Павлике». Советская пресса, после многих лет табу, заговорила об этом мальчике, — знак сам по себе отрадный. В духе времени Всероссийское общество «Знание» организовало в Москве круглый стол «Белые пятна в истории комсомола».

Мнения историков разделились. Одни называли Павлика Морозова «пионером-доносчиком». Другие в процессе постижения истины установили, что «гражданская позиция должна цениться выше, чем родственные, семейные отношения». Стало быть, донос детей на родителей морально оправдан.

Мальчик эпохи гласности, ровесник Морозова, писал из глубокой провинции в московскую газету, чтобы там узнать правду, а образованные дядя и тети, обсудив разные мнения и наговорив целую страницу вранья о подвигах Морозова, пришли в «Пионерской правде» к научному заключению (простим стиль, не до этого): «Подробно изучив все обстоятельства жизни и смерти Павлика Морозова, не уважать его нельзя».

В либеральных «Аргументах и фактах» старший советник юстиции из Прокуратуры СССР отвечал читателям, что он изучил «архивные материалы следствия и судебного разбирательства об убийстве Павлика Морозова». Кому же как не проку-

рору изучить бы? А он рассказал несведущему читателю старый миф, почерпнутый им из газет и книг. Обвинительное заключение по делу об убийстве Павлика и его брата прокурор исследовал по газетам того времени, то есть по мифу агитпропа, и при этом еще напутал в географических названиях. Павлик остался юным революционером, сражающимся за социализм. Так борцы за гласность заставили мальчика, написавшего в газету, узнавать новости не из советских источников.

Постепенно в перестроечной печати стала обнаруживаться некая жесткая рука. И стало ясно, в чем дело. В «Комсомольской правде» появилось постановление агонизирующего ЦК ВЛКСМ. Специальная комиссия, в которую входили Прокуратура СССР, комсомол и печатные органы, проверила историю (вот уж не думал, что удостоюсь чести стать объектом изучения). В результате постановление Всесоюзных комсомольских органов гласило: «Считать правильным старое решение», а Морозова — подлинным героем. «Признано необходимым» сообщить об этом через средства массовой информации «всем пионерам, их родителям, общественности». ТАСС задание выполнил. Уместно напомнить, что героем 001 Павлик был объявлен не при Сталине, а во времена разоблачения культа личности. Хрущев написал о Морозове внушительную статью.

Итак, пошла новая волна от центральных к сотням периферийных газет. Русская периодическая печать всегда стыдилась сотрудничать с охранкой. «Человек и закон», «Комсомольская правда» и многие прочие этим гордились. Повывлезали на страницы писатели, восхвалявшие в свое время Морозова, с новыми одами. «Не надо, наверное, выворачивать историю наизнанку, как перчатку», — одобряя постановление о Морозове, писал в «Сельской жизни» уральский павликовед. Он обвинил критиков в «правовой вседозволенности» и потребовал поставить «точку в затянувшейся дискуссии». Вопрос только в том, чью точку?

Прокатилась кампания по всей стране. Особенно усердствовали сибирские газеты, так сказать, по месту рождения Павлика, но и другие территории не отставали. Тезис, как правило, один: он и не доносил вовсе — это опять происки

империалистов. Он просто был героем, и все тут! В каких только падежах меня не склоняли. Сотрудник газеты «Вечерний Киев» Виктор Кузьменко договорился до того, что автор книги «Вознесение Павлика Морозова» — сам доносчик, ибо донес читателям на Павлика Морозова.

Кампания прояснила, кстати, откуда весь сыр-бор, кто встревожился за свои кадры, кто дергает кукол за ниточки. Во всех изданиях упоминаются одни фальшивые сведения. Видно, что указания оставить Павлика в героях, поступили централизованно. Откуда же? Может, комсомол нынче не у дел и не в почете и, чтобы доказать свою полезность, ищет заслуги в прошлом? Но ЦК комсомола — лишь приводной ремень.

Указания идут из другого учреждения, которому гласность поперек горла, историческая правда не нужна, а вот доноски требуются всегда. Именно это учреждение, боясь разоблачений в эпоху борьбы с культом личности, приказало ночью вырыть из могил останки братьев Морозовых, перемешать их кости в одном ящике и сверху залить двухметровым слоем бетона, чтобы эксгумация и выяснение истинных обстоятельств убийства стали невозможны.

Газета «Известия» напечатала двусмысленную статью о Павлике Морозове и вполне конкретное интервью с начальником местного КГБ, в котором говорилось о необходимости крепить сеть «нештатных сотрудников в каждом коллективе». Этот ностальгический мотив агентство «Лубянка-пресс» своими каналами распространяло по всей стране в сотнях статей. Видимо, чем больше открытых ртов, тем больше требуется ушей.

Стало ясно, откуда взялась такая информированность авторов по поводу моей ничтожной персоны: в своих статьях они обширно цитировали материалы о моей антисоветской деятельности, тексты радиоперехвата и даже материалы допросов на Лубянке, на которых присутствовали следователи и ваш покорный слуга, а зрителей вроде защитников Павлика Морозова, насколько помню, в том тесном помещении не было.

Парадокс сегодня в том, что миф о Павлике работает и против самого КГБ, который всегда печется о своем фасаде. Но

для внутренних афер в этой организации оставляют кадры менее сообразительные, а потому неспособные адекватно оценивать обстановку. Спор вокруг Морозова обнажил беды гласности: неомощность прорабов перестройки (точнее писать «прорабов» без первых трех букв) и пропасть, разделяющую интеллигентную часть общества и власть.

Между тем первый адвокат, хотя и странный, нашелся там же, на месте. Гласность же. Я со своим любимым героем оказался объектом перепалки между журналами: упомянутым довольно-таки черносотенным и другим, почти что прогрессивным. Журнал «Юность» общечеловеческую мораль не только не обругал, но, наоборот, защитил, что, я бы сказал, весьма благородно и смело. Может, в редакции оказались мои единомышленники, поскольку я их старинный автор? Может, почтили ветерана первых посиделок литературной молодежи, собиравшейся во главе с редактором Катаевым в конце пятидесятых? Хотя печатали мою прозу мало, а больше заворачивали по немыслимым причинам (это печаталось потом в западных журналах). Но — защита в «Юности» выглядела странно.

Представьте грабителя, который снимает с вас пальто, забирает часы, кольцо и бумажник, а потом, дабы скрасить впечатление, дает пятак на метро. «Юность» пересказывает близко к тексту книгу «Вознесение Павлика Морозова» (перепутанные детали — от спешки, что ли?). А потом делает ход конем в духе эпохи. Дескать, слышали о западной книге имярека на эту тему от... брата Павлика, Алексея Морозова, живущего в Крыму, который про нее... слышал по радио и, стало быть, пересказал журналисту «Юности». Пятак выдан. Только фотография в «Юности» легенду портит: фото сделано мною самим и, стало быть, взято редакцией «Юности» не из передачи радио «Свобода», а из моей книги... разумеется, как все остальное, без ссылки на источник.

Далее «Юность» пишет: «Пришло время, когда мы должны окончательно лишить западные издательства этого приоритета — обнародовать «белые пятна» нашей истории...» Сделать западных авторов лишенцами — до этого даже Сталин не додумался. Еще в те времена существовало (к сожалению, не подкрепляясь практикой) выражение «правда не знает границ». А

по мнению журналиста периода гласности, правда теперь должна знать свое место. Метод ликвидации белых пятен советской истории, примененный журналом, остроумен: лишать приоритета путем выдачи чужого за свое.

Кстати, лишенцем оказалась редакция «Юности» — не она открыла читателям страницы дела Павлика Морозова. Через два месяца новый еженедельник «Семья» опубликовал главы из книги без комментариев и сразу поднял свой тираж. Книга появляется в Эстонии, Латвии, Польше, и понятно почему. А как жить мальчику из Цимлянска и миллионам других мальчиков и девочек в Советском Союзе? Петь хором песню «Равняйся на Павла Морозова!» или не петь? Доносить на родителей куда следует, если папа маме рассказывал анекдот про Горбачева, или не доносить? Можно ли Марье Ивановне, учительнице, сказать в классе правду или ее за это вызовут на ковер?

Попытки поколебать пьедестал самого известного в мире героя-доносчика, так сказать, эмоциональны. В столице существует как бы свобода выражения личного отношения к мешающему реликту. В Москве сняли доску с названием «Детский парк имени Павлика Морозова» возле Американского посольства. А его защитники вовсе не собираются сдавать позиции. Улицы, школы, библиотеки, парки, дворцы пионеров по всей стране носят имя юного стукача. Для миллионов советских детей на периферии — через Минпрос и комсомол — целенаправленное оболванивание, точнее облуживание.

Ох уж эта глубинка! Россия — страна медленная. Быстро в ней совершаются только массовые убийства, а что касается морали... Цветы гласности всходят на перепревшем навозе прошлого. Может, это нормально, что так медленно? Однажды говорил я с одним пожилым рижским учителем из латышской школы. По обязательной программе он рассказывал ученикам о подвиге Морозова. А потом, с риском для себя, спрашивал:

— Выучили наизусть?

— Выучили.

— Хорошо, что выучили. Помните всю жизнь: тот, кто доносит на родителей — какие бы ни были причины — подонок. Это было до объявленной гласности.

Советский интеллигентный авангард призывает к совести. Когда процент правды увеличивается, процент лицемерия становится видней. По иронии истории два продукта оказались в годы перестройки в дефиците: мыло и стыд. Как отмыться? Мыло можно завезти. А вот где нынче достать стыд? Как откопать в глубинах души чувство вины за содеянное?

В тысячах школ честность продолжала воспитываться на примере подлости, преданность на примере предательства. И одна организация уверена, что легионы павликов морозовых будут ей верой и правдой служить завтра. Он — краеугольный камешек всей идеологии. Метастаз, свидетельствующий о том, какая болезнь. Удалить его — значит отказаться от классовой морали и признать правоту христианской. Значит признать, что социализм есть восстановление крепостного права в России, да такими методами, которые не снились ни Ивану Грозному, ни Гитлеру.

Но есть и еще один аспект дела Морозова — международный. На Западе наблюдают с любопытством за происходящим. Внутри страны, как показывает практика, можно сочинять кантаты доносчику, можно его и поддеть, пока не запрещено. Но поскольку у руководителей советской страны официальной доктриной остается особая, отличная от остального человечества, мораль, им нельзя доверять. Ни в глобальных вопросах, ни в мелочах. Ведь ложь классовому врагу, согласно этой морали, оправдана и даже полезна «для нашего общего дела».

Отношение к мальчику-доносчику — как прогноз погоды на завтра. Организовать Бюро погоды имени Павлика Морозова, как видим, очень важно. Полемика не кончилась, и пока что прогноз такой. Стрелка барометра колеблется. Будет то ясно, то пасмурно, возможно, и одновременно. С Лубянки подует холодный ветер. С Запада, как всегда, надвигается потепление, с востока холод, над Старой площадью пройдет грозовой дождь с ветром. Хочу привести последний

пример из прессы. В каком-то смысле он отражает качания стрелки.

Молодым я работал в газете «Московский комсомолец», когда редактора ее сняли за то, что газета ориентируется на интеллигенцию, а не на рабочий класс, и за смычку с журналом Твардовского «Новый мир». В перестройку эта газета оказалась впереди. 21 октября 1989 года она сообщила, что (цитирую) «из парка имени Павлика Морозова убрали статую «легендарного» пионера, в прошлом — героя».

Остаются ли сомнения? Через десять дней, 31 октября, та же газета опубликовала письмо читателя: «Я живу совсем рядом. И могу заверить всех непосвященных, что статуя по-прежнему стоит. На своем месте».

Между прочим, от редакции «Московского комсомольца» до статуи доносчика пять минут пешком.*

* Памятник Павлику Морозову был снят в 1991 году и спрятан в сарае на задворках Белого дома правительства, где мы его и нашли, когда финская компания делала фильм по книге «Доносчик 001».

ВЛАСТЬ И СЛОВО

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 9 июля 1990

Два моих приятеля случайно встретились в нью-йоркском ресторане с любопытным советским литератором. Как только я имя услышал — кое-что вспомнилось, но увидаться не захотелось. Хотя сам он не стесняется, неловко мне называть его имя. Но и забыть о вкладе этого писателя в отечественную словесность невозможно, поэтому буду звать его Имярек.

Познакомили меня с ним в редакции «Юности» лет около двадцати назад. И заранее предупредили: не надо при нем беседовать на скользкие темы. О чем же тогда говорить? Какие темы несколько? Таких уже тогда не оставалось.

Имярек, сюда в гости прибывший, — сын когда-тошнего советского шпиона в Америке. На свет он появился в результате интимно-политической ошибки своего папы, который имел неосторожность при исполнении влюбиться во внуку основателя коммунистической партии США. Шпиона вместе с внучкой на всякий случай в темпе передислоцировали домой. Вернув на родину, ему поручили ведать, если не ошибаюсь, атомным заводом (может, он реализовывал опыт, накопленный в загранке?). Когда я знавал отца Имярека, он был заместителем редактора популярного журнала.

Незлой и, в отличие от лизоблюда-редактора, в общем-то, как казалось, инертный по части политики человек, бывший шпион уже оплыл от сидячей жизни. Журнал тогда под руководством этих редакторов боролся с реакционной лженаукой кибернетикой. Помнится мне замредактора, перекладывающий клочки бумаги из кармана в карман: он повторял слова, боясь потерять английский. Может, с годами стал хуже понимать жену,

которая так и не выучилась по-русски? Или по наивности надеялся, что его снова призовут на основную службу?

Сын-полуамериканец пошел по стопам отца, только не как профессионал, а в качестве волонтера. Он писал очерки о мужестве чекистов. А затем, принятый за это в члены Союза писателей, по команде тех, кого надо, приступил к борьбе с теми, с кем надо.

Передо мной одна из коллективных книг, в которой он значится как скромный соавтор. Называется сборник «С чужого голоса». Посвящена книга тем, кого западные спецслужбы вовлекают в антисоветские идеологические диверсии, т. е. ревизионистам, сионистам, церковникам и диссидентам. Литератор Имярек выполняет ответственную миссию: топит своих коллег, журналистов и писателей.

Разглядываю фотографии в книге. На одной — магнитофон, радиоприемник и кассета, что по дешевке продаются на «блошином» рынке тут и за три месячных зарплаты там. Подпись: «Техника, использовавшаяся сионистами для проведения подрывной деятельности в СССР». Слово-то какое: под-рыв-ной! Или вот другая картинка. Несколько книг (включая Солженицына), кусок провода, какие-то бумажки. Подпись: «Литература, деньги, аппаратура, предназначенные для проведения подрывной деятельности в Советском Союзе». На третьей фотографии допотопную пишущую машинку (сам исполнитель писал, наверное, на более пристойной) Имярек называет «множительной аппаратурой, засланной в нашу страну для изготовления подрывных материалов».

Весь этот подрыв — не в тридцатые годы, не «ежовщина», но восьмидесятые, канун гласности. Сами-то чекисты давно имена скрывают, печатаются под псевдонимами Иванов, Петров или Сидоров, только энтузиасты работают на них в открытую. А ведь лицом к лицу Имярек не производил впечатления умственно неполноценного.

Из текста книги становится ясна кухня. Сочинитель получал для чтения и разоблачения рукописи, изъятые у авторов при обысках и приложенные в качестве вещественных доказательств к уголовным делам. Кто эти враги нашей славной ро-

дины, грязные иуды, наймиты ЦРУ, клеветники на прекрасную действительность, которая везде, куда ни глянь?

Страница за страницей, имя за именем сладострастно, я бы даже сказал, с упоением обливаются грязью люди, нам известные: инакомыслящие редакторы самиздатского журнала «Поиски», «махровые антисоветчики» и многие другие. Все это перемежается с яркими рассказами о том, как в разведшколах империалистических держав готовят диверсантов и террористов, учат их делать смертельный яд (отравлять наши советские колодцы) и взрывчатку (подрывать оборонные заводы). Тут же со знанием дела рассказывается, как преследуют свободомыслие в США и как там сажают диссидентов за критику правительства. Трагикомизм ситуации Имярека в том, что Америка — родина его матери, а родина его мыслей — Лубянка в Москве.

На что же клеветали отщепенцы, как он их называет? Они писали страшные вещи. Про то, что уровень жизни в СССР ниже, чем на Западе. Намекали, что в СССР был тоталитарный строй, приведший к застою. К чему призывали враги-коллеги? Оказывается, «к введению права на оппозицию, отмене руководящей роли партии, расширению частного сектора и т. п.». Вот какие бяки! Узнаем и о справедливом возмездии. После появления статей Имярека (до или одновременно с ними) у писателей проводятся обыски, затем аресты, суды. Отщепенцы исправно получают сроки.

Есть что вспомнить нынче в Нью-Йорке борцу с диссидентами. Но предается ли он воспоминаниям? Мучают ли его по ночам кошмары? Или, может, хотя бы щеки краснеют от стыда? Хочется ему добровольно крикнуть: простите меня, суку, не сориентировался, не в той кассе гонорар получал? Да нет, горло пересохло. А скорей всего, и не пересохло, просто лучше сделать вид, будто все нормальненько.

Может, зря ворошу былое и на нем сосредоточился? Один он, что ли, состоял в лакеях у политического сыска? Между прочим, прочитал я не так давно его статью в «Известиях». О чем, думаете, пишет? Угадали! О том, что не все благополучно в советском королевстве, что цензура сковывает свободу литературного творчества. Весь набор его отважных мыслей почерпнут из рукописей отщепенцев, которых он раньше подвергал

цитированию в своем эссе «Куда заводят «Поиски». Куда поиски завели, мы видим. И выходит, Имярек теперь смело стал единомышленником с теми, кому затыкал рты. Плагиатор и компилятор мыслей отщепенцев, прощения он у жертв не просит. В монахи не постригся, грехи не замаливает. Опять он в первых рядах, только теперь против того, за что был раньше. Читаю и вижу, что он, как и тогда, снова на коне.

И все ж хочу сказать слово о человеческих правах г-на Имярека-младшего. Сам-то он крупу на московских кухнях в поисках долларов, органами же подсунутых, не пересыпал. Его инструмент — слово. То, что он раньше писал, как и то, что теперь, — дело его личной совести, если хотите, чистоплотности. У цивилизованного государства одна забота — обеспечить его права.

Так и есть: он не только выездной, но и пожаловал в США. Не удивлюсь, если его пригласит какой-нибудь американский колледж поделиться ярким литературным и жизненным опытом, например, прочитать курс «Диссидентское движение в СССР». Правда, гость приезжал тихо, но и это тоже его право. Никаких препятствий ко въезду в Америку художнику-лубянисту не чинили. Писатели, которые ездили по заграницам до гласности, выполняя разные миссии, и теперь катаются. И не писатели тоже. Все могут ездить, куда хотят, если они только не именитые террористы.

Вещаю сии банальные истины только потому, что на практике применяется пока другой расчет. Ему следуют люди, которые больше других ораторствуют о том, что паранджи на лице советского общества больше нет, например, советские дипломаты.

Русского писателя-эмигранта Резника не пустили из Вашингтона, где он живет, в Москву. Не дали в советском консульстве въездной визы. Раньше дважды ездил, и оба раза, протянув до последнего часа (особая их тактика), давали ему визу. Третий раз тоже, конечно, тянули до последнего — и показали из бронированного окошка кукиш застойных времен. Уж кто только не едет сейчас. Вроде бы поняли, что твердая валюта, помимо прочего, от поездок поступает. Ан нет,

идеологические соображения, как мы помним из пионерской присяги, тверже валюты.

Может, писатель этот — против перестройки и ехал, чтобы повернуть ее вспять? Нет, он, насколько я знаю, не против. Или он задумал сглазить гласность? Может, он в прошлый раз пытался нелегально провезти лишний кусок мыла для своих знакомых? И этого не было. Дело посерьезней.

Проследили, что этот писатель интересуется обществом «Память». Даже брал в Москве интервью у руководителей «Памяти». И пишет об этом книжку. И от «Памяти» Резник не в восторге. Вот это-то и не понравилось. Выходит, у «Памяти» действительно есть власть. Даже, как видим, есть рука в советском консульстве в Вашингтоне. Когда-то в Советском Союзе писатель этот был невыездным. А теперь они его повысили в должности и сделали невыездным, что, конечно, еще более почетно.

Считайте, что я потерял чувство меры, но будь я советским послом в Америке в такую важную для них эпоху, я бы бросил все другие дела и лично позвонил домой невыездному писателю. И сказал бы я, советский посол, примерно следующее:

— Ради Бога, простите, что так получилось. Мягко говоря, в консульском отделе у нас дефицит на соображающих товарищей. Не перестроились еще. Слабина в мышлении, которое вдруг заело при переключении со старого на новое. Действуют товарищи во вред государству, которому служат. Оправдывает их только то, что таких людей немало и там, выше, на основном материке. Это они неумеренно расхваливают отдельных западных писателей. Завлекают тех, кто выгоден, или тех, кто им целует места, по которым, как выразился в своем весьма толковом словаре Даль, у французов запрещено телесное наказание. Мало того, что они изымали вашу литературу из нашей литературы. Так теперь, когда вы пытаетесь поглубже узнать, какие подвижки в нашем борделе происходят (только и всего!), хотят помешать. Боятся? Да. И, конечно, мстят. Еще раз извините! Вот вам вечная виза, катайтесь на здоровье и спасибо вам большое, что вы нами интересуетесь. Могли бы ведь и наплевать: у вас есть на то веские основания.

Вот в таком духе я сказал бы этому писателю, будь я послом многокилометровой державы, которая хочет показать миру

жалкое подобие человеческого лица. Но советский посол — человек советский, а я наоборот. Если этот писатель станет дважды невыездным, я бы предложил поставить его бюст на родине. А если посол позвонит ему, я напишу новый гимн Советского Союза. Забавно, однако, что американцы русского происхождения ездят по миру свободно, и только на родину им нужно добывать за деньги визу.

До гласности в Москве ничего было нельзя. Теперь многое можно. Хотелось бы понять, что же все-таки объединяет нынешнюю ухарскую свободу с предыдущим зажимом? Думается, близость в том, что к человеку, особенно к человеку пишущему, там все еще относятся как к некоей идеологической шарманке, которую следует крутить, чтобы извлечь нужные мелодии. Жива ленинская параноидальная концепция слова, превращающегося коллективным усилием воли агитпропа в бомбу. А какие заветы Ленина реализовались, кроме телеграмм о расстрелах? Вот что отличает их взгляды от западного представления о человеке и слове, им сказанном. Тут автор — просто человек. Слово — просто слово, хоть устное, хоть печатное. Не меньше, но и не больше. Если вы с моим словом согласны, мы единомышленники, если нет — примите к сведению, а не хотите, не принимайте, только и всего.

То, что я сказал сейчас, противоречит мысли большого русского философа, заявившего: «Нет такого действительно художественного произведения, которое бы не производило некоего действия, некоего изменения в жизни; в великих же поэмах заключается и план такого изменения или, лучше сказать: художественное произведение есть проект новой жизни».* Однако, если даже не считать, что тут намек на возможность создания соцреализма, если не спорить о смутном термине «действительно художественный», то все равно это кажется мне преувеличением возможностей литературы.

Можно ли считать, что Хемингуэй, со своим левачеством, способствовал появлению Кастро? Уменьшили ли число разводов или, может, снизили процент потребляемого алкоголя или лени в студентах выдающиеся писатели Америки: Бернард

* Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. 2. М., 1913. С. 435.

Маламуд, Курт Воннегут, Джон Чивер, Джон Апдайк? Или, может, гений, объяснивший в «Бесах» еще сто лет назад, что нас ждет, сумел хоть как-нибудь отвратить нас от дороги в ад?

Представьте, что Сталин, Берия или Андропов ознакомились с портретом Угрюм-Бурчеева и хоть один из них воскликнул: «Нет, я буду лучше!» А какова плодотворность усилий по внедрению литературы в практику Союза Советов? Сколько настоящих людей воспитала «Повесть о настоящем человеке»? А читатели «Молодой гвардии» — не они ли вышли из Афганистана и стали мародерами на родине? Может, письмо Татьяны или сны Веры Павловны повысили нравственный коэффициент московских школьников, зарабатывающих в гостиницах по ночам?

Не знаю как для кого, но для меня феномен гласности есть демонстрация беспомощности слова. Крика все больше. Удары словесные все сильнее. Уже и Ленина с Инессой Арманд гласнолюбцы застукали в постели, а она лежит в одной могиле с Джоном Ридом. Сказать можно всё, но если колбасы больше становится, то, ей-богу, не от слов. Самое острое оружие, советская печать, не сумела ни улучшить экономику, ни смягчить национальные конфликты, ни прекратить просто человеческие, ни ослабить криминогенную обстановку. Хамство и всеобщая истерия приняли в стране невиданные и ни с чем не сравнимые размеры. Может, и было такое при татаро-монгольском иге — не помню, я тогда еще был маленьким.

Это я к тому, что литературное слово не лечит, не исправляет и не помогает ни партиям, ни государствам. Если литература и влияет на человека, то это влияние медленное, неотчетливое и подчас непредсказуемое. Насчет того, чтобы пророкам глаголом жечь сердца людей, Пушкин, мне кажется, слегка погорячился. Пророки в нашем отечестве обращаются за реальной помощью к охранке. И вообще, сердца читателей надо беречь. Слово (и правдивое, и лживое) субъективно, и за это нравится нам или нет. Оно только выполняет свою функцию: оно существует. А если воздействует, то очень тонко.

Отношения читателя с писателем — как роман мужчины с женщиной. В нем такие же этапы. Максимум счастья, когда читатель ложится с книгой в постель. Мы читаем от неясной

потребности в удовольствии, чтобы удовлетворить умственный голод, из любопытства или просто от скуки.

Если бы человек становился лучше от искусства, он давно бы уже стал совершенством: искусства было навалом со времен древних греков и еще раньше. Полки библиотек распирает от умных советов и негативного опыта, а — подонков, воров, стукачей и просто равнодушных ко всему людей, которые ничего не читают, становится все больше. В какой бы стране ни жил писатель, если он не конъюнктурщик и не моральный урод вроде описанного выше Имярека, он пишет просто из страсти писать, из необходимости освободиться от умственной беременности, а не для того, чтобы сделать читателя чище душой или убедить его участвовать в соцсоревновании.

Не часто правительство Америки вмешивается в литературный процесс. И само собой, читать, писать и печатать здесь можно все. И едут в Штаты из без пяти минут бывшего СССР все, кому не лень — от отсталых советских детективов из милиции до передовиков антисемитизма. Даже диссидентов выпускают и на обратном пути не надевают наручников. Я уж думал, отказались от идеи запрягать писателей в упряжки, используя для этого метод искусственного отбора, — было такое российское изобретение. Подбирали для этого шолоховых и мелкими шакалами не брезговали. А мандельштамов просто уничтожали. Иногда-таки удавалось, как видим, вывести писателей новой породы. Писатели превращались в приводные ремни, а читатели — в винтики. То время выродилось, исчерпало себя, ушло, думал я. Ан, оказывается, не без рецидивов.

Почему писатели-лауреаты, да еще весьма сомнительной репутации, попадают в разные президентские советы, органы чисто политические? Зубной пасты от этого в стране не прибавится, даже книг больше не будет. Зачем главе государства прозаики? Вносить эвфемизмы в его статьи и речи? Помните, как говорит Мамаев в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты»? «Я вам дам не денег — нет; а лучше денег я вам дам совет относительно вашего бюджета». Неужто придворный романист Айтматов будет проводить в литературе политику юриста-агронома?

Максимум вмешательства американского правительства в литературу — это пригласить Фолкнера в Белый дом, от чего писатель, как известно, отказался, заметив, что ему неохота ехать обедать так далеко. Представим себе русского писателя, гордо отказавшимся от куска пирога, предложенного главой государства: «Спасибо, — говорит он, — но я просто писатель».

Демократия для пишущих и читающих, сколько ни рассуждай, — это же, в сущности, очень просто. Это когда государство отдельно, а литература отдельно. А если яблоко от яблони, то нет. Сегодня в Советском Союзе много сказано, а страх писательского слова все еще таится в подкорке у власти. Слово дозируется, органы указаний работают. У многих радость — дали выразиться. Лжи стало меньше. Нет цензора, но за него редактор старого покроя вычеркивает, меняет мысль на противоположную и удовлетворенно потирает руки, находясь при деле.

В «Литературной газете» с плашки исчезло «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Пролетарии газету и раньше не читали, соединяясь только на предмет поддачи, а все же это прогресс. И не только в этом. Исчезли с груди газеты ордена Ленина и Дружбы народов. А из двух профилей — Пушкина и Горького оставили одного Пушкина.

Советская атрибутика, исчезнувшая с вывески газеты, — мелочь. Но время разрублено и в содержании. Изъяты неприятные полвека соцреализма, который я бы назвал идеологическим сюрреализмом. Как бы исправлен этап, в котором «Литературная газета» еще совсем недавно вела себя, мягко говоря, не на уровне мировых этических стандартов. На Западе соцреализм давно внимательно изучается, как и все прочее. А на его родине искусственную шубу вывернули наизнанку, сменили цвет красный на белый, как когда-то белый на красный, и опять подтасовка, только с другими названиями.

Что делать с тысячами книг, учебников, дутых имен, с массовым сознанием, наконец?

Стыдливо замалчивается проблема реального авторства таких великих писателей, как Сталин, Шолохов, Брежнев. Все-то там политическая конъюнктура. Путают борьбу «за» и «про-

тив» с чистыми литературными делами. В теме, интересующей писателя, хотят разглядеть пользу и вред для себя и вредное изъять, не допустить. А писатели, у которых вынули изо рта государственный сосок, держатся за подол власти, чтобы состоять при должностях и наградах. Власть пригреет, защитит, не даст в обиду, если сама выживет. Без табели о рангах советскому писателю никуда! Газеты все еще рупоры, а не просто средства информации. Пафос радио упал, многозначительная ничтожность текстов сводит скулы от скуки через десять минут, но это патетически именуется Всемирной службой Московского радио. Как показывают факты, зарплату в ЦК, ЧК, МВД, Министерстве обороны и даже в МИДе все еще получают за то, что взвешивают дозы нужного им в прессе, вместо того, чтобы заниматься своими делами. А «настоящие писатели-лауреаты» все еще бегают с доносами наверх.

В нормальном правовом государстве века два назад поняли, что самое выгодное для власти — не лезть в дела художников. Не чиновникам определять, писать буквы, ноты, штрихи вдоль, поперек, слева направо или наоборот, что изображать и зачем. Альтернатива Первой поправке к Конституции США — партийность, которую Бердяев еще в начале века назвал «опытом полицейской организации литературы». Среди достижений системы останутся и книги Имярека, интеллектуальный багаж советской инквизиции.

ТУСОВКА ДЛЯ НИГИЛИСТОВ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 21 января 1992

Прозрачный зачин, с которого начинается любопытная и в каком-то смысле показательная для наших дней статья Н. К. «Излечение от литературы», не оставляет сомнений в серьезности темы: «В доме повешенного поговорим о веревке».* Не сложно понять, что речь пойдет о том, кто умер. Покойница — современная русская литература. А овдовевшие писатели (автор пишет «писатели и литераторы» — видимо, знает разницу между ними) сделались париями общества, то есть, стало быть, оказались вне касты, не у дел.

Поскольку я отношусь именно к этим париям, я растерялся. Все еще пишу, печатают вроде бы по всему миру, включая теперь и оттаявшую родину, но живу в калифорнийской глухомани. А у них там, в первопрестольной, литературы уже, оказывается, нет. Порешили, пришили, замочили или как там еще это называется. И на похороны я опоздал. Пора закрывать лавочку.

Ушла литература из жизни, по словам московского автора статьи, за ненадобностью: спроса нету. Больше того, литература, как выясняется, и в прошлом играла отрицательную роль в прогрессе общества, но нынче, слава Богу, наконец-то с ней покончено. «Литература растворилась и перестала заслонять от российской публики реальный мир». Она «вышла в тираж» — «как партия, как идеология, как железный Феликс и как сам Советский Союз». Может, имеется в виду только официальная, припартийная литература? Но нет, никакой дифференциации не делается. Всё скопом на свалку.

* Излечение от литературы // Новое русское слово. 1991. 31 дек.

По мнению, высказанному в статье, это один из положительных результатов текущего русского катаклизма: литературы больше не существует. Хотя в другом месте автор говорит, что «литература осталась лишь в качестве прилагательного» (и на том спасибо), но потом об этом забывает. «Излечением от литературы», оказывается, этот процесс именуется, — значит, была болезнь, некое умопомешательство на книгах. Много читали и спорили, но теперь с этим покончено, как со свинкой, корью или, может, манией. Вылечили нас от этого. Впрочем, коль скоро литература была такая плохая, раз «заслоняла» от нас нечто более полезное для кармана или для здоровья, то ее и не жалко. Без нее даже лучше. Легко на сердце без песни веселой.

Вот такой интеллигентный взгляд, дорогой читатель. Все мы опасаемся еще переворота сверху, а там культурная революция сбоку, из-за угла.

Когда древние римляне оккупировали Грецию, военное начальство посетило одного местного философа. Библиотеку у него разграбили, а сам он остался в живых. Начальники вежливо поинтересовались:

— Не было ли у вас чего-нибудь похищено, когда войска вошли в город?

— Ничего! — скромно ответил философ. — Ведь мудрость не может стать военной добычей.

Это другой взгляд, менее прагматический. Но, конечно, не такой современный. Устаревший.

Разумеется, каждый пишущий имеет право высказать любые свои соображения. Даже крайние. Однако пророчества, как мы не раз убеждались (пора бы извлечь уроки), почему-то не срабатывают. Ухитрились Ленин, Гитлер, Сталин или Мао уничтожить литературу? Замедлить, изуродовать, упрятать авторов в застенки — да, это вполне удалось. А литература всегда оставалась, превращалась в Самиздат и Тамиздат, но выживала, добиралась до читателя. Неужто в переходный период к цивилизованному обществу под мудрым водительством пока либеральных вождей Горбачева и Ельцина, в общем-то без репрессий и почти что без цензуры суждено ей прекратиться?

Из статьи «Излечение от литературы» следует, что сам ее автор уже исцелился от этого недуга. Он, так сказать, переориентировался на современные требования жизни, серьезно восприняв в средней школе рекомендации тургеневского Базарова, создателю которого, как известно, принадлежит копирайт на введение в русскую литературу слова «нигилист». Почти повторяя почтенной памяти русских анархистов Нечаева и Бакунина, Н. К. испытывает творческую радость разрушения: «...как все прочие кумиры, литература оказалась колоссом на глиняных ногах и рухнула в одночасье». «Это прекрасно», — радуется он.

Судя по статье, автор вроде бы прагматического племени, а вот на ж тебе, мыслит вполне марксистско-ленинскими формулировками. Концепция такая: сперва похоронить то, что существует, что создавалось поколениями писателей (скопом, без разбору), а потом «заново отстраивать здание литературы». Знакомая мелодия, где-то этот канкан уже танцевали. «Разрушим до основания, а затем...» Называется эта игривая песенка «Интернационал». Когда вся старая литература будет уничтожена, то, вполне по-большевистски, начнется следующий этап, так сказать, созидание новой литературы: «Среди обломков пробьются бойкие роднички, — написано в статье, — сольются в негромкий поток...»

Из чего они бойко пробьются, как сольются, не ясно. Но ясно, что на голом месте. Только зачем им опять сливаться, когда еле-еле разлились из единого русла? Наконец-то литераторы стали париями, вышли из касты Союза писателей с предписанным «измом». «Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум...» — писал всем известный пария. Ан нет, опять призыв сливаться...

Впрочем, нигилиста не волнует опыт предшественников, он живет сегодня. Он смело делает открытия по части разрушения. Суть статьи «Излечение от литературы» — убедить, что похороны русской словесности уже состоялись и даже объявить об этом всему миру, напечатав статью за границей. При этом примечательно, что выступает автор чуть ли не от всего своего поколения: «мы помним», «нас спросят», «мы покажем»...

Все это уже было. И похоже на знакомые идеологические погромы, только тулуп надет навыворот.

Русская литература внутри России и в изгнании всегда, даже в самые мрачные годы, представляла собой сообщающиеся сосуды. Корни, обрубленные в метрополии, давали могучие ростки на Западе. Периодически, как, например, сейчас, эти ростки успешно пересаживают в отечественный лес, где за предыдущие годы изрядно порублено. Процесс сложный и небезболезненный. Желание объявить отмирающей ту или другую часть русской литературы, тот или другой период нет-нет да появляется.

Зыбкое здание демократических преобразований в культурном пласте Московии раскачивается от призывов то размежеваться на ручейки, то слиться в поток. Будто это поможет сути дела. А суть — творчество художников. Для чего опять крушить стулья, на которых сидим, призывать к «излечению от литературы», то есть, если называть вещи своими именами, к литературному террору? Да и вообще как, по мнению автора и его единомышленников, с остальной культурой? Тоже сперва задушить старое, затем объявить о наведенной чистоте и дать команду созидать? Не надоело ли бороться? Или, может, идет новое, небитое поколение?

Заодно с литературой и читателя как такового автор превращает в примитивного потребителя инструкций, точь-в-точь по Оруэллу: «Находятся даже — допустим и это — кое-какие читатели, но Литературы больше нет. Она сгинула как фантом, и остался лишь навык функционального чтения — скажем, чтобы сдать экзамен по сопромату...» А дальше еще эффектней: «Загаженные вишневые сады российской словесности нынче оказались выкорчеванными...»

Давайте все же не будем доверчиво следовать за автором статьи, у которого закружилась голова от разрешенной свободы слова. Куда, простите, «сгинула» Литература, когда в каждом интеллигентном доме по обе стороны двух океанов книжные полки, когда библиотеки во всех странах пополняются, несмотря на денежные трудности?

Так называемые «массы» не читают книг, это правда. Ну, а раньше они читали? Был соцмиф о читающей нации, которая

землю попашет, попишет стихи. Миф испаряется. Но реальность вовсе не соответствует новому мифу о лихом примитивном вещизме, который преподносит нам г-н Н. К. И пишется, и издается сейчас больше литературной продукции, чем раньше. Духовный опыт интеллигенции, ранее там запрещенный, вырос в цене и стал более доступен. И вообще, как написал один московский редактор, «отучить читать невозможно». И нищета или благополучие, политическая стабильность или катаклизмы тут ни при чем.

Бесспорно, советская литература в ее официальном виде перестала репродуцироваться. Но книги-то этажами везде стоят, не сжигать же. И несветские классики, то есть те, кого, как сказал Честертон, хвалят не читая, на одних полках с конъюнктурщиками, сталинцы с антисталинцами и графоманы с гениями, прижавшись корешок к корешку. Зачем совершать тризну по историческим явлениям?

Один мой приятель здесь, в Америке, специалист по английской литературе, до сих пор собирает художественные произведения лауреатов сталинских премий, — такое вот хобби. И с точки зрения полноты истории литературы, и для того, чтобы лучше все понять, их еще будут перечитывать — тех, и других, и третьих. И слово «советский» остается — в качестве исторического термина. Скончался ихтиозавр, у которого советская литература была содержанкой. Ну и что? Говорят, из проституток получают великолепные жены...

Вот что, однако, интересно. Рухнула партия, перекрыт кислородный кран у идеологии, расползлась империя, которая рано или поздно должна была рухнуть. Разве не мечталось многим из нас, что так рано или поздно случится? И вовсе это не катастрофа, а здоровый, плодотворный процесс, очевидный и невидимый. Надписями на майках литературу не заменить. Нынешнее время — время понимания, переосмысления, стремления сохранить лучшее, недоуничтоженное варварами. Время злобы — но и попыток сформировать понятие добра, уважение к истине, общечеловеческую мораль, без которых недостижимо благо.

Уверен: время сейчас бедное по части еды и шмотья, но богатое для литературы. Не только потому, что старая власть,

прикинувшийся овечкой КГБ, и почти разогнанная цензура спасают свои шкуры и им не до контроля за пишущими. Но прежде всего потому, что плохого времени для литературы вообще быть не может по определению. А если и есть, то только для плохих писателей.

Думалось, литературные провалы неизбежны в пыточные тридцатые годы, в гниющие семидесятые и восьмидесятые. А поглядите, сколько написано и опубликовано. И еще не все исчерпано. Значит, одни пишущие предавались отчаянию и причитали, а другие спешили записывать, переснимать на микропленки убогой камерой «Зенит», понадежнее прятать и переправлять на Запад. Что же изменилось в литературной психологии? Пресытились? Судя по тому, что хорошие книги в Москве и сегодня достать непросто, немало жадных глаз ищет, что читать и какие книги оставить детям.

Конечно, в отдельные времена тучи сгущаются. В период теперь уже не великой Октябрьской революции резко подскочила вверх не только статистика смертности по насильственным причинам, но и число самоубийств. Такая же картина, не особенно афишируемая, в крупных городах России сегодня. Но никогда и ни в одной стране мира не происходило самоубийства литературы, которое сейчас видится тревожному взору нигилистов-критиков.

Мне кажется, призыв перейти от литературы к реальности (читай: от ума к желудку) автор статьи «Излечение от литературы» в личном плане может без труда осуществить. Для этого он, в соответствии с собственным прогнозом, может перестать читать и больше уделить внимания материальным соображениям. Означает ли это, что сам он, «закрыв литературу», написал свое последнее сочинение?

Свободы стало больше в хилой державе, меньше ограничений, при этом в общем литературном хаосе поток печатающейся чепухи, несомненно, вырос. В отличие от Н. К., забивающего гвозди в гроб Литературы (он даже слово это пишет с большой буквы, чтобы похороны выглядели импозантнее), я думаю, что литературный хаос — состояние естественное. Не будь хаоса разве стали бы авторы делать такие крайние заявления? Представьте себе статью такого культуролога в «Нью-Йорк

таймс бук ревью»: «Загаженные апельсиновые сады американской словесности нынче оказались выкорчеванными...»

Из статьи «Излечение от литературы» мы узнаём, например, что такое литература. Дураки-литературоведы (за что только деньги им платят?) две тыщи лет не могут кратко объяснить. А литература — это, оказывается, «ряд напечатанных литер, составленных в слова, которые в свою очередь составляли текст». Только и всего. «Составляли» написано в прошедшем времени, поскольку Н. К. литературу закрыл.

Так и в целом: литеры приняты им за глубинные духовные процессы, которыми в действительности живет сейчас большая литература; алкаш, рвущий на груди тельняшку, — за нежелающего бегать глазами по литерам читателя.

«Водя ручкою по белому листу», как автор «Излечения от литературы» изящно выражается, он пишет. Но ведь литература, с его точки зрения, умерла! Записав свои мысли, автор их отправляет публиковать. А значит, рассчитывает на читателей, которых, как он доказал в своей статье, уже нет.

Выходит, вопреки объявленной смерти словесности, литературный поток продолжается. Он вынес нам, между прочим, и эссе-некролог «Излечение от литературы».

Время на Руси сумбурное. А в смуту всегда тусуются нигилисты.

ХОРОВОДЫ ВОКРУГ МИФОВ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 3 апреля 1992

Наши нынешние споры о судьбах культуры в России приобрели фатальный характер, будто речь идет о конце света.

Диалог с московским писателем Н. К. был именно таким. Напомню, что в качестве новогоднего сюрприза он вынес смертный приговор литературе. Приговор, по мнению автора, приведен в исполнение, похороны состоялись. Однако, «аплодируя свержению кумира» (цитата), автор любезно разъяснил некоторые аспекты наблюдавшейся им деградации, а затем предсмертной агонии литературы.

Не стал бы я возражать, если б сказано было, что литература перестала играть несвойственную ей роль. Или автор хоть как-то классифицировал бы умирающую литературу. Нет, вся сдана на свалку скопом. Ранее не раз публиковались статьи о кончине литературы соцреализма. Н. К. взял шире и покончил со всей русской литературой вообще. Из статьи, однако, было неясно, что поставили на могиле: крест, звезду, могендовид или всё вместе. А может, прах литературы развеяли по ветру, чтобы о ней ничего не напоминало?

Примем во внимание, что в последнем каталоге книжного магазина Камкина в Нью-Йорке рекламируется книга Н.К. «Двойной альбом». В ней большой роман, трактуемый автором как «вызов нормативным литературным требованиям», и коллекция рассказов, которая «объединена сквозной темой — вечной темой «искусство и жизнь». Выходит, в бессмертии собственной прозы автор не сомневается, а над другими возвел могильный холм. Кому же он тогда бросает литературную перчатку? Статья его не филологическая (какая ж филология, ког-

да литературы нет?), а некрологическая. Так сказать, одной рукой пишет романы, другой готов их уничтожить за ненужностью.

Думаю, что мы с Н. К. члены одного Союза скептиков, только он в секции циников, а я — сдержанных оптимистов. Мои возражения ему* были, в сущности, продолжением размышлений о непростых отношениях русской литературы, государства и читателя, о литературных мифах и реальности, про что я много думал и написал пару книг. Все новые точки зрения мне интересны.

Не успели читатели осмыслить объявленную им кончину русской литературы, Н. К. опубликовал новую статью, в которой некрологические тенденции еще более расширились.** Оказывается, писатель зарегистрировал еще три смерти.

Смерть № 2. Вслед за литературой с интеллигенцией теперь тоже покончено. Поскольку материальные интересы вылезли на первый план, рабочие, военные и бюрократы смешались с «так называемой интеллигенцией», и все стали «средним классом». «Элита» (верхний эшелон партократии, генералы, академики и придворные деятели искусств) тоже вытеснилась в средний класс, «пока, наконец, сегодня она почти полностью не исчезла».

Смерть №3. Семья в России, оказывается, перестала существовать. В стране сегодня «тотальный инфантилизм» — как реакция на отмену идеологии. Раскрепощенным людям кажется, что они будут жить вечно, — чего ж жениться? И при этом — бум порнографии. Вывод: «И то, и другое вместе практически разрушило семью».

И наконец, смерть № 4. Конечно, «государство рухнуло в одночасье», что, особенно вблизи, кажется более или менее очевидным. Однако все это, как говорил один знакомый портной, сидит уже почти хорошо, но еще немножечко совсем не по вам. Как и с литературой, тут все огулом.

Что касается интеллигенции, то большевики эту категорию хоть как прослойку держали, теперь же она в целом, если пола-

* Тусовка для нигилистов // Новое русское слово. 1992. 21 янв.

** Средний класс и возможность действия. Новое русское слово. 1992. 4 февр.

гаться на мнение московского автора, не требуется: спросу нет. Так ли это?

На деле интеллигенция мечется, она без пристанища, она голодает больше других, но она никуда не делась. Если г-н Н. К. хочет проверить свою концепцию, могу его познакомить с интеллигентами в Москве и Санкт-Петербурге (их много) и с социологами, изучающими современные проблемы интеллигенции. Да и насчет «вытеснения» бывшей элиты из кресел у меня большие сомнения. Она-то и есть пока тот хамелеон, который сменил окраску, но все еще решает многое.

Семья... Неужели и это советский миф, который лопнул, как мыльный пузырь? Институт семьи стал разрушаться, как известно, в России после революции в страшных масштабах, особенно в периоды коллективизации, большого террора и войны. Смешивать недавно объявленный факт минусовой рождаемости, превышение числа разводов над числом браков, а тем более порнографию и демографию, делая вывод, что семья разрушена, можно только журналистам, для которых свобода печати означает свободу от достоверности фактов. Для опровержения достаточно позвонить в семьи знакомых и убедиться, что мужья, жены и дети на месте.

Государство рухнуло? А разве рухнуло оно в феврале 17-го? А в октябре того же года? В том-то и основная трудность происходящего, что оно не рухнуло ни от революции снизу (хотя Ленин обещал), ни от революции сверху (хотели скелет сохранить), а все время, выворачивая наизнанку идеологии, как Змей Горыныч, отрачивает новые головы. Многие индивиды лишились государственной опеки, это правда. Но даже у родной матери кончается молоко, и надо расти самому.

Мысль о том, что все умирает, проистекает, мне кажется, от ощущения таким интеллигентным человеком, как Н. К. (хотя интеллигенция умерла), хаоса происходящего, и я его тревогу разделяю. Однако, насколько я могу разобраться в молниеносно рождающихся крайних соображениях г-на Н. К., они отражают мысли и настроения не его лично, но определенного слоя людей. Давеча я называл их по старинке нигилистами. Похоже, он принял термин. Происходящее, пишет он в своей следующей статье, «избавляет от ответственности, от ощущения гра-

ни бытия и небытия, вселяет в души легкомысленный нигилизм, замешанный на чрезвычайной наивности».

Одна из самых злободневных частей второй его статьи называется «Трагедия нонконформизма». Раньше все считали трагедией советского общества конформизм, но не отрицалось наличие социальной жизни, значение оппозиционной роли диссидентства, антигосударственной активности даже в советский период. Теперь нам объяснили, что ничего этого не было и, тем более, нет теперь. Оказывается, все это выглядело так, «как бунтует жена, на самом деле полностью зависимая от мужа». Только и всего. Что имеет в виду автор? Академик Сахаров был такого рода «женой»? Или, может, писатель Солженицын? Разве теперь дух нации сведен только к тому, что индивид не знает, «где право, где лево»? И сверх всего, оказывается, думать теперь нация не может, некому да и не надо...

Возможно, Н. К. искренне не подозревает, чьи взгляды он выражает: они висят в воздухе, которым дышит его поколение. Хотел бы оказаться неправым, но сподвижники этого писателя кажутся мне, так сказать, позитивными нигилистами, устремленными вперед. Нигилизм для них — просто стартовая площадка, переходный этап из ничего во всё. Отрицание для них — расчистка места, чтобы окопаться, занять рубежи, а затем заявить о себе и создавать то, что они хотят. Если они знают, чего именно хотят.

Вовсе не бросаю на них тень. Сам через эти взгляды прошел и даже им симпатизирую, — им, но не их методу. Протест их сиюминутно логичен. В разных странах это бывало, даже во Франции и в США. Но метод их действия, их, как говорится в упомянутой книге Н. К., «вызов», вполне отечественный, и другим, похоже, он быть пока не желает: скинем кого надо с парохода современности.

Кто же те, кого надо скинуть? «Генералы от литературы лишились тиражей и почестей», — пишет этот автор. Генералы от партии, науки, искусства, само собой, тоже. Но этого недостаточно. Стремящимся вперед молодым надо доказать, что не только раньше все было плохо, но, что важнее, именно они, не замаранные компромиссами с бывшей властью, и только они, а не семидесятники, не бывшие политзеки какие-нибудь, вроде

недопосаженных диссидентов, и не Запад, — именно они смогут все сделать хорошо.

С одной стороны, они не комсомольцы, с другой — беспокойные сердца. И им мешают «пережитки». Поэтому семья, которая их вырастила, была плохая и больше не требуется. Поэтому мыслящая часть общества — интеллигенция — сравнялась с «пролами», то есть с рабочими, и расплылась. Поэтому государство, которое было отвратительно, умерло. Наконец, литература, и это для новых писателей главное, вся была лживая, колосс на глиняных ногах, и рухнула. Простые писатели (не генералы) там как бы не существуют или тоже все коллаборационисты. Теперь молодые будут создавать подлинную литературу, ни на что не похожую, но они же, по Н. К., будут становиться и бизнесменами, и бюрократами, а некоторые, возможно, превратятся в нового типа интеллигентов в новом государстве и даже в новых буржуа.

Люди нового типа... Слова эти произнесены. «Новая «демократическая» элита, — пишет он, — таковой себя еще не осознала». Новые люди... Ведь мы уже сыты. А на деле? Так ли уж всё сводится под корень, как видится этому московскому писателю?

Государство никуда не денется, и в нем, несмотря на заклинания, не все умерло, разумеется. Останутся, Бог даст, и культурные институты, отбросив имперскую и советскую идеологию. И если это будет цивилизованное государство демократического типа, то все в нем будет всякое, и при том сбалансированное, как в любой западной стране, если... новые люди, так сказать, строители мрачного будущего, не будут считать себя особой породой, наиболее прогрессивными, новой элитой, etc. И если они не станут сперва все разрушать, а затем захватывать силой власть.

Топтать без разбора доперестроечную литературу аж до Кантемира, чтобы самоутвердиться («литература вышла в тираж», по Н. К.), — это сейчас одно из самых модных занятий среди литературной и окололитературной молодежи в Москве и Петербурге. Одна из тенденций — самая что ни на есть клубничка — выкинуть из прошлого диссидентскую литературу, виновную в попытках найти компромиссы с властями, и самим вскарабкаться на освободившийся пьедестал. В сущности, стиль

топтанья предшественников на перевалочных пунктах развития заимствован из обширного арсенала агитпропа. Молодые писатели не виноваты, так их учили в советской школе. Но — позволю себе подчеркнуть — учили отнюдь не только на уроках литературы.

Именно на сей счет своим мнением поделился С. Я.*. Вот основополагающие взгляды на отечественную историю, литературу и культуру в целом, бережно выписанные из его труда:

Во-первых, «русско-советская культура — культура параноидальная».

Во-вторых, «эта литература — род массового психоза».

В-третьих, «советское общество — общество параноиков».

В-четвертых, «деятели русской литературы — люди ненормальные».

В-пятых (прошу извинения за то, что для экономии дефицитной газетной площади сокращу), писатели — люди с гипертрофированным тщеславием, оставшимся с подросткового возраста; они (и профессиональные читатели вместе с ними) спасаются в выдумках от своего ущербного бытия. Последнее касается, правда, не всех писателей, исключение — Зощенко и Бабель, у которых было «отсутствие гордости за свою литературную профессию».

К указанным выше примыкают и другие принципиальные обобщения данного мыслителя. Идеологические мифы, партийные лозунги и просто стереотипы мышления С. Я. называет одинаково «брехами», а интеллигенцию «вяло рефлексирющей». Становится ясно: причины ушли в область психиатрии. Впрочем, компетентен ли автор в этой области? Отдельных деятелей прошлого он считает «свихнувшимися», про других говорит, что их «свела с ума» литература. А свои взгляды называет то диагнозом, то анамнезом.

Написано это не сгоряча в пылу полемики. С. Я. подчеркивает, что высказал эти свои убеждения в письме в «Новое русское слово» еще полтора года назад, и никто ему тогда не возразил. Это укрепило его уверенность в том, что его картина мира адекватна.

* Поле чудес страны // Новое русское слово. 1992. 19 февр.

Вообще-то, она не нуждается в комментарии. Но, как говорил покойный президент Джон Кеннеди товарищу Аджубею, «я позволю себе заметить, не вступая, однако, в спор». Если говорить серьезно, то «психический подход» к явлениям уместен за столом, а не в публикации. Специалисты давно пришли к выводу, что крайне рискованно считать даже отдельных деятелей прошлого психически больными. В противном случае всем крупным фигурам истории можно приписать с точки зрения сегодняшней медицины любые психические болезни. Очень хочется объявить параноиком Сталина, но даже этот, казалось бы, очевидный факт все еще нуждается во множестве аргументированных доказательств, не говоря уж о массовых ярлыках. Наш советский опыт призывает быть осторожными с психиатрическими терминами.

Другой аспект размышлений С. Я. можно назвать болезненным сведением счетов с литературой вообще. Оговорив, что «литература — важный и интересный культурный феномен» и это «глупо оспаривать», он сам сочиняет формулы и сам их опровергает. «Литература — соль жизни — это, извиняюсь, бред». «Литература — основа нравственности — это опять бред». Сложные вопросы психологии творчества, вдохновения, теория искусства, социология чтения и воздействия книги, то есть все то, чем серьезно занимаются во многих странах компетентные люди, — в объяснении моего оппонента просто «бред», и такой взгляд напоминает мысли подлинно пролетарских писателей в советском журнале «Литературная учеба» 1930-х годов. Чтобы принизить значение литературы, С. Я. называет союзы авторов, писательские общества, клубы и объединения «кружками», будто все они при домоуправлениях. Впрочем, это естественно проистекает из его представления о литераторе как о тщеславном бумагомарателе.

Н. К. утверждал, что литература в принципе закончилась, она нужна теперь только для того, чтобы «научиться готовить макароны по-флотски или овладеть мастерством кройки и шитья». Это и побудило меня взяться за перо. С. Я. в противоречие с Н. К. объяснил нам, что мораль и идеология теперь будут отдельно, а литература отдельно, что учителем жизни литера-

тура не является. С этим я почти согласен, тем более, что именно об этом опубликовал большую статью пару лет назад.*

Писал я там о роли литературы в тоталитарной стране — роли мифической и реальной, и о переходе литературы из одного состояния в другое. Не хочу повторяться, прошу извинения за то, что вынужден процитировать сам себя: «Литературное слово не лечит, не исправляет и не помогает ни партиям, ни государствам... Насчет того, чтобы пророкам глаголом жечь сердца людей, Пушкин, мне кажется, слегка погорячился. Пророки в нашем отечестве обращаются за реальной помощью к охранке. И вообще, сердца читателей надо беречь. Слово (и правдивое, и лживое) субъективно, и за это нравится нам или нет. Оно только выполняет свою функцию: оно ри-су-ет».

От русской литературы С. Я. переходит к анализу всемирной истории. С той же непринужденностью, с которой он навешивает медицинские термины, он манипулирует и понятиями в этой области. Такие разнопричинные и комплексные явления, как крестовые походы, марксистское учение и причины Первой мировой войны только в обывательском споре на кухне можно соединить названием «массовые психозы». С. Я. добавляет: «В этот ряд следует поставить и психоз русско-советской литературы». А именно: «Литература — род массового психоза, овладевшего массами и ставшего материальной силой».

Неясно, что в этой формуле автор считает материальной силой — массовый психоз или литературу? Но в любом случае это — типично советский идеологический миф, в котором то партии, то советам, то электрификации, то химизации, то науке отводилась роль материальной силы, способной вытащить буксующую систему из канавы. На деле же, как показывает статистика, и до революции, и в течение минимум десяти лет после нее тиражи художественной литературы были слишком малы, чтобы ее читали массы. Да и потом массы, хотя им и вдалбливали: «Равняйся на Павлика Морозова (Веру Павловну, Рахметова, Корчагина, молодогвардейцев... продлите список сами)», — массы делали это из карьерных соображений, а, по сути, боль-

* Власть и слово // Новое русское слово. 1990. 9 июля.

ше интересовались продуктивно-шмоточной идеологией, чем литературой. Грамотность стала массовой, да, но «читающие массы» — это всегда был миф, и только большевистские идеологи и г-н С. Я. утверждают, что это правда.

Перефразирую классика: мне кажется, слухи о роли литературы в политической истории сильно преувеличены. Литература столько же способствовала политическим заблуждениям или порождала застарелые русские болезни, сколько была нейтральной. (Особый разговор о том, что историю литературы изуродовали, как и все остальное, пытаясь изобразить участие ее в выгодном кому-то деле.)

С таким же успехом можно сказать, что литература противостояла заблуждениям («массовым психозам»). Взять для примера «Бесов», или «Историю одного города», или «Мы», или «Архипелаг ГУЛАГ». Не литература способствовала захвату власти в Париже в 1789-м и в Петрограде в октябре 1917-го, как считает С. Я., а конгломерат сложных обстоятельств, включающих, среди прочего, и печатное слово, — таких обстоятельств, отметить которые — значит примитивизировать историю ради эффектной газетной фразы.

Только для политической модели умирания литературы Н. К. понадобилось золотой и серебряный века русской литературы сменить на нынешний, который он назвал фанерным. Звучит остроумно, но к реальности не имеет отношения. Для этого же С. Я. подкрепляет свое утверждение цитатой об ищянии русской поэзии к 70-м годам XIX столетия.

Но есть и другое мнение: поэзия в начале следующего столетия поднялась опять. Двадцатый век русской литературы, что признано и в мировой культуре множеством славистов, не уступает первой половине XIX ни в прозе, ни в поэзии. Богат XX век не только грехом литературы перед Россией, участием в отравлении сознания, сожительством с коммунизмом, созданием трухи, как справедливо доказывают оба моих оппонента, но и в такой же степени полезностью литературы для развала колосса. Если она участвовала в создании утопии, то также она участвовала и в ее разрушении. И просто чистой литературой богаты и XIX, и XX века. Или, может, если чуть продлить логи-

ку моих оппонентов, чистая литература появляется на свет благодаря Горбачеву?

«Россия... не имела своих выдающихся государственных деятелей, которые осуществили бы общественные чаяния», — пишет С. Я. Полноте, откройте любой учебник истории, кроме стандартного советского, и обнаружите вереницы таких общественных людей (у которых, кстати, тянут идеи нынешние политики и экономисты, без ссылки на первоисточники, разумеется). И увидите несомненный прогресс, вполне адекватный западному развитию.

«Русская интеллигенция... пустилась в массовое и длительное фрондерство», — полагает С. Я., вслед за Н. К. обвиняя огулом несколько поколений и подкрепляя свою мысль цитатой из недоучки Ленина, у которого, как известно, можно найти любые соображения — и за, и против чего угодно.

Часть интеллигенции соучаствовала. Но надо ли перечислять множество таких интеллигентов разных времен, которые «не пустились», которые умело и умно сотрудничали с правительством, что С. Я. наблюдает только в истории западных стран и отрицает в России? Ведь «массовое фрондерство» интеллигенции — тоже коммунистический миф.

Согласно тому же Ленину, построившему лестницу из трех ступеней революции, в первой ступени орудовали декабристы. Лишь сравнительно недавно удалось точно подытожить, что декабристов было 337 человек, только и всего. Никто еще не знает, сколько членов партии большевиков было перед Октябрем, ибо все пока опубликованные цифры липовые, но даже и они незначительные. Тех, кто не принимал участия в «массовом психозе», было много. Их Ленин изгонял из страны, а потом Сталин уничтожал в лагерях. После революции покинули Россию свыше восьмидесяти процентов писателей. Они что — и за границей участвовали в создании литературы «массового психоза»?

Странным образом, сперва категорически не согласившись с моим взглядом на смерть литературы в России, г-н С. Я. приходит в конце к тому же выводу, простому, как глоток воды: «значение литературы глупо оспаривать» и «речь идет о злоупотреблениях, которые сопутствовали литературе». Литера-

тура — огромный, многообразный, животрепещущий организм, и сваливать все в одну яму — хоронить ли, всю ли обвинять в мифологическом сознании, напрочь ли отрицать ее возможное влияние на читателя (для меня лично сомнительное) представляется неправильным. Ясно, что время от времени отдельные ветви литературы отсыхают, что жизненные катаклизмы меняют ее функции и место в обществе, — это азбука. Но литература выживала не раз в трудных обстоятельствах; выживет, по моему убеждению, и теперь.

Тем более наивно, ставя традиционно русский роковой вопрос «кто виноват?», валить все на литературу. Приписывать вину за провалы политики то евреям, то погоде, то литературе, как это всегда делала Софья Власьева — дело привычное. А литература как народ: она разная, она не может быть вся плохой или вся хорошей, она не может вся умереть, не может быть вся виновата.

И последнее. Совсем не обязательно свою точку зрения внедрять с агрессивностью, будто классовый враг хочет эту точку зрения экспроприировать. Давайте в споре вместо «не хочет понять» употреблять выражение «думает иначе». Мы ведь не в редакции газеты «Правда» сталинских времен. Что касается предмета дискуссии — русской литературы, то она обитала и обитает в нормальной стране, хотя все еще полной предрассудков. Впрочем, С. Я. (см. пять приведенных выше цитат из его статьи) думает иначе: литература вышла из палаты № 6.

УРОКИ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Страницы воспоминаний

«Литературные вести», Москва, 1999, № 39

В годы моего детства Василий Гроссман считался официальным советским классиком, и помню, как, стоя у доски, я рассказывал учителю о его военной прозе. А увидел я его впервые дома у нашего профессора Степанова, где бывал, поскольку его сын Леша учился со мной в одной группе. Увидел как достопримечательность, если хотите, живую страницу учебника по советской литературе. Николай Степанов жил рядом с Гроссманом на углу Беговой и Хорошевского шоссе, и они часто общались. Помню, Степанов, представляя его как друга, шутил, что у них даже один номер телефона, хотя и с разными добавочными. Гроссман пил чай и разговаривал с нами, студентами, а мы его разглядывали. Это было начало пятидесятых.

В дом к Гроссману меня ввела Наталья Роскина, дочь пропавшего в самом начале войны литературного и театрального критика Александра Роскина. Ополченцев необученными и безоружными бросили под танки. Мать Наташи еще раньше погибла под трамваем. Василий Гроссман и Роскин были друзьями, обоих пригрозил или, как тогда по-советски говорили, «дал путевку в жизнь» Максим Горький, призвав, правда, Гроссмана писать не правду, но — партийную правду. От Наташи я знал, что ей было четырнадцать лет, когда она осталась сиротой, без отца. Гроссман — единственный из многочисленных друзей Роскина — разыскал ее и стал выяснять, как ей помочь: предлагал деньги и книги. Он и потом опекал ее, и она бывала у него часто, до конца его дней. Верный в дружбе, он, кстати,

написал статью о Роскине, которую не напечатали из-за «мрачности красок».

Судьбе угодно было так замотать клубок, чтобы в Наташу влюбился Николай Заболоцкий. Когда он написал ей записку: «Я п. В. б. м. ж.», она без труда ее расшифровала: «Я прошу Вас быть моей женой». И смутилась.

— Простите, — сказала она, — насколько я знаю, у вас есть жена.

Заболоцкий ответил, что жена от него уходит к другому. Этим другим оказался Василий Гроссман.

Не хочу углубляться ни в личную жизнь Роскиной, ни Гроссмана. Но коль скоро я коснулся родственных связей, то дядя Роскиной Юджин Рабинович, эмигрировавший после революции, оказался известным американским ученым-ядерщиком, который не просто отошел от дел, но и стал протестовать против применения атомной бомбы — и тут мы увидим нить к одному из героев главного гроссмановского романа. У большого писателя все подчинено литературе, включая родных, друзей и врагов.

Моя мать работала в АОРе — Архиве Октябрьской революции, размещавшемся в полуразрушенной церкви на Кадашевской набережной. Название архива, конечно, плутоватое, ибо все секретные документы хранились в больших партархивах, а тут в основном материалы госучреждений, да и то не самых важных. Студентом я тоже в этой богадельне подрабатывал: лазил по полкам, искал и носил тяжелые дела советских канцелярий двадцатых—тридцатых годов. В архив приходили люди, вышедшие из лагерей, чтобы им помогли восстановить трудовой стаж для получения пенсии. Они тихо стояли в очередях за справками, как за баландой. У матери завязывалась дружба с такими людьми, некоторые приносили почитать рукописи — крик души и сердца. Она часто брала домой документы для работы или просто мне почитать, под документами лежали эти крики души.

В начале февраля 1961 года моя мать принесла в хозяйственной сумке две тяжелые папки, связанные тесемками. Титульной страницы не было. Я начал читать про немецкий концлагерь с прохладцей, но быстро втянулся и читал полночи, а по-

том еще полтора дня. Только один раз потом у меня было состояние такого же шока: когда ко мне попал «Архипелаг ГУЛАГ». Мать не знала автора анонимной рукописи, но герои были мне знакомы по роману «За правое дело», и у меня возникли подозрения. Ведь кое-что из романа печаталось в периодике, и дома были разговоры, но, конечно, из тех публикаций ничего серьезного нельзя было извлечь.

Через три дня мать рукопись увезла, притащила от знакомых что-то новое. А недели через две она пришла встревоженной. У ее подруги-машинистки, которой она много лет давала перепечатывать архивные материалы, когда у той была нужда в деньгах, и которая дала ей почитать те две папки, был обыск. Василий Гроссман сам с чекистами приезжал к машинистке, и они забрали рукопись. Страх поселился в нашем доме: хотя мать на словах пожалела, что рано вернула две папки, не исключено, что от прижатой к стене машинистки гебешники направились бы к нам.

Сейчас думаю, что я не был готов к чтению. Не хватило ума и жизненного опыта оценить то, что я довольно быстро, не останавливаясь, прочитал. Ведь Гроссман старше меня более чем на четверть века, и какого века! И как далеко опередил живущие с ним поколения. Забегая вперед, скажу: зато уж когда читал «Все течет» в начале 71-го, семя попало в подготовленную почву.

Прошло два года. Был я сопливым журналистом, делал интервью, чаще всего без подписи, с известными людьми, в частности с атомщиком академиком Арцимовичем, который вдруг мне сказал, показывая современные картины дома на стенах: «Опять травят писателей. Теперь взялись за Гроссмана. Нет уж, лучше быть физиком». Я плохо разбирался в кухне того, что можно и чего нельзя: мне только начали давать пинки и завораживать написанное. И загорелся мыслью сделать интервью с Василием Гроссманом.

Наташа Роскина привела меня к Гроссману в маленькую квартирку у метро «Аэропорт», куда Гроссман недавно переехал (я тоже жил недалеко). Сегодня понимаю, что ему потому и дали квартиру в писательском кооперативе на «Аэропорте»,

чтобы было удобнее следить за входящими и выходящими. После незначительного разговора о самочувствии и детях, Наташа сама объяснила хозяину цель моего визита.

Василий Семенович посмотрел на меня через очки с толстыми стеклами, как смотрят в зоопарке на диковинное животное, и засмеялся довольно язвительно.

— Вы что, с луны свалились, молодой человек? Кто же вам разрешит это напечатать?

— Попробую...

— Он попробует! — воскликнул Гроссман. — Да если и разрешат, то выкинут всю суть дела... Нет уж...

На том интервью закончилось.

Некоторое время я колебался, открыться ли, что прочитал его рукопись. Названия «Жизнь и судьба» я не знал, а про «Все течет» тогда и не слышал. Сказать — значило подставить его машинистку, не сказать — еще хуже. И я рассказал. Он слушал внимательно. Потом сухо, без всяких осуждений, заметил:

— Теперь это носит чисто теоретический характер...

Мне показалось, что ему было интересно спрашивать про мою работу — не газетную, нет, но — в архиве. Про справки бывшим зекам, вообще, о кухне архива, в котором меня держали на побегушках. И — оказалась возможность высказать сильные похвалы его прозе и как она на меня воздействовала. Я сказал:

— Стыдно стало писать всякую ерунду, когда существует такое...

— Такое не существует! — возразил Василий Семенович, акцентируя первое слово.

Между прочим, Наташа Роскина, услышав, что я волей случая рукопись романа прочитал, обиделась, потому что Гроссман обещал ей дать читать роман, но не успел: подарил чужим дядям.

Непросто говорить о Гроссмане после выхода книг Семена Липкина, Анатолия Бочарова, сборника документов и воспоминаний, созданного Валентином Оскоцким. Трудно не согласиться с Липкиным, который заметил, что приключения Грос-

сманя выявляют черты нашей литературы и — шире — нашей страны.

Для меня он Великий Скептик. Вспоминая его, Роскина говорила, что он последний раз улыбнулся перед Второй мировой войной. Он легко обижал людей, а на самом деле грубость была результатом борьбы с собой, его назойливого стремления быть честным в жизни, как в тексте. Тогда первое было значительно трудней второго.

Во время войны Гроссман стал на короткое время вполне признанным властями, был избран в правление Союза писателей, а туда лица без доверия, «не наши» не допускаются. Соцреализм оказался камуфляжем, который он отбросил.

Примечательный роман «Степан Кольчугин» есть недосостоявшаяся попытка выйти из рамок той литературы, еще одна книга-жертва системы. Это почувствовал Сталин, назвав роман меньшевистским. Ведь отец Гроссмана был меньшевиком, — не к отцу ли уходят корни главного характера? Если бы вторая часть была написана, герой, честный, думающий коммунист (то есть не коммунист вовсе!), по логике вещей должен был бы пойти по этапу. Я не очень любил эту тематику, где партия ведет народ к победе, но если партия ведет народ в тартары — это уже литература.

«За правое дело» лишь внешне советский роман. Есть в нем места — дань времени — о превосходстве советской идеологии над фашистской. На деле, по сути — это был прорыв к настоящей прозе, почти немыслимый в те годы. Сквозь мишуру дежурных слов в романе проглядывают и лагеря, и колючая проволока, и несчастные кулаки. Не случайно его так долго мытарили, заменили название «Сталинград», добавили «правильных» героев. Кстати сказать, название «За правое дело», по мнению Липкина придуманное Твардовским, сегодня в силу политической ситуации в России звучит гораздо лучше, чем тогда.

Путь Гроссмана — это мучительный и поучительный процесс превращения советского писателя в нормального. Советским он по совету начальства спокойно вставил в роман «За правое дело» главу о Сталине. Гроссман признавался в любви к Ленину, о чем вспоминает Эренбург. Было такое поветрие.

Но, поняв суть этих игр, «поднялся» к негативизму по отношению ко всему большевистскому. Жизнь, которую мы проживали, была материалом для всех, но материал этот использовался в зависимости от моральных качеств и ответственности каждого писателя. Конформистам было слаще и спокойнее. Единичицы выбирали рискованный путь. Плата была дорогая: молодым не давали состояться, зрелых преследовали и замалчивали. А он уже писал главные книги своей жизни.

Передо мной первое издание «Всё течет»: «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970. Оно, благодаря связям с иностранными репортерами, быстро попало ко мне в Москву, и я сам его переснимал стареньким «Зенитом», страница за страницей, а потом печатал пять копий (на большее не было денег купить фотобумагу). Теперь я прошу прощения у автора и издателей за нарушение копирайта. «Всё течет» пытается, в частности, ответить на вопрос: почему репрессивному аппарату удалось так легко сломать волю закаленных людей, которые прошли царские тюрьмы и революцию. Уж они-то понимали, что за фрукт Сталин! У Гроссмана не было ответа, но не просто правду об эпохе, а философское осмысление эпохи искал Гроссман, до конца жизни совершенствуя эту повесть.

Мне кажется, в лучших своих вещах Гроссман близок, в первую очередь, не Толстому, как часто пишут, а жесткому прозаику Золя, которого, если я не ошибаюсь, он читал в подлиннике, — в детстве мать выучила его французскому.

«Жизнь и судьба» — роман о тоталитаризме как о всемирном зле, и вряд ли можно найти в мировой литературе двадцатого века более злободневную тему. Роман стал классикой. Не той классикой, которую, по выражению Честертона, хвалят не читая, но той, которую многим еще предстоит изучать, чтобы понять мир, в котором мы живем. Парадокс романа в том, что он актуален, он парит над временем, в нем описанном, ибо даты меняются, а человеческая натура, добро и зло сожительства в нас, гидра многоголовая и всемирная. Третью сознательной жизни я в Америке, путешествую по глобусу и вижу эту тенденцию везде. Даже там, где сейчас нормально, есть риск, есть тенденция и силы для отката назад. От этого человечеству никуда не деться.

Предвижу возражения, но скажу, что думаю. Мне кажется, название романа «Жизнь и судьба» — не самая удачная находка Гроссмана. Слово «жизнь» настолько всеобъемлющее, что лучше подходит к названию в сочетании с чем-то конкретизирующим: «чья-то жизнь» или «жизнь для...». «Судьба» — тоже слово слишком общее, к тому же смысл слова «судьба» таков, что это слово частично покрывает слово «жизнь». Название «Жизнь и судьба» можно приложить к любому произведению: к «Одиссее», к «Анне Карениной», даже к «Даме с собачкой»... Но вот феномен настоящей литературы: проходят годы, и название книги как бы перестает иметь смысл, становится этикеткой — ведь не может нравиться или не нравиться название реки, планеты, хорошего вина. Стало быть, и название «Жизнь и судьба» теперь от этого романа не оторвешь, оно пустило корни, приросло.

Чтобы понять себя и время, думаю о сходстве и разнице судеб гроссмановского и моего поколений. У нас действительно много общего, даже биографически. Гроссман писал за кого-то роман, чтобы выжить, и я писал для детей и про детей, чтобы заработать на хлеб; ему отказал Твардовский в «Новом мире», и мне отказал Твардовский, сказав, правда, искреннее: «Весь процент непроходного занял Солженицын, и тебе места не осталось».

Маленький пример: у меня в романе «Ангелы на кончике иглы» главный идеолог Михаил Суслов — «товарищ в плаще, который предпочитает быть в тени» — гротескная фигура, серый идеологический кардинал, который крутит ручку машины Лжи, управляя всей советской прессой. А Гроссман в жизни лично идет на прием к живому Суслову ходатайствовать о возвращении собственной рукописи. Над моим поколением уже тяготеет «Не верь — не бойся — не проси». А Гроссман, при всем уважении к нему, еще верит и просит.

Правда войны и послесталинская оттепель формировали Гроссмана. Нас формировала уже не оттепель, а ее закат, он сделал нас скептиками. Разница между Гроссманом и мной в том, что он хотел жить и печататься в системе. Его в Союзе писателей считали своим, а меня чужим, и собратья по цеху писали на меня рецензии-доносы на Лубянку, где, убрав имена,

мне их на допросе показывали. Начав писать для Самиздата и печататься за границей, я уже стыдился напечататься внутри. Мне казалось, что на меня будут показывать пальцем: вот, он раздвоившийся коллаборант!

Быстро менялись взгляды. Важным моментом стала Чехословакия 1968 года. Надежда была, что после Пражской весны будет весна Московская. А наступила Московская осень — террор против интеллигенции, мрак. В моих «Ангелах на кончике иглы» система закручивает гайки, возвращаясь к темным временам. Гроссман рассчитывал на публикацию внутри: просили дописать главу о хорошем Сталине, и он это сделал в нужном властям ключе. А мои сверстники уже не рассчитывали напечататься, писали с максимальной свободой выражения, писали о Сталине, но совсем в другом ключе. Гроссмана затравили. А я случайно выжил. Если бы Гроссман пожил дольше, как мои старшие товарищи по цеху Семен Липкин и Лев Копелев, он написал бы великолепные вещи. Если бы... Но не дали ему написать.

Оглядываясь в прошлое, пытаюсь сейчас рационально спросить себя: а что дал идущим за Гроссманом русским писателям его жизненный опыт борьбы одиночки с тоталитарным монстром?

Первым уроком была и остается сегодня трагедия Гроссмана, пойманного властями врасплох. Всю историю с изъятием рукописи гебешниками я знал до мельчайших деталей через Наташу. Прямой человек и честный, Василий Семенович показал пришельцам с планеты Лубянка, где все копии его рукописи. Честность эта обернулась наивностью. Он, провоевавший всю войну, всё нам про это в текстах объяснивший, сложил оружие к ногам душителей свободного слова, добровольно помогал им все конфисковать.

Другой урок Гроссмана для меня состоял в том, что, пока живешь в этой стране, доверчивости нет места. Нечего и думать нести серьезную рукопись в советский журнал или издательство. Слишком велик риск, что несешь не туда, и получается вовсе не гражданский поступок, а примитивный самодонос. Он ругал Тамиздат, книги, которые удавалось заполучить из-за границы, считая, что авторы на свободе должны писать

больше правды и подавать ее острее. Это верно, но требовать от других всегда легче, чем поступать самому. Он был смущен, когда его напечатали на Западе, говорил, что главное — печататься здесь, то есть на родине. Это, может, и справедливо, но руководство Союза писателей, журналы и издательства напрямую связаны с «теми, с кем надо». Ясно было, что приходится писать в стол, а если хочешь идти к читателю немедленно, то напрямую: началась эпоха Самиздата и переправка рукописей через кордоны.

Шесть-семь копий на папиросной бумаге раздаются друзьям, а от них их знакомым. Прятать написанное, причем копии в разных местах, желательно через посредников, чтобы ты сам не знал, где они хранятся, и только потом давать читать. Собственные рукописи, в том числе роман «Ангелы на кончике иглы» (об этих самых тайных связях журналистики с Лубянской), я хранил и переправлял с учетом трагедии Гроссмана. Инстинктивно мы действовали не так, как Гроссман (мои пакеты знакомая вывозила к брату в Вологду). Лишь позже я узнал, что мы Гроссмана недооценили. Он тоже спрятал «Жизнь и судьбу» у приятеля в Малоярославце.

Всё мое, включая черновики, переснималось стареньким «Зенитом» на фотопленку. Восемь машинописных страниц раскладывались на столе и влезали в один кадр, перфорация обрезалась ножницами. Переснятый четырехсотстраничный труд становился размером с ноготь большого пальца. С случаями, например, через западных священников, навещавших отца Александра Меня, или иностранных туристов, это вывозилось на Запад, там хранилось у друзей, от них поступало к издателям. Явиться за романом в штат Миннесота чекистам было рискованней.

Опыт Гроссмана помог. Только одна моя рукопись за двадцать лет оказалась перехваченной при обыске у Георгия Владимова. И еще одну выкрали чекисты из моей квартиры у того же метро «Аэропорт», когда нас не было дома. В тот же вечер американку-славистку в сквере возле метро двое затащили в кусты и хотели изнасиловать. Не сделали этого, но пригрозили ей: «Если еще раз в квартиру 55 на Усиевича пойдешь, доделаем дело!» Она пришла к нам в разорванном платье и в одной

туфле. А меня при допросах на Лубянке арестованными текстами запугивали:

— Что-нибудь опять опубликуете на Западе — учтите, что вы живете в свободной стране, и мы дадим вам свободный выбор: хотите в психушку, а хотите в лагерь.

Могли это сделать легко, но решали, что им выгоднее. Ведь копии были уже переправлены, а завещание (в случае ареста опубликовать не выборочно, а сразу все) мы не таили.

Третьим уроком Гроссмана была и остается сегодня его острая приверженность к правде, в том числе неприятной правде, совести и справедливости. Он искал истину на войне, в коллективизации, в семье, с поредевшим кругом друзей, даже в болезни и смерти, ибо он умирал мужественно. Мне скажут, что это просто традиция большой русской литературы. Но традиция, разрушенная десятилетиями лжи и восстановленная Гроссманом и Солженицыным. Солженицын излагал свой лагерный опыт — Гроссман не сидел. Но зато он своими глазами видел оба режима: сталинский и гитлеровский. Можно представить себе, какого труда стоил для него сбор живого материала о чужом лагерном опыте.

Впрочем, напряженное стремление к истине — путь не для всех писателей, тем более тех современных, кому в условиях сегодняшнего почти безопасного сочинительства постмодернистские игры важнее сути дела. Но в большой литературе личность писателя, его мораль и принципы, болезненная жажда постичь, где добро и где зло, столь же важны, сколько то, о чем и как он пишет.

Четвертым уроком была действительность, понимание реальной ситуации в стране и обществе: после чтения рукописей интерес интеллигентного читателя к советским печатающимся авторам падал. Новое поколение искало Сам и Тамиздат, спорили и говорили только об этом. Вот анекдот той поры. Мать спрашивают: «Зачем вы перепечатываете на машинке «Войну и мир»?» — «А сыну велели в школе прочитать, но он читает только Самиздат.»

Гроссман, в отличие от многих других советских писателей, вырвался из костлявых объятий соцреализма. Со своими горьковскими заветами совписовские кадры просто выглядели

жалкими. «Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: «Человек — это звучит гордо!» Сказал-то это Горький, а процитировал с иронией Гроссман в романе «Все течет», говоря о стукачах. Гроссман хоронил советскую литературу, из которой сам вышел.

Мы живем в странное время, когда жизнь писателя, его судьба и приключения его рукописей не менее захватывающи, чем сами книги, которые он написал. Это вполне можно сказать о Гроссмане. Лев Аннинский верно заметил, что жизнь и судьба Гроссмана — это несколько детективов. Написать бы «Роман про роман» об авторе «Жизни и судьбы», скажем, в стиле Анри Моруа.

«Они любить умеют только мертвых», — это еще Пушкин изрек, а Пастернак повторил. Можно добавить: да и то ценить не сразу и не всех. Роман «Жизнь и судьба» попал в Россию через Запад, и это грустно, хотя, как многолетнему члену редколлегии нью-йоркского журнала «Время и мы», мне приятно, что именно в нем впервые появились главы «Жизни и судьбы». Но вот опять печальный парадокс: на Западе, если исключить профессионалов-славистов, роман не стал масштабным событием, хотя столько всякой ерунды известно гораздо лучше. Почему не стал? Американские издатели, которых я спрашивал, откровенны: виноват некоммерческий размер.

ЛЕТОПИСЕЦ БРАЙТОН-БИЧ

Воспоминания о Сергее Довлатове

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 30 августа 1990

Так получилось, что мы не общались на нашей первой родине. Не перекрестились пути ни в общей компании, ни в редакции. Сергей Довлатов жил, как известно, в Питере, а я москвич. Но он служил в молодости редактором в журнале, а я в этом журнале печатался. Должны были видеться, но ни разу не встретились.

Однако, как впоследствии выяснилось, мы хорошо знали друг о друге даже такие личные подробности, которые и с близкими друзьями обсуждают не всегда.

Отгадка состояла в том, что в его доме и в моем доме (а дома были гостеприимные) бывал один и тот же московский стукач, между прочим, уверявший, что он незаконный сын уважаемого всеми поэта. Выяснили мы это уже в эмиграции, по взаимному согласию решив, несмотря на разгул гласности, имя не называть. Человек этот обратился не ко мне, а к Довлатову с просьбой прислать ему приглашение в Америку. Сделал он это не потому, что Довлатов здесь жил давно, а я недавно. Думаю, что потенциальный гость предпочел того, кто лучше умел прощать.

Тяжело писать подробные воспоминания о человеке, о коллеге, о писателе, с которым, кажется, совсем недавно долго и обо всем разом разговаривал по телефону, о чем-то договаривался, что-то с ним планировал вместе сделать, а теперь сознаешь, что голос его можно услышать только в записи на пленке, да и то, так сказать, официальной, студийной.

Впрочем, может, литературоведы без погон получали деньги не зря, и где-нибудь в подвале Чека голос Довлатова хранит-

ся и когда-нибудь отзовется. Знать бы, быть бы умнее, надо было засовывать при встрече ему в карман магнитофон и записывать его здесь, в Америке, в застолье. Ну, да что теперь...

Все ж какие-то вехи вспоминаются.

Вена, декабрь 1987-го.

Международная конференция писателей, о которой в 1990 году в издательстве «Дюк Юнивесити Пресс» вышла объемистая книга на английском «Литература в изгнании» под редакцией профессора Джона Гледа.

Я только что выехал — после десяти лет конфликтного существования, еще не соображая толком, как жить, еще не отстранившись от старого, с которым покончено. Друзья, знакомые, коллеги реагировали по-разному.

Александр Зиновьев, узнав, что у меня есть приглашения в три американских университета, твердо заявил: «Ехать надо туда, где есть работа». Георгий Владимов горьковато говорил, что для него проблемы языка нет — немецкого он не знает и живет с одним русским. Владимир Войнович делился собственным опытом, который был поучителен. С Райсой и Львом Копелевыми вспоминали пережитое в Москве. Один коллега просто прилетел и вручил немного денег, чтобы поддержать. Вот тут-то мы увиделись впервые со старым знакомым Довлатовым и несколько дней провели вместе.

Я новичок, он уже западный старожил. Он не советовал, не вспоминал. Денег у него не было. Он шутил, и от этого становилось легче. Перечитываю сейчас в книге его и свое выступления. В моем — неостывшая обида и скепсис. В довлатовском говорится о том, что произойдет с русской литературой в последующее время: агония литературы советской, признание (хотя и с увертками) литературы, созданной эмигрантами. Сейчас об этом горы написаны, а тогда было еще не до этого, но он одним из первых об этом заговорил. Предвидение Довлатова, как видим, сбывается.

Лето 1988-го, студия радио «Свобода», Нью-Йорк.

Работаю на «Свободе» все лето, в частности, начитываю главу за главой свою только что вышедшую в Лондоне книгу «Вознесение Павлика Морозова». Делаю и передачи. Тексты пишу заранее, переделываю по многу раз. Смотрю, как сво-

бодно и раскованно Довлатов работает с микрофоном без шпаргалки. Если устал, выпивает рюмку коньяку. Я нервничаю, сомневаюсь, он спокоен, уверен в себе. И — бесконечные разговоры о жизни там и тут, начиненные байками, которые никогда у него было не понять, слышал он или придумал. Как будто это про него сказано, что экспромт есть то, что тщательно отрепетировано заранее. Радио мешало, заставляло делать однодневки, но именно радио сделало его имя известным в России. Репортер рекламировал писателя. А у него было что рекламировать, то была проза.

Сан-Франциско, апрель 1989-го.

Заранее объявленная в газетах встреча Довлатова с читателями. Проданы билеты, зал полон. Большую часть его представляла пенсионная элита русской эмиграции. Довлатов же рекламирует не себя, а какого-то московского графика, который привез в Калифорнию выставку своих перестроечных, но все равно агитпроповских плакатов.

— Сережа, на кой ляд вы тратите на это силы?

— А он хороший парень, надо его поддержать...

Я председательствую и, стало быть, представляю его читателям. Он, как и положено выступающему, гладко выбрит и чуть-чуть пьян. Договорились еще по телефону вести встречу как диалог, как спор, чтобы слушателям было интереснее. Естественно, я стараюсь дать больше поговорить Довлатову, но чувствую, что он то и дело умолкает, вежливо предоставляя эту возможность мне. В перерыве спрашиваю его, в чем дело.

— Вы так хорошо обо мне говорите. Слушать гораздо приятнее!

В фойе торговля его книгами, которые продает его знакомая. К нему очередь, чтобы получить дарственную надпись. Он делает это ужасно медленно. Подхожу ближе — оказывается, он стоит с авторучкой на веревочке, висящей на шее, и аккуратно исправляет в тексте каждой книги типографские ошибки, которых много, и при этом перед каждым, купившим книгу, оправдывается.

У нас была телефонная дружба. Говорили подолгу: я — удобно устроившись в кресле, а он по-набоковски лежа в постели.

Изредка получал от него письма и часто конверты с вырезками — не о себе, а обо мне: на радио Сергей внимательно читал советскую и эмигрантскую прессу. Он, что не у всех случается, радовался появлению книг своих коллег, как своих собственных книг.

Услышав о смерти Довлатова, я пошел в университетскую библиотеку и сел возле полок на пол, как делают студенты. Тут, в тишине, можно было отрешиться от суеты и погрузиться. Перед моими глазами Довлатов стоял на одной полке с Достоевским. Я ничего этим не хочу сказать, кроме того, что сказал: на одну букву, на одной полке. Я снял книги Довлатова с полки, пошел к столу и стал расставлять. Поставил его портрет. Получилась маленькая выставка. Подошли мои аспиранты полюбопытствовать, что я делаю. Я объяснил. Мы сели вокруг. Прочитал им один небольшой его рассказ. Большую часть они не поняли, пришлось перевести. Потом мы провели несколько минут в молчании.

И вот дни идут дальше. Мы еще есть, а Довлатова нет. В этом есть какая-то неувязка логики человеческого существования, что старшие живы, а того, кто моложе, нет. Я не могу объяснить, почему это кажется мне таким несправедливым, может, оттого, что сие происходит и зависит не от нас.

О Довлатове пишут и еще напишут критические статьи. Будет литературный анализ, и формальный, и человеческий. Довольно-таки консервативная западная славистика (критикую и себя: я сам принадлежу к этой касте) застряла на узком круге имен. Не хочу вдаваться в причины, они разные, противоречивые, а чаще примитивные. Может, действует закон консервативной части германистики, в которой не принято изучать серьезно писателя раньше, чем через пятьдесят лет после смерти? Но постепенно найдется больше места для диссертаций и докладов на научных конференциях о творчестве самобытного русского писателя Сергея Довлатова. Разумеется, издания, которые традиционно дожидаются смерти, чтобы без опаски давать оценки, уже раскручивают сочинения — правду и небылицы о нем, раньше непредсказуемом, а теперь бессильном опровергнуть ложь.

Что ж, если появится хотя бы один довлатовед, это будет справедливо. Короткая, но весьма запутанная жизнь плюс довольно длинный библиографический лист Довлатова — достойные предметы для внимания. И не такой уж ясный это писатель, чтобы все в нем сходу понять и объяснить.

За что я люблю прозаика Довлатова? Перечитывая теперь его страницы, думаю о том, что в его книгах нет или мало традиционных книжных событий: войн, революций, политики, роковой любви или трагедии измены. Нет и крупных героев, хороших или мерзких.

Я боюсь писателей, лишенных чувства юмора. Мне кажется, писатель, неспособный вызвать к жизни улыбку читателя, не владеет словом, и ему надо искать другое ремесло. Довлатов писал грустно, но так, чтобы читатель улыбался. Он умел смешить, чтобы нам становилось грустно. Такой усложненный дар не часто встретишь в прозе и в эссе, а Довлатов этим мастерством владел.

Он умел писать как бы ни о чем, высматривал важное в повседневном, рассказывал о людях, которых мы без него просто не заметили бы. Но при этом именно он оказался одним из заметных летописцев третьей волны эмиграции семидесятых годов, той самой волны, которая выплеснула к подножию статуи Свободы его самого и оставила наедине с большой Америкой.

Сиюминутное он останавливал, пытаясь превратить в вечное. Не знаю, удалось ли это ему. В его прозе, в смешении стилей, в отсутствии литературной системы отразились не только противоречия его натуры, но и безумное советское время, душевный хаос изгойства там и последующей эмиграции, сложные возможности свободы для несвободных людей, каковыми мы родились и попали в другой мир.

Перечитываю его эссе, которые он писал для «Нового американца» и для «Нового русского слова». Смотрю скрипты — то, что он делал для радио «Свобода». Они — дань времени, но не однодневки. Не главные вопросы, но всегда больные, нетронутые. Он первый на них обращал внимание, неважное делал важным, неинтересное — значительным. И еще искренность. Он был очень аккуратен, стыдлив, что ли, на громкие и фаль-

шивые слова. Старался не употреблять их сам и очень точно замечал у коллег по обе стороны океана.

Сергей Довлатов виделся окружающим таким огромным, здоровым и сильным, а был больным, изношенным. Не в этом ли парадоксе скрыта природа его доброты, сострадания к другим, способности ужиться с недостатками, которые столь часто выставляются напоказ от растерянности или избытка свободы?

Он ушел в возрасте, когда кажется, что можно прожить еще столько же. Мы знаем, что он добровольно изнашивал сам себя, несмотря на запреты врачей. Чего он только не делал из того, что вредно, плохо, опасно! Но у врача и писателя разные, подчас противоположные задачи. Врач хочет уберечь писателя от стресса, а писатель стремится к вредному для здоровья состоянию.

Может, писатель делает это, чтобы точнее знать, каково человеку во вредной среде? Вот откуда шли излишества Довлатова, перебор, несчастья, без которых — и это обратная сторона писательской жизни — нет и полной правды в литературе. Таким сжигающим себя «испытателем природы» был другой русский эмигрант, и тоже из Питера, — Александр Куприн. Как Зощенко любил говорить, «литература производство вредное, наподобие изготовления свинцовых белил».

Довлатов ушел в зазеркалье и оттуда, мне кажется, с усмешкой наблюдает за происходящим по сию сторону непробиваемого стекла. Если там, в зазеркалье, слышат то, что мы здесь говорим, я хотел бы ему сказать, что тень его в нашем мире живет веселей, чем жилось ему. И напечатанные, и еще не напечатанные довлатовские мысли остаются с нами. Они не только развлекают. Они помогают что-то понимать, любить и жалеть живых.

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ И ПОСЛЕ

Воспоминания о Савелии Крамарове

«Русская мысль», Париж, 1995, № 4083

Наши пути скрестились, когда он уже был кинознаменитостью.

В отличие от Смоктуновского или, к примеру, Плятта — актеров для интеллигентного или, скажем шире, образованного зрителя, Крамарова знали все. В детском саду строили рожи, повторяя его экранные гримасы. Пенсионеры, забывающие «козла» под кустом сирени, употребляли выражения, запущенные им в атмосферу с экрана. К перелому своей жизни в конце семидесятых он снялся в сорока двух лентах. Он был в зените советской славы и готовился ко всемирной.

Если в вагон метро войдет Лев Толстой или даже Иисус Христос, москвичи вряд ли обратят внимание. А когда входил Крамаров, взгляды сосредоточивались на нем. Через минуту подсказывал какой-нибудь матросик или стильная девица, прося автограф. Савелий мгновенно рисовал свой профиль — абрис был отшлифован годами.

Он любил демонстрировать свою славу. Останавливался возле сопливого мальчика в скверике и спрашивал:

— Кто я?

Через секунду, растягивая рот в улыбке, тот произносил:

— Ты Крамаров.

Очередной инспектор ГАИ, остановив его, вдруг начинал смеяться:

— Не надо документов! Контрамарочку на просмотр для жены можно получить?

И отпускал с миром.

Уже будучи отказниками, мы поехали в Пярну: в Москве шли шмоны перед Олимпийскими играми. Через два дня в гос-

тиницу явился начальник ракетной части, дислоцированной на закрытом для смертных острове Саарема.

— Товарищ Крамаров, — стоя в дверном косяке и отдавая честь, начал он издалека. — Не надо ли вам чего?

— Проси засунуть тебя в ракету и послать в Нью-Йорк, — шепнул я.

— Телевизора в номере нету, — пожаловался Савелий.

— Установим! Мебель новую завезем. Вы только не откажите выступить у нас в части перед офицерами. Вертолет пришло в шесть ноль-ноль.

Выступления его к тому времени прекратились, честолубие требовало пищи, Савелий согласился. До шести вечера мне удалось его убедить не лезть ради горячих аплодисментов в петлю ледяной секретности.

Режиссер Юрий Завадский сказал мне как-то: «Актер есть человек, который говорит чужие слова не своим голосом». Если это справедливо, то относится к Крамарову ровно на пятьдесят процентов: он говорил чужие слова собственным голосом, и в этом состояли его достоверность и обаяние. Но, конечно, он говорил чужие слова, своих у него и не водилось. Он был катастрофически необразован. Грамотно он не мог написать двух строк. Ничего не читал, кроме рецензий на себя. Стены в его московской квартире были оклеены вырезками из киножурналов, про него писавших.

Этот «чукча-нечитатель» в жизни не прочел ни одной книги и хвалился, что сумел избежать учебников, будучи студентом Лесотехнического института. Он обожал своего друга Жванецкого, потому что его можно не читать, а слушать. Книгу, которую я ему подарил, на следующий день увидел в квартире у его подруги: он выскреб мою надпись и накарябал свою. Я спросил:

— Зачем?

— Книги, старик, покрываются пылью, — назидательно сказал он.

Откуда он это узнал, если книг у него не было? Впрочем, одну я заставил его прочесть, когда мы затеяли некую игру. Это была самиздатная рукопись «Как вести себя на допросах в КГБ».

Почему он решил эмигрировать? Не у многих была такая серьезная причина, как у него. Хотя я вовсе не уверен, что сам он ее осознавал.

— Про тебя написал Апдайк, — сказал я ему. — «Цели наши, которых мы достигаем, навешают на нас скуку».

— Кто это — Апдайк?

— Твой будущий соотечественник.

При своих скромных потребностях и не будучи напрямую вовлечен в идеологию (клоун — что с него взять?), Крамаров имел все, что мог желать так называемый «представитель творческой интеллигенции». Его юмор был доступен наверху. Оставались депутатство в Верховном Совете да звезда Героя Труда, но он был человеком социально выключенным. Только в своем амплуа он был силен и ничего другого делать не мог.

И вот союзная слава перестала ублажать самолюбие. Он высчитал (уж не знаю, откуда взял такую статистику), что в США сорок четыре выдающихся комедианта.

— Я буду сорок пятым, — заявил он.

При его целеустремленности и результатах, достигнутых на родине, мы в его будущем успехе за океаном не сомневались. Ему отказали: слишком дорого стоило изъять его фильмы из проката и телевидения, ведь доходы от киноиндустрии, если я не ошибаюсь, стояли тогда на следующем месте после водки. Он считал, что стал заложником своей популярности и размышлял, как подключиться к нашей борьбе за выезд. Я свел Крамарова со своим приятелем Эндрю Нагорски, шефом московского бюро «Ньюзуик». Объясняя ему причины выезда, актер-отказник сказал, что он стал религиозным, а тут это запрещено.

Должен признаться, что я немного скептически отношусь к внезапной религиозности. Крамаров сделал обрезание и стал соблюдать обряды. Но выехать ему религия не помогла.

Началась подготовка к открытию нашего совместного литературно-эстрадного театра, в обиходе ДК. ДК — дом культуры, удобная аббревиатура для телефона, а в действительности наши фамилии. Я написал комедию «Кто последний? Я за вами» из жизни нашего брата отказника. Действие происходило в приемной московского ОВИРа, где были установлены новые часы. Согласно тексту каждые полгода в часах открывается дверца, и миловидная девушка в милицейской форме произносит: «Ку-ку!»

НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР



КТО ПОСЛЕДНИЙ?
Я ЗА ВАМИ!

ОБОЗРЕНИЕ НРАВОВ
В ОДНОМ АКТЕ С ПЯТНАДЦАТЬЮ ОТКАЗАМИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Юрий Дружников,
русский писатель, 48 лет

Ю.И. Дружников

Савелий Крамаров, советская
кинозвезда в зените славы,
46 лет

С. Крамаров

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

очередь



Премьера
7 июня 1981 года

В связи с отсутствием буфета, гардероба
и нехваткой воздуха спектакль
идет без антракта
Представление дается ежедневно.

«В зените славы и после». Афиша подпольного театра «ДК» (Дружникова и Крамарова). Премьера трагикомедии Дружникова «Кто последний? Я за вами!» состоялась в московской квартире Савелия Крамарова на Мосфильмовской улице (1981). Публикуется впервые

Крамаров играл Крамарова, а я самого себя. Просторную крамаровскую квартиру переоборудовали в фойе и зрительный зал. По телефону о репетициях не договаривались, чтобы не привлекать внимание ненужных гостей. На премьеры каждый день приглашали избранных, главным образом, по понятным причинам, иностранных корреспондентов. Но вваливалась в квартиру вся отказная Москва, плотно стояла на лестничной площадке и выплескивалась во двор. Крамаров был великолепен. Думаю, что это была его самая реалистическая, самая вдохновенная роль. Игру нашу прекратили просто: у подъезда встала милиция; для входа требовали у зрителей паспорта.

Шум какой-то получился. Фильмы его продолжали крутить, только из титров теперь вырезали его фамилию. Он учил английский, однако уроки с молодой пухленькой училкой свелись к другому занятию. Перед выездом он знал семь английских слов и пытался запомнить восьмое.

После его отъезда в «Литературке» появился фельетон «Савелий в джинсах» о том, как некий актер мучается в США. Забавно, что фамилии Крамарова не назвали, рассчитывали на узнавание в узких актерских кругах. Думаю, сделали это, чтобы у него не возникло последователей. Стыдно сказать, но на счет мучений агитка впервые не лгала.

Бедой Крамарова всегда была дырявая память. Начал он свою актерскую карьеру в самодеятельности, но после, в драмтеатре, не потянул, так как не мог выучить ни одной роли. В кино было легче, потому что советские фильмы озвучивались в студии, и можно было прочесть реплику перед тем, как ее произнести в микрофон. Впрочем, монологов от него не требовалось. Выступая перед аудиторией и в кругу друзей, он всю жизнь повторял одни и те же несколько экспромтов, но интересно, что и в сотый раз слушать их было смешно.

Крамаров — яркая личность в паноптикуме советского кинематографа. Все еще трудно ворочается язык, когда надо сказать «был». На фоне грандиозной идеи создания положительных героев он играл вроде бы дурачков. Но, в отличие от фольклорного Иванушки-дурачка, герой Крамарова никогда хитрей царей не оказывался. В фильмах он совок, отважный в поддаче и трусливый при виде ментов. Он выразил суть советской эпо-

хи своим лицом, которое, как он сам любил повторять, напоминает противогаз. Исправив позже себе косоглазие, он много потерял: это было смешно, а гримом для роли не вернешь.

Задолго до гласности он создал образ идеального совка, счастливого в своем идиотизме. Актерская интуиция Крамарова состояла в том, что он методично, из фильма в фильм, убедительно и смешно олицетворял быдло, «винтиков» — основное достояние сталинско-брежневского прогресса. Я не раз говорил ему, что абсолютной ролью для него, будь он подростком, было бы сыграть в кино Павлика Морозова. Впрочем, подростков играют травести.

Перемещения этого крамаровского типажа на другой континент в общем-то не получилось. Пропасть между двумя кинокультурами оказалась для Крамарова слишком велика. Это не вина, а беда замечательного актера нашей эпохи. Некролог в газете «Сан-Франциско кроникл» в день его похорон восемью строками покрыл всю его голливудскую жизнь.

Из-за плохого английского круг приемлемых для него ролей сузился до шаржированных русских персонажей, которых в американских фильмах не может быть много. Кагебешник в «Москве на Гудзоне», советский космонавт в «2010», русский посол в «Красной жаре» и русский матрос в «Любовном приключении» — вот круг съемок, в которых ему дали поработать. Он говорил, что ему платили по требованию профсоюза две тысячи долларов за съемочный день, но, к сожалению, роли были краткие, все эпизоды снимали подряд, а потом резали. К тому же американские фильмы выстреливаются быстро, а решетка конкуренции жесткая.

При этом достоинство профессионального актера Крамаров держал высоко. Режиссер Марк Левинсон, снимавший фильм «У времени в плену» («Prisoner of Time») о русских интеллектуалах в эмиграции, уговорив меня на роль писателя, просил надавить на Крамарова сыграть пару эпизодов. Савелий отказался из-за того, что оплата меньше указанной выше.

— Лена Коренева у нас играет, — убеждал я, — Олег Видов...

— Нет, мне надо держать марку.

Так мы с ним и не сыграли второй раз.

Он храбрился, много говорил о Боге, но, что бы ни говорил, на деле бедствовал и страдал. Его московские интервью выдают стремление пустить пыль в глаза о своем благополучии в Голливуде и вообще в Америке. Не хочу быть моралистом, но если есть люди, которым не стоило бы торопиться эмигрировать, он, возможно, был в их числе.

Он говорил мне, что решил жить здесь, а сниматься там. Потом собирался жить то там, то здесь. Все это было бы нормально, но там ему спустя годы тоже не удавалось вписаться в вяло текущую толчею. К концу дней он наладил, наконец, семейную жизнь, уехал подальше от Голливуда в Сан-Франциско, но часы его остановились. И в плане творческом, кажется мне, он умер, не доиграв. Обещанные ему роли, на которые он надеялся в последнее время, опять уйдут к оставшимся сорока четырем комедиантам.

Жаль, что второго зенита славы Крамаров не достиг.

БЕЗ НАМОРДНИКА, БЕЗ ПОВОДКА, ДАЖЕ БЕЗ ОШЕЙНИКА

«Литературная газета», 21 апреля 1993

Со времен Курбского, а то и раньше русская литература живет частично на чужбине. Слово это последнее не нейтральное, с душком неприязни, хотя Пушкин, например, вкладывал в него то иронию, то симпатию. Эмигрировали авторы как по своей воле, так и под давлением обстоятельств, но азимут всегда был от несвободы к свободе.

Практически вот уже более двух веков Запад демонстрирует полную либерализацию мысли для своих пришельцев. Недавно один мой приятель, новозеландский славист, раскопал в Парижском полицейском архиве уйму доносов сексотов на Тургенева. Оказалось, что не только русская тайная полиция прослеживала его активность за рубежом, но и французская, считая автора «Муму» отнюдь не немым царским шпионом.

Но вот что важно: слежка никак не сказалась на литературном самовыражении Ивана Сергеича в Париже, в отличие от продолжавшихся цензурных ограничений для него на родине. К тому ж и случай с Тургеневым был все-таки исключением. Не будем преувеличивать интерес властей на Западе к русской литературе и ее представителям.

Как-то, уже в эмиграции, то есть лет через двенадцать после исключения из Союза писателей, меня пригласили в Вашингтон прочитать лекцию для дипломатов о политических аспектах советской литературы. После ответов на вопросы слушателей подошел элегантный молодой человек с платочком в кармане под цвет галстука и, протянув визитную карточку, представился. Он был из ЦРУ.

— Очень приятно, — усмехнулся я. — КГБ со мной знакомился, а ЦРУ никогда.

— У меня деликатный вопрос, касающийся одного из ваших коллег, — осторожно сказал он. — Не знаете ли случайно: правда, что у Пушкина была негритянская кровь?

Как бы вы поступили на моем месте? Сообщить или не сообщать?

— Правда, — признался я.

— А правда ли, что его преследовали?

— Тоже правда.

— Это потому, что он негр! — объяснил он и, удовлетворенный, ушел.

Цереушник этот сам был чернокожим и по-своему понял проблемы русской литературы.

«Свобода здесь — читатель там», — говорил мой покойный друг Сергей Довлатов. Поскольку пишу эту статью, находясь в Москве, добавлю: а теперь и свобода тут, но добавлю замедлившись, без особой уверенности. Дело в том, что свобода русского писателя на Западе по сравнению с тутошней (как бы точнее выразиться?) нейтральней. Меньше нервов, меньше болезненности. Здесь свобода все еще групповая. Крутом табу — уже не цензурные, не политические даже, но конъюнктурные. Сказал критическое слово о Юрии Трифонове (при общем хорошем отношении), а у меня его из интервью выкинули. Спрашиваю:

— Почему? Ведь я этот пассаж там еще несколько лет назад опубликовал.

— Ну, старик, это не в интересах дела.

Чьего и какого такого дела?

На Западе мое писательское мнение — просто мнение, а здесь — оно все еще делится на полезное и вредное, преувеличивается роль слова как некоего инструмента политического манипулирования. В печатном органе, который я упомянул, сказать об изъятии прозы Трифонова нельзя, он «наш». В редакциях все еще спрашивают: «Чей он человек?», «Кому это выгодно?», «На кого вы ориентируете свои мысли?», «А полезно в данный момент затрагивать эту тему?».

Так редакторы, на этот раз добровольно, втягивают себя в несвободу слова, в опасное торжество единого мнения, которым все давно сыты по горло.

В Америке же оба (три, десять мнений) имеют равные права на равное существование, ведь все они только слова. Желание поэта, чтобы к штыку приравняли перо, сегодня уместно, если только трибун этот состоит в какой-нибудь террористической организации. А в Москве литература все еще кое-кем почитается за горячительный напиток, вроде стакана водки перед атакой. В эмиграции обретаешь дистанцию. Особенно для прозы она незаменима: в ней ведь все правы или, по меньшей мере, имеют свои мотивы и оправдания.

Веками русское инакомыслие утекало и вытеснялось на Запад. Самиздат просачивался сквозь решетку и тем же манером возвращался в виде Тамиздата. Литературная эмиграция спасала и сохраняла духовные сокровища метрополии, рукописи, целые архивы, особенно в периоды застоя на родине. Но всегда обе части литературы были сообщающимися сосудами, хотя с восточной стороны краник то и дело перекрывали. Тут следили (уместно ли прошедшее время?) за всеми нами там. И не жалели денег на усилия в манипулировании словами на других континентах.

Несчастливого Куприна, в зависимости от его встречи с Лениным, высказываний там и возвращения сюда, трижды переводили из оторвавшегося в присоединившегося, из друга во врага, из врага в друга. А закончили, посулив его жене манну небесную и всучив ей советские паспорта, сочинением липовых патриотических интервью с писателем, вернувшимся в старческом маразме. Как эта кухня готовила блюда, наше поколение журналистов и писателей не только хорошо знает, но и участвовало в этом и, само собой, испытало на себе.

Чего уж там! Трудности для писателя сегодня ощутимы в обоих сообщающихся сосудах, что доказывает их неразрывность. Не о себе говорю: у меня вывезенные по-тихому саженьцы после пятнадцатилетнего пребывания в черных списках (начиная с 1991 года), пускают корни на родине. Переселение в эмигрантскую литературу было для меня единственным шансом выжить, сказать, что хочу и могу, состояться. Теперь слышу, что эмигрантская литература была временной, вынужденной — и с этим категорически не согласен.

Поток запретного чтения из Америки в Россию иссяк, что больно ударило по русским издательствам. Но книги на русском языке в Америке выходят. Полиграфическое качество их по-прежнему лучше, да и содержание многих интереснее и значительней. Не слышал, чтобы редакция русского журнала или издательство в США просили убрать какое-нибудь имя или тему по каким-нибудь соображениям. В связи со свободой в России тематика иссякла только у конъюнктурщиков — и там, и здесь.

Больше того, много читая и просматривая издаваемое теперь в метрополии, я пока не замечаю выдающихся открытий. Наоборот, выплеснулась пена графомании. Дилетанты называют себя постмодернистами от прозы и поэзии, а они просто не в ладу со школьной грамматикой. Экзерсисы перестроившихся мастеров соцреализма вообще стыдно читать. В кино пошлые поделки, и жаль даровитых актеров. Пышные и смелые откровения авторов, разносящих похороненных вождей, свидетельствуют о незнании или, что хуже, о компиляциях из источников, опубликованных на Западе десятки лет назад.

В России утеря государственного интереса к литературе — а я всегда мечтал, чтобы меня ни к чему не призывали, в том числе и к патриотизму, чтобы портреты вождей, как говорил Набоков, не превышали размеров почтовой марки. Родина — женщина: любить ее можно только по внутреннему побуждению. Литература — тоже женщина. Могу ли я, автор, ее любить, зная, что она на содержании у другого?

Трудные для русской литературы времена бывали не раз: сужался круг, ширпотребное чтиво или пропаганда заполняли книжные лавки, а проза и поэзия выживали. Феномен «ствола и ветви» по многим причинам будет сохраняться. А для такого книгочея, как я, важно, что в библиотеках и архивах на Западе хранятся великолепные русские коллекции и значительно больше организованности, удобств и свободы ими пользоваться. Например, часть университетской библиотеки я просто держу дома и возвращаю отдельные книги, когда они больше мне не нужны или понадобились кому-то другому.

Всю жизнь читал и слышал: писатель, живя на чужбине, отрывается от среды. Твердили, что бедный и несчастный русский человек чахнет в изоляции, не питаемый соками родной

земли. Теперь хочу, опираясь на свои скромные знания и тот опыт, который я вобрал от встреч со множеством людей в эмиграции, сказать: эта мысль — апология имперского мифа о недопущении отечественной собачке гулять без поводка и, тем более, без ошейника.

Смысл стереотипа в том, что на убежавшую шавку не наденешь намордника. Вдруг она там, на Гавайских островах, гавкнет что-нибудь, нас в Смольном компрометирующее? Намордники начали осторожно снимать примерно в 1987-м. В 90-м — уже отстегивали поводки. А ошейники писатели сами стали срывать после августа 1991 года и смелее высказываться, будучи за границей. Впрочем, кое у кого не только ошейник, но и намордник не снят до сих пор, натертая шея болит, а отстегнуть страшно. С такими писателями старшего поколения я тоже встречался в Москве и хорошо их понимаю.

Ностальгия — очень российское явление, больше административное, чем духовное. Между прочим, в Калифорнийском университете и сотнях других по всему миру работают писатели множества наций, изучают (и обогащают произведениями, между прочим) десятки словесностей мира и их эмигрантских ветвей. И только в прессе русской метрополии много говорится про отрыв, родные березки и непреодолимую тоску. Тут, в российской прессе, продолжается какая-то инерция мышления. А может, опять кастовое табу, кому-то выгодное в соображении попытаться повернуть историю вспять?

Скучно приводить список классиков, Нобелевских лауреатов, живших за рубежом, и произведений, написанных на чужбине. Дома бы им не состояться. Ни от какой среды, культуры или атмосферы серьезный писатель, если он сам того не хочет, не отрывается. Не отрывается даже тогда, когда власти на родине его наглухо изолируют от читателей. Разве что Шолохов действительно существовал в эмиграции (как ее понимал агитпроп): то есть в изоляции и отрыве от среды. Как он жил, что написал в эмиграции и чем кончил, всем известно. Стоит ли в век факса, Интернета, глобального телевидения и карманного телефона поддерживать слегка поблекший идеологический штамп?

III

ВЗГЛЯД И НЕЧТО

МОДЫ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Легкомысленные заметки серьезного писателя

«Вестник», Балтимор, 7 апреля 1992.

Помню свою первую лекцию в Техасском университете. В два часа ночи полуживой отказник прилетел из Рима в Америку, едва не опоздав к началу семестра. Утром уже стоял в аудитории у доски и писал тему лекции. Мне казалось, я готов к любым неожиданностям. К тому, например, что техасский язык вроде бы не совсем английский и придется трудновато. Но когда я повернулся к залу, выяснилось, что главной проблемой первого дня стало совсем другое. Это было состояние некоего дискомфорта. А если уж говорить начистоту, у меня просто дыхание перехватило. Я не знал, куда деть глаза.

Читал я вводную лекцию курса «Современная русская цивилизация» — того обычного цикла по русской литературе и культуре, что в разных видах читается во многих американских университетах. На меня внимательно смотрели семьдесят шесть пар глаз. Мальчики в шортах и майках, а девочки... На студентках было по две ниточки, перетягивающих тело поперек точно в двух местах. И всё.

Нет, вру! На особых модницах еще были черные чулки, притянутые резинками к поясу. Другие были в черных платьях, закрывающих тело от ушей до пят, но этот контраст только усиливал нервозность лектора. К тому же, когда монашка вышла к доске, оказалось, что у черного платья до пят сбоку разрез до подмышки. В довершение картины рядом с одной из монашек сидел в погонах с буквами СА советский солдат. Успокаивало только, что на голове у солдата была бескозырка с надписью «Дважды Краснознаменный Балтийский Флот». Всю эту аму-

ницию студент, как после выяснилось, купил на соседнем «блошином» рынке.

Поймите мои трудности. Я не умею выступать по бумажке и импровизирую, обращаясь к записям лишь изредка, в основном, для точной цитаты. Для меня остается загадкой, как Владимир Набоков заранее написал курс лекций по русской литературе, а затем, упершись глазами в текст и не общаясь ежесекундно со слушателями, читал вслух.

Мне просто необходимо внимательно смотреть на слушателей, спрашивать их, видеть реакцию и в зависимости от этого перестраиваться, замедляться, ускоряться, если тезис ясен, или, если публике стало скучно, немедленно вставить что-нибудь смешное, подходящее к случаю.

В тот первый день в Техасе вся моя система, отработанная за годы встреч с читателями, рухнула: я не мог смотреть на студентов, а когда обращался к ним, заикался, терял нить и, наверное, краснел. Они, бедные, не понимали, что происходит с этим русским. Помучившись, я все же нашел выход. Решил смотреть в левый дальний угол зала, то есть как бы на студентов, но поближе к потолку.

Шли дни. Человек, по мудрому замечанию Достоевского, — существо, которое ко всему привыкает. В конце концов и я привык к техасской моде, перестал обращать внимание на этот, скажем так, стиль или, как написала бы газета «Правда», на их нравы. Но произошла адаптация не сразу. Хорошо, что моя жена всего этого не знала, а то, наверное, стала бы сопровождать меня на лекции. На всякий случай. О том, что я это пишу, она тоже понятия не имеет, и вы ей, пожалуйста, не говорите.

Вспомнил я сию историю недавно, когда снова приехал в Техас на конференцию по современной литературе. С конференцией было все в порядке, речь дальше пойдет вовсе не о ней. Прошу прощения у читателей за то, что хочу высказаться на тему, в которой я абсолютный дилетант.

Отец Флоренский говорил, что по женской моде можно судить о сути нашей цивилизации. В Европе и на севере Соединенных Штатов зима, и магазины еще полны зимней одежды. Модельеры, наверное, разрабатывают моды для будущего лета. А в южных штатах одно лето кончилось, но сразу же после

дождевого антракта наступило другое: все цветет, небо голубое и душно. Днем по старику Цельсию 35 градусов жары в тени. Галстук становится удавкой, а в пиджаке вы чувствуете себя вроде как в дубленке в финской бане.

Добравшись до университета, зашел я на немецкий факультет, который, как у нас в Калифорнии, соединен со славянским. Навстречу мне по коридору шла женщина, и глаза у меня по привычке стали искать левый угол поближе к потолку. На женщине были надеты маленькие белые штанишки, на эти штанишки — красные шорты, а на них еще более коротенькие шортики, одна штанина которых голубая, а другая зеленая в цветочках. Кроме того, на ней была белая майка, завязанная на талии узлом так, чтобы средняя часть тела с той вмятинкой, которая остается, когда ребенок отделяется от матери, была открыта. При этом майка, стянутая на бок, врезалась в шею, зато открывала плечо, часть груди и руки. На другой груди наискось шла надпись, звучащая в переводе на русский так: «Соблазни меня, я принцесса на стажировке».

Красотка оказалась аспиранткой, заканчивающей диссертацию по средневековой немецкой литературе. Когда я пришел в себя и мы разговорились, аспирантка эта оказалась матерью двоих детей. Муж ее работал исследователем в том же университете на факультете генетики.

Да простят меня женщины, я не очень обращаю внимание на то, как они одеты, хотя и признаю объективную важность данного фактора. Мне же лично гораздо важнее, что женщина говорит и как смеется. Чтобы вы не забыли, повторю на всякий случай: не проговоритесь моей жене, но от остроумной женщины я могу потерять голову, даже если она будет в халате и кирзовых сапогах. На лекциях у себя в университете, в Дейвисе, я давно уже не замечаю, кто как одет; меня волнуют только студенческие глаза: ново? интересно? поняли?

Но тут, в чужом университете в Техасе, видимо, в связи с воспоминаниями о начале новой жизни в Америке, я вдруг заинтересовался, а как же одевается это поколение?

Перед главной башней университета, где в библиотеке шла наша конференция, огромная зеленая поляна, залитая солнцем. Весь день на поляне сотни студенток (и студентов тоже) гото-

вятся к занятиям, завтракают, болтают, флиртуют, дремлют. Один разучивает упражнения на скрипке. Другой включил магнитофон и отрабатывает чечетку на куске фанеры, который он притащил с собой. В старой ванне, принесенной откуда-то, сидят без воды две обнаженные девушки с плакатом, требующим наказать парня, который пытался в ванной совратить их подругу. Слава Богу, что хоть имя опущено. И — будто специально для меня — на поляне демонстрируют суперсовременные моды.

Вообще-то ничего особенного нет. Но я побрел наискосок по поляне, останавливаясь, чтобы поговорить со специалистами по модной части, и узнал много чрезвычайно важного. Живешь-живешь, а сути дела не понимаешь, пока тебя умные студенты не просветят.

И вот тут, при солнечном свете, я понял, что все-таки я недооцениваю женскую изобретательность. Видимо, когда я приехал в Техас и читал первую лекцию, в аудитории было темно-вато и на душе тоже. На поляне мода свидетельствовала, что она не только не ушла от двух ниточек поперек тела, но еще больше прогрессировала. Ниточки стали еще тоньше. Но все же приличия, оказывается, соблюдены: в трех важнейших местах сделаны какие-то узелочки, как-то это намотано, что-то вроде бантиков или пуговок имеется. Волновался я тогда за них, а еще больше за себя зря.

Да и не все студентки в двух ниточках. На некоторых три и даже больше. Оказывается, например, у них в университете модно сейчас на коленках у джинсов вырезать большие квадраты. Или еще так: на одной коленке дырка в виде треугольника, а на другой в виде квадрата. Таким образом, как я понимаю, знания, приобретенные на лекциях по геометрии, не пропадают даром. Хорошо также отрезать у джинсов одну штанину, это называется полушорты.

Для хождения на занятия в моде также купальники в гарнитуре с яркими колготками. Но поскольку идти надо не на пляж, а в вуз, то к поясу справа и слева прикрепляется по маскировочному носовому платку. Или сбоку завязывается шарф — вроде черного цыганского с цветами, так что он закрывает одно бедро и для демонстрации остается, стало быть, тоже только

одно. Носят студентки и платья, но они теперь чуть короче того места, которому раньше полагалось быть закрытым.

Разумеется, браслеты и цепочки носят там у них не на шее или руке, а на ноге возле щиколотки. Это касается теперь и мужского пола. Как исключение, можно на запястье намотать кусочек веревочки. Изящный этот гарнитур со стороны спины украшает тяжелый туристский рюкзак, набитый книгами и конспектами. На велосипедах впереди вращается ветром бумажный пропеллер на булавочке — это тоже модно. А сзади на номере вместо цифр имя: «ANNE». Так что традиционный незамысловатый вопрос «Девушка, как вас зовут?» отпадает за ненужностью. Можно сразу переходить к делу. Тем более, что на бампере спортивного автомобиля, за рулем которого сидит белокурая бестия, написано: «Давай это делать на Луне».

На двери кафе-мороженого текст: «Просьба не входить без майки и босиком». В класс на лекцию босиком, между прочим, можно, но нельзя — с собаками и кошками. Впрочем, если пришел или пришла — не выгонять же! Пускай животные тоже набираются ума-разума. Штанишки собаки в Техасе уже носят, хотя и не все.

А теперь признаюсь, что я ничего не выдумал, но немного сгустил краски. Точнее, рассмотрел техасскую моду несколько односторонне. Каюсь: ирония в этой серьезной области абсолютно неуместна. Тем более брюзжание, напоминающее генерала милиции, прибывшего в Сочи из Министерства внутренних дел на борьбу с аморальными явлениями. Помню, он гулял по пляжу в брюках с красными лампасами и исподней майке, отлавливая граждан в шортах. Помню потому, что меня самого забрали тогда за шорты в милицию.

Экстравагантных модниц в Техасе полным полно, и не только среди студенток. Это если не всегда красиво, то интересно. Повышает жизненный тонус мужчины, и женщина знает, что делает. Идти по улице не скучно. Яркость и живость человеческой толпы необыкновенная. А все ж большая часть женщин, если смотреть на уличный поток, носит сейчас просто разноцветные шорты и большие майки, почти закрывающие эти шорты, будто их нет. Вижу пенсионерок в возрасте до девяноста лет, а может, и старше, в таком же наряде. Многие носят

юбки-штаны. Другим надоела летняя одежда. Они надевают строгие «зимние» платья и, мучаясь от жары, сапоги. Ну, про монашеский стиль я уже говорил. Хаос моды? И да, и нет!

Как бы я, полный профан в этой области, охарактеризовал сегодняшнюю американскую женскую моду? Пожалуй, как категорический отказ от следования за профессиональными законодателями. Француженки нам не пример. Не копируя готовых моделей ни из Парижа, ни из Нью-Йорка, молодые американки фантазируют. Они хотят решать сами, что носить, без указаний сверху, хотя бы идеи и спускались из мастерских лучших дизайнеров одежды. Они сами знают, где пределы приличия, и знают лучше нас, мужчин.

Женщина не только облагораживает мужчину, но способна снять с него одежду, надеть на себя и при этом сделать эту одежду изящной. Что может более пародийно выглядеть, чем мужские кальсоны в качестве наружной одежды? Кажется, весь мужской мир, кроме сибиряков, вообще от них отказался. И вот иду по тexasскому университетскому городку, а навстречу женщины всех возрастов в голубых, белых, с цветами, в крапинку... словом, в бывших мужских кальсонах, как бы они их ни назвали. Да как выглядят! Сам бы надел немедленно, будь я хоть чуть-чуть женщиной.

Между нами, никому не нужная ретушь реальной жизни, если не могу отметить и другое: есть в тexasской уличной толпе и отвратно одетые женщины — с точки зрения европейца. Дисгармония цветов и форм, некая неадекватность одних частей туалета другим; какие-то добровольные лагерницы или красотки, напоминающие прислугу, получившую выходной и к нему в придачу платье с плеча хозяйки. Реже попадаются и одетые дорого, но без всякой меры вкуса и с убогой фантазией.

Эмигрантки из разных стран, особенно студентки, в большинстве своем по части одежды стремятся стереться, выглядеть, «как настоящие американки», «как все», и лишь немногие дарят глазу свое родное, колоритное, национальное, то, что нигде в мире не ценят так, как в Америке. Это не означает, что бывшей петербуржке или москвичке рекомендуется надеть сарафан, повесить на шею связку баранок и носить под мышкой балалайку. А все ж чего-то жаль.

Впрочем, никто в Техасе (кроме меня в этот раз) не оглядывается ни на хорошо, ни на плохо, ни на необычно или, скажем, фривольно одетую девушку. Ни разу не слышал, чтобы отпустили насчет этого шуточку или высказались, как это бывает в Москве или в городе имени бывшего товарища Ленина, не говоря уж о длинноязыкой Одессе.

Интересно, что никакого падения нравов из-за моды, которая меня поначалу шокировала, не происходит. А если происходит, то не из-за моды. Ибо это всего-навсего летняя легкая одежда в теплой и в общем-то счастливой стране. Рассуждения о том, что «так» одетая женщина провоцирует мужчину на акцию против себя, которые можно прочесть в американских газетах, мне кажутся некоторым сгущением красок.

Характерная черта молодежной одежды сегодня — полная свобода вкуса, манеры, стиля. Одевай, что есть, что хочешь, что идет, что нравится, что выдумаешь, что купишь в сверхдорогом магазине на месячную зарплату или за 25 центов на субботней гаражной распродаже. Чем меньше ханжества и запретов, тем меньше желания шокировать общество из чувства протеста. Запрет, говорят психологи, создает духовный дефицит. Моды это также касается, как и свободы слова.

Однако у свободной моды (которую, кстати, забыли оговорить в конституции отцы нации), как и в добрые старые времена, имеется одно «если». Если, конечно, не брать в расчет служащих официальных учреждений: банков, авиа-, страховых компаний, солидных фирм и прочих респектабельных мест. Там, в этих офисах, — только строгие костюмы и только скромные цвета. Да еще подчас и просто униформа, что, по-моему, правильно и красиво.

Правда, иногда разинешь рот и забываешь закрыть. Летом летел с выступления в Стокгольме на «Америкен Эйрлайнс», а на пересадке в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди у них как раз открывалась новая линия в Лондон. Чтобы привлечь пассажиров, их бесплатно угощали клубникой, пирожными и всякой другой всячиной. Женский персонал авиакомпания одела (точнее, раздела) примерно в такой фасон, какой был у студенток, описанных мной в начале этих заметок.

Последним ударом по остаткам моих консервативных представлений была студентка, которая надела бюстгальтер снаружи, на кофточку, и так пришла на занятия.

— Вам это очень идет, — сказал я ей в перерыве, просто чтобы что-нибудь сказать.

— Это форма протеста, — строго объяснила она.

— Я так и подумал. А против чего?

— Против равенства с мужчинами. Я — антифеминистка и хочу подчеркнуть свои отличия.

— Вам это замечательно удалось, — признал я.

Попытаюсь сформулировать американскую тенденцию молодежной моды: нижнее становится верхним, а верхнее исчезает, вот и всё. Женщины давят на моду, и торговля одеждой лезет из кожи вон, чтобы угодить самым изощренным потребностям.

Иду вдоль рядов только что поступивших в продажу новинок одежды в университетском магазине — и в глазах начинается рябь. Сегодня это дорого, но, так сказать, упрощенная молодежная мода все же не настолько дорога, чтобы посмотреть и ничего не купить. И студентки примеривают тут же, а я, проходя мимо, ищу глазами левый угол поближе к потолку.

Наверное, одеваться модно, ко всему прочему, просто интересно. Тут своего рода азартная игра: кто кого переиграет. В сущности, все мы, кто в большей, кто в меньшей степени, актеры большого жизненного театра и исполняем роли, которые сами выбрали. А может, роли выбрали нас. Так или иначе, перед выходом на сцену надо одеться в соответствии с ролью.

Куклы и живые манекены в костюмерном цехе, то есть, простите, в магазине, демонстрируют такие фасоны, что упомянутые раньше юные леди в нескольких парах разноцветных шорт или в купальнике с цыганским платком на одном бедре рискуют оказаться жалкими провинциалками. Наверное, чем меньше расход материи, тем дешевле. Стало быть, эти наряды скоро можно будет увидеть в действии на лекциях по Достоевскому или Толстому. И цены будут снижены, потому что опять появятся новинки. Это немаловажно для молодых, многие из которых, между прочим, сами зарабатывают себе нелегким трудом на пропитание и учебу в высшей школе.

И все ж философские вопросы остаются. В чем высшее предназначение женской моды? В конце концов, это же не просто занавес, который закрывает или открывает зрителям одно из лучших творений всемирно известного скульптора по имени Господь Бог, произведение, именуемое женским телом. Мода есть нечто большее. И еще: куда яблочко катится?

Ответов на эти вопросы у меня нет. Раньше мудрецы утверждали, что примета простая: юбки укорачиваются к войне, поскольку число мужчин будет резко уменьшаться. Надеюсь, война нас минует, навоевались уже. Студентки-то точно к ней не готовятся. Но теоретически мода — говорим о ней — это когда хоть что-то, но все же на теле есть. Ведь голого короля все-таки обманули — вспомните сказку Андерсена. А может, именно к такой моде мы и приближаемся?

Сегодня в моде две ниточки. Однако прогресс человечества неизбежен и неостановим. Он, как мы видим, ускоряется во всех областях, и мода — не исключение. Движение женской мысли неуловимо. Еще немного времени, еще чуть-чуть, и завтра останется на теле одна ниточка. А дальше? С какими изобретениями мы, мужики, столкнемся послезавтра? Судя по некоторым тенденциям женской моды, особенно молодежной, слово одежда в новом веке заменится другим словом, которого ни в русском, ни в других языках мира еще не было. Слово это — раздежда.

В принципе я за прогресс. Даже за его ускорение. Я простой смертный и обожаю то, что под ниточками. Объясните мне только, уважаемые читательницы, куда косить глаза во время лекции?

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 30 октября 1992

Наконец-то родина моя опять вырвалась на первое место среди других стран. Есть еще порох в пороховницах. Постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства, как классик предвидел. С ракетами отстали, с балетом плохо, бензин по талонам. По хлебу и картошке тоже не в авангарде прогрессивного человечества. Но — жив дух соцсоревнования. Тряхнули старинной, обошли на повороте весь мир, громогласно объявив о чемпионе. Нет, не олимпийских игр. И не по части стахановской добычи угля или сбора хлопка двумя руками без продыха. То было раньше, в справедливо осужденную эпоху, и та эпоха ушла.

В чем же впереди бывшая одна шестая теперь? Может, в освобожденных от оков цензуры поэзии и кино? Или в самом твердом в мире рубле? Или полный стриптиз там нынче полнее, чем в Париже или Сан-Франциско? Смотрю телевизор каждый день и вижу: отечество мое потрясает цивилизованный мир сведениями о российском чемпионе XX века по количеству убийств. Вполне нормальный маньяк Андрей Чикатило в лавровом венке с лентами. Эдакий Антигерой бывшего Советского Союза. Впрочем, почему же «анти»?

Ранее товарищу, а ныне гражданину Чикатило обеспечено внимание прессы, телевидение сосредоточено на нем вот уже целый год. Слава этого заплечных дел мастера перекинулась в Америку. Отсюда едут репортеры с видеокамерами и, похваливая через переводчиков гласность, дозволившую такую невиданную свободу средств информации, снимают преступника, — на всякий случай сквозь решетку.

Местные ростовские пинкертоны, гуляя по местности в ярких импортных куртках и указывая на раскопанные следы пре-

ступления, охотно дают интервью о том, как они выследили преступника, как брали. И американские комментаторы вынуждены признать, что уголовники-янки потерпели поражение: далеко им до пятидесяти двух трупов на уголовную душу. Началась борьба за права: кто будет писать о нем книги. Напишут, конечно. Впереди девять месяцев апелляции, — не только книгу можно родить. Тем более что материал-то и собирать не надо, он уже рассортирован и подшит, плати валютой да списывай.

Конечно, я горжусь, что Россия опять впереди всех. Но если мои чувства копнуть поглубже, что-то скребется в душе, мешает осознать полное торжество победы правосудия. Сомнения точат душу, остатки волос встают дыбом.

Прежде всего, сомневаюсь, что в книгу рекордов Гиннеса Чикатило попадет. А если попадет, значит, опять совковая пропаганда введет мир в заблуждение. На самом деле до него бывали люди похлеще. Помнится, в Москве ходил человек с напильником, и ему открывали двери, когда он произносил магическое слово «Мосгаз». Поговаривали, убил 150 женщин. Точно неизвестно: государственная была тайна. А стоит ли вспоминать историю, в которой массовые убийства были регулярной нормой? Вот ведь какая страшная наша ментальность: 74 миллиона, как предполагают сейчас, истребила партия, пришедшая к власти. И это называется холодным словом «статистика», о правильности которой спорят. А вот убил один пятьдесят человек — и весь мир в ужасе. «Как это может быть?» — восклицает американский телекомментатор.

С абстрактной точки зрения Чикатило можно рассматривать и как жертву системы. Десятилетиями система с упоением демонстрировала правильность убийств, называя их пролетарской борьбой, чистками, наукой ненависти и т. д., не говоря уж о войнах с врагами, в которых «сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Учили мы наизусть эти строки, кстати, во вполне мирное время, и человек, всерьез воспринявший программу такого воспитания, был готов делать, что прикажет родина.

В начале восьмидесятых в Сибири судьба свела меня с таким убийцей. Персональный пенсионер Спиридон Карташов

тихим хриплым голосом рассказывал, будучи уверенным, что никто такого не напечатает: «У меня была ненависть, но убивать я сперва не умел, учился. В Гражданскую войну я служил в ЧОНе (части особого назначения. — Ю. Д.) Мы ловили дезертиров из Красной Армии и расстреливали на месте. Раз поймали двух белых офицеров, и после расстрела мне велели топтать их на лошади, чтобы проверить, мертвы ли они. Один был живой, и я его прикончил».

В коллективизацию уполномоченный ОГПУ-НКВД Карташов по разнарядкам сверху уничтожал кулаков. Часто он сам, по велению своего революционного сознания, решал, кого кончить на месте, а кого отправить в лагеря. Он всегда носил с собой два нагана: один в кобуре, другой, на случай, если кончатся патроны в первом, был запасным и лежал в сумке. «Я считал, — скромно сказал мне Карташов, уютно сидя на старом диване, — мною лично застрелено 37 человек. (О массовых расстрелах он рассказывал отдельно. — Ю. Д.) Я умею убивать людей так, что выстрела не слышно. Секрет такой: я заставляю открыть рот и стреляю вплотную. Меня только теплой кровью обдает, как одеколоном, а звука не слышно. Я умею это делать — убивать. Если бы не припадки, я бы так рано на пенсию не ушел».

О славном милиционере, ставшем сперва чекистом, а потом эпилептиком, в начале гласности я рассказал по «Голосу Америки». В ряде советских изданий появились обвинения в том, что я оскорбил честь человека, преданного родине, героя, честно служившего ей всю свою энкаведешную жизнь. Тогда настал черед возмутиться американцам. Збигнев Бжезинский удивлялся в журнале «Комментарии»: «Если бы Карташов был в СС, разве не было бы негодования, требования его судить?» При этом Бжезинский разделял точку зрения, что партия и КГБ — преступные организации.

Теперь из этих организаций идет, так сказать, «утечка мозгов». Государственные преступники карташовы идут в новые правительственные структуры и в частный сектор. Стоит ли удивляться тому, что происходит в растерзанной стране?

Вдумайтесь: двенадцать лет одиночка-убийца действует почти открыто. Никто ему не мешает. Мне скажут: вы не спе-

циалист, а случай уникальный. Возможно. Но — полсотни трупов, следов и улик видимо-невидимо. Чем же занималась ростовская милиция двенадцать лет, если раскрываемость преступлений по этим пятидесяти делам была равна нулю? Ах да, простите, когда до высокого начальства слухи о бездействии ростовских ментов дошли, тогда выбрали признания из невинного человека и его расстреляли за одно из этих убийств.

Убийца жил в одном месте, не бегал, не скрывался, не переезжал из города в город, как это бывает. Чего стоит профессионализм защитников правопорядка? Задержали — выпустили. И он снова убивал. А окончательно поймали — случайно, несмотря на то, что задействовали тысячи людей: оперативников, солдат, дружинников, стукачей, активистов-добровольцев. В казне денег нет, а тысячам холмсам платят за то, что они ловят одного преступника.

И опять мне не по себе. Если долгие месяцы вся милиция города Ростова (а к ней подключили и другие города) сосредоточилась на ловле одного, то какой стала криминогенная обстановка? Что делалось в этом городе и окрестностях? Ведь настала полная вольница для всех остальных, кто не в ладу с законом.

Какая разница между Карташовым и Чикатило? Принципиальная. Карташов — официальный убийца на службе, что-то вроде палача. Он послушно выполнял указания, присовокупляя к ним личный энтузиазм. Убивая, Карташов укреплял порядок, нужный вышестоящим, получал за убийства повышения по службе, звания, зарплату, премии, пайки, ордена. Чикатило же убивал без приказа сверху, от одной страсти. Поэтому карташовы — профессионалы, чикатилы же — дилетанты, занимаются убийствами в качестве хобби. Карташов — государственный человек, Чикатило — кустарь, частник. Страшно сказать, но и тут соревнование государственного и частного сектора, — судите сами, какой работал более эффективно. Мне кажется, тут социализм обошел всех.

Чикатилы нарушают порядок, режут людей без согласования. Но — бывают периоды, когда такие преступники выгодны. Они создают страх, панику, недовольство определенными структурами власти, значит — пусть убивают. Это была мето-

дика Ленина, стиль КГБ, это практика МВД в лагерях и сегодня. И только когда чикатилы становятся опасными для престижа покровителей, их, идя навстречу общественности, ликвидируют.

Я хорошо знаю Ростов-на-Дону, не раз там выступал. Среди ростовчан были приличные писатели, которых задвигал в тень Шолохов, хорошие театры, любознательный, благодарный читатель. Не дремали там и доблестные органы. Когда в середине семидесятых нелегкая понесла меня на Всероссийском совещании писателей заговорить о позорном герое литературы Павлике Морозове, то не успел я вернуться в Москву, как начались неприятности. Буквально так, как сказал, если память мне не изменяет, Аркадий Бухов: «Я пострадал за наш народ, который я, будучи случайно в Костромской губернии, очень любил».

Бороться с преступностью — это вам не за антисоветские анекдоты сажать. И похоже, случай с рекордистом-насильником лучше всего демонстрирует, чего стоят заявления обновленного ЧК об их задачах в демократическом обществе. Раньше была чистая работа: читали стишки и выискивали намеки, а найдя — забирали интеллигентов и, поигрывая мускулами, наслаждались властью. Годы прошли, а я вижу их лица, помню их слова:

— Такие, как вы, нам мешают заниматься более важными делами.

Маэстро Чикатило начал при Брежневе, когда диссиденты отвлекали службу безопасности от занятий безопасностью. И, конечно, их отвлекали шпионы и диверсанты, которые хотели отравить наши советские колодцы. Еще их отвлекала секретность: все надо было засекречивать, чтобы свои ничего не знали про чужих, а чужие про своих. Кто же стражам порядка теперь мешает? Нынче им можно заниматься тем, чем положено по профессии, и какой же результат? Настал общественный порядок, похожий на тот, что был после революции или после войны.

Помню себя подростком в эвакуации на Урале. Глаз заплыл, губа разорвана, рубаха в крови. Бабушка и мать причитают. Попросили на улице прикурить, ответил, что нету. За это избili. Кривая преступности по всей России подскочила после вой-

ны. Кажется, амнистию сделали. Грабили, раздевали, убивали ни за что. Сталин, говорили тогда, решил вопрос просто: морских десантников перебросили с фронтов, которые прекратили существование, в города, разбив на группы. Здоровые молодые ребята в черных бушлатах с автоматами пошли по улицам. С одним из таких я после познакомился. Приказ был: при подзрении на нарушение порядка убивать на месте. В считанные недели стало тихо.

Надеюсь, такое правосудие в Россию не вернется. Но существующее удручает. Может, старые кадры неспособны работать в новых условиях? Именно ЧК и милиция всегда похвалялись тем, что у них сто процентов членов партии. Не надо, по моему, судить коммунистов за то, что они коммунисты. Не надо их разгонять за приверженность путчистам. Их вина в данном случае — неспособность ловить преступников, то есть просто профнепригодность.

Недавно друзья прислали мне из Москвы замечательную реликвию, чтобы не забывал прошлое: набор пластинок фирмы «Мелодия» под названием «Песни и марши советской милиции». Среди сочинителей, среди певцов с бархатными голосами многим из нас известные имена — милицейские соловьи. Имена хотели заручиться контактами с органами. Смотрю на пластинки — оказывается, еще будучи в едином СССР, милиция уже готовилась разделяться: марши пели в разных районах свои. Был «Марш грузинской милиции», был «Марш ростовской милиции». И хотя по громыханью барабанов трудно отличить шумную Куру от тихого Дона, да и по текстам нелегко — все марши высокохудожественные.

Кто же нам скажет, что зря время прожито,
Если сквозь бури мы к цели пришли?

Не знаю, должен ли нынче, когда через цель уже перешагнули, хор ростовской милиции петь «Верны мы долгу своему всегда» или «Моя милиция меня бережет». Почему бы и не спеть, когда одержана всемирно-историческая победа над Чикатило? Хотя вообще-то ростовским детективам своего героизма лучше бы стыдиться. Ведь это они некомпетентностью и

разгильдяйством наращивали число убийств. Они по вечерам слушали «Милицейский вальс», а Чикатило тихо затаскивал в лес девочек. Менты начали суетиться, когда статистика перевалила за полсотни, вместо того, чтобы бить тревогу после первого же преступления. У жителей среди бела дня исчезали дети, сестры, братья, а они пели: «Нас революция звала солдатами». С милиции и с ЧК спрос если не уголовный, то моральный, не политический — человеческий. Что-то в этой победной эйфории по поводу ареста Чикатило не слышал я от них ни единого слова покаяния, признания вины. Одно хвастовство.

Дело не в названии, но в самом слове «милиция» есть что-то противное. Да и по сути это ведь значит «военная служба» и «ополчение, выставляемое в случае войны». Резон в милиции был, поскольку партия семьдесят пять лет вела войну с народом. Но если народ победил партию, то логично вернуться к тем органам правопорядка, которые существуют в нормальных странах. К тем органам, с помощью которых, согласно «Словарю иностранных слов» сталинского времени, буржуазный строй «осуществляет реакционную власть антидемократическими, противонародными методами разнузданного произвола». Полиция тоже не идеальна, но что, скажите, в этом мире идеально, кроме женщины, которую вы любите?

Бывают периоды и страны, когда и в которых ценность человеческой жизни падает. Хочу ошибиться, но понимают ли те, кто добрались и еще рвутся сейчас к власти в России, что там, судя по происходящему, наступает (а то и уже наступил) период, когда цена жизни человека опять становится копеечной, не успев как следует подорожать. Копеечной не для самих людей (каждый знает себе цену), а для власть предержащих, вот что страшно. Они озабочены дележом стульев, сведением счетов друг с другом, ценой приватизируемого, стоимостью рубля, энергоносителей и пр. И в суете борьбы забыли, что человек бесценен сегодня, сейчас.

«Нам оставили тяжелое наследство. То, что мы делаем — это все для людей», — доказывают они. Да разве все предыдущие говорили что-нибудь иное? И Гражданская война, и военный коммунизм, и чистки — все это было для нас, для людей. А результат известен.

Хорошо, что права человека объявляются теперь высшей ценностью в стране, которая на протяжении всей своей истории занималась тем, что эти права топтала. Вот бы еще объявить ценностью самого человека, которого государство обязано охранять. Как всегда в России, крайности слиты воедино: прав и свободы печати навалом, но нет физической возможности жить. Мы выбирались из страны, в которой не было политической свободы. Потом люди начали бежать от нищеты. Теперь мы получаем просьбы о помощи от людей, которые боятся выпустить детей во двор.

У меня нет сомнений в порядочности гуманистов-авторов. Согласен: проблема милосердия в стране, вскормленной на ненависти, еще как актуальна. Государственная комиссия для помилований в России тоже нужна. Но почему в стране с сотнями миллионов людей милосердие нужно проявлять в первую очередь по отношению к преступникам? Ведь они все-таки совершили уголовно наказуемые деяния. Да, справедливость суда необходима, ошибки есть, в российских тюрьмах нечеловеческие условия. А на воле они, позвольте спросить, человеческие?

Авторы считают, что для осужденных к пожизненному заключению (вместо смертной казни, запретить которую в России требуют европейские организации) надо строить новые достойные тюрьмы, чтобы они отвечали современным требованиям, принятым в цивилизованном мире. Можно пойти и дальше, догоняя Америку, где и права смертника могут обретать своеобразные формы: например, в США, в некоторых штатах, где существует смертная казнь, приговоренного спрашивают, какой казни он желает подвергнуться: умереть в газовой камере или от инъекции, а во Флориде еще есть возможность сесть на электрический стул. Тюрьмы надо строить. Но в России сотням тысяч честных людей, в том числе беженцам и военным, тоже надо построить крышу на головой, хоть какую-нибудь, пускай даже не отвечающую современным требованиям.

Я не атеист, но как-то не очень верится в отчеты по телевидению сотрудников МВД: разослали в тюрьмы Библию и получили письма от уголовников, которые, прочитав, сразу раскаялись. Впрочем, тюремщикам видней. Может, следом за поспеш-

ными раскаяниями поспешно выпускать бывших грешников на свободу?

Не низкий правовой и деловой уровень органов порядка сверху донизу, не бескультурие суда и прокуратуры, не отсутствие цивилизованного законодательства в новой России, не забота о миллионах задыхающихся от бед не виноватых ни в чем простых и не простых людей волнует милосердов. Главное, оказывается — облегчение участи Чикатило, к которому предлагается немедленно применить гуманное отношение.

Слов нет, проблема «за или против» по части смертной казни и важна, и стара, как само человечество. К тому же, экономически для государства пожизненное заключение дешевле, чем смертная казнь. Но пока, мне кажется, чего бы ни требовало международное законодательство, мера состоит именно в том, чтобы для особых случаев (подчеркну это) вроде дела Андрея Чикатило в законе наличествовала статья о смертной казни.

Возможно, читатели со мной не согласятся, но, по-моему, милосердие нужно людям, а Чикатило — не человек. Убийца невинных, да еще в таких количествах, не имеет права на свою жизнь. Запрет смертной казни есть гарантия ненаказуемости, которая поощряет такого убийцу. Русский Чикатило достиг зенита всемирной славы. Американские славные чикатилы, пожизненно здравствующие в тюрьмах за счет тех, кого они еще не убили, тоже неплохо живут.

Мне кажется, если утвердят приговор, Чикатило все-таки расстреляют. На одного «нечеловека» в мире будет меньше, и чьи-то дети останутся в живых, в том числе, возможно, дети сторонников сохранения жизни маньяка. Милосердие означает готовность помочь, а помогать надо не чикатилам. Им надо мешать.*

В последнее время в хаосе российской прессы все больше статей, в которых вас успокаивают. Генеральный прокурор России объясняет, что раскрываемость преступлений в Италии еще

* В марте 1994 года президент России Ельцин отказал Чикатило в помиловании, и, согласно официальному сообщению, многоубийца был казнен. В апреле 1996 года в том же Ростове-на-Дону был арестован за изнасилование сын Чикатило.

ниже, что органы правопорядка России вполне контролируют положение в стране, что бомбы, дескать, бросают в Лондоне. Из другой статьи узнаешь, что по захватам заложников в Москве вообще полный ажур, всех освобождают. И никто из ответственных не спросит себя и других: а почему вообще возможно в Москве среди бела дня стать заложником? Почему поездка в Италию или Англию не сопровождается таким риском?

А на другом полюсе — преступники, которые тоже читают прессу. И, анализируя методы работы самодовольных стражей порядка, гогочут. Им понятно, что беспокоиться не нужно. Если ловят одного на шестом десятке тяжких преступлений, то у каждого из них в запасе пятьдесят потенциальных убийств — руки развязаны.

Только что звонил своим в Москву — у них в подъезде дома у метро «Аэропорт» обычный эпизод. Женщина часов в семь вечера тут, на людной улице, спросила двух стоящих возле дома молодых людей, где подъезд номер пять.

— А вот он, — показали они и следом за ней вошли в подъезд.

Молодые люди приставили ей нож к горлу, раздели, привязали к батарее центрального отопления и ушли с ее одеждой. Она в конце концов сама отвязалась и вышла босиком на улицу — там как раз выпал первый снег. Обнаженная эта женщина шла по снежку босиком навстречу прохожим и была рада.

Поистине немного надо человеку для полного счастья. Ведь так гуманно обошлись: не убили, не избили, не изнасиловали, а вполне могли бы. Никто ведь не мешал.

ТЕХАССКИЕ ЗАСКОКИ

«Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 4

Более опытные друзья, раскиданные по земному шару и уже хлебнувшие свое, были в ужасе: там ведь духота, надо жить с аквалангом. Ну, с воздухолангом — какая разница? Это пустыня, там салат из кактусов едят — колючки вместо перца. Тем друзьям, которые поддерживали меня, я по сей день благодарен.

Мы прилетели в столицу Техаса Остин в январе. Не было ни духоты, ни жары. Моросил обыкновенный московский дождичек. Шокировала не экзотика, а нечто другое. Это была родная —

Очередь за колбасой

Друзья повезли нас обедать. Если не считать тюрьмы и этой огромной, часа на полтора, очереди за колбасой (а оказалось, что там давали еще и мясо), ничего примечательного не было в этом маленьком техасском городишке по имени Локхард.

Расположен он в двух часах езды от знаменитого космического Хьюстона, и туристы рулят туда. А кто задержится в Локхарде, может посетить краеведческий музей, который гордо называется «Посольство Техаса», и посидеть в тюрьме.

Тюрьма старая, бежать из нее, говорят, проще пареной репы, по этим двум причинам ее и закрыли. Уголовники сидят в современной тюрьме, а эта разваливается. Пока вы проверяете прочность решетки и лежите на железной койке в камере-одиночке, вокруг стрекочут фото- и видеокамеры, — это туристы спешат увековечить друг друга. Внутрь пускает бесплатно старичок, который норовит рассказать вам об этой тюрьме больше, чем вам хочется знать. От щедрости души пожертвуйте один доллар на ремонт исторического объекта.

В тюрьме инстинктивно возникает чувство голода, и начинаете думать о колбасе, которой вас обещали угостить. Где же она? Да вот, в ближайшей забегаловке. Очередь туда тянется вдоль стены дома по улице на целый квартал. Что-то слышится родное, что-то видится такое, от чего мы немного отвыкли. Двигаемся медленно. Выглянуло солнышко и начинает припекать. Кто-то впереди нас занял очередь заранее, и к нему подвалила целая группа лиц с детьми в колясках и на руках — семьи две или три. Так и хочется крикнуть: «Вы тут не стояли!»

Один нахал просто прошел внутрь и уже сел за столик. А очередь не возмущается. Я не выдержал, спросил простоватого человека позади меня: «Ведь он пролез без очереди!» Сосед кивнул и сказал равнодушно: «Наверное, он спешит...»

Наконец попадаем внутрь. Помещение старое, потолок в копоти. На подоконниках древняя мясорубка, ржавые топоры, старый самогонный аппарат. Двигаемся по проходу между длинных столов. За ними едят и пьют счастливчики, которые достали до победы. Посуды нет, пьют, как говорится, из горла. Всем очень весело, а вы, глотая слюни, стоите. Вдруг колбаса кончится?

Очередь медленно поворачивает за угол, в темноту, вы оказываетесь на кухне. Жарища. Запах жареного мяса. В печи полыхают дрова (говорят, особое дерево, вроде среднеазиатского саксаула), на противнях большими колесами, одно к одному, уложена колбаса. Здоровенные ребята в белых фартуках и красных шапках с надписью «Краузе» колдуют в этом аду, перебрасываясь грубоватыми шутками и потешая очередь. Только теперь начинаешь соображать, что это — часть ритуала, представление, игра.

В другой печи жарятся огромные куски говядины и свинины. Можете заранее присмотреть для себя персональную часть и туда воткнуть флажок, что это стало вашей собственностью. Как только кусок будет готов, вам от него отрежут.

И вот добрались мы до самих братьев Краузе, двух седоволосых хозяев колбасной. Один священнодействует у плиты, вынимая из огня колбасу (только он точно знает, когда вынимать), другой обслуживает посетителей (только он знает, как правильно резать).

Колбасная фирма немцев Краузе существует в Техасе почти столетие. Секрет уникальной колбасы и особым образом на особом дереве зажаренного мяса прадед Краузе, эмигрант вроде нас грешных, привез из южной Германии, где тайну хранили их предки. Тоже, небось, боялся ехать в Техас, а вот осела семья и созида-ет это живописное чудо, вызывающее обильное слюноотделение.

Не из всякого мяса изготовишь такую колбасу. Среди соседей-фермеров есть особо доверенные люди. Телят и поросят особых пород они кормят по особой диете и только зеленой травой, без химических добавок, а трава та вырастает без минеральных удобрений. Таковы условия колбасников Краузе. А на кухне всё: резка мяса, фарш и прочее — делается только вручную и потому так медленно. В соседнем ресторане жарят барбекю — ребра молодых барашков. Там электронной плитой управляет компьютер. А здесь — как в средние века. Машины меняют вкус колбасы, считает Краузе.

Выбрав, наконец, колбасу, мы усаживаемся на длинные лавки и принимаемся за еду, конечно же, руками: ножи и вилки тоже портят вкус, описать который я не берусь, пусть редакция для этого наймет Гоголя. Под нежнейшее мясо соусы на столах тоже особые. Говорят, нигде в Америке нет вкусней колбасы и острее-умнее шуток насчет гурманства, чем у братьев Краузе в Техасе.

Стало быть, едут со всей округи, чтобы простоять в длинной очереди? А разве Краузе не могут открыть филиалы, как делают другие? В принципе да, могут, хоть по всей стране, и станут, наверное, миллионерами. Кстати, за стенкой забегаловки колбасники Краузе держат свой магазин. Там берите домой безо всякой очереди холодную или горячую ту же колбасу. Ту же, да не ту! Вкус, понятное дело, утасует. Кроме того, без очереди вы лишаете себя удовольствия лицезреть колдовство колбасных мастеров. Братья Краузе хотят, чтобы к ним всегда стояла очередь. Вот и решайте почти гамлетовский вопрос: стоять или не стоять?

«Лица техасской национальности»

Техасцы очень гордятся своей независимостью. По сравнению с остальными американцами, она у них в квадрате. Хотя они стали частью США еще в первой половине XIX столетия,

по сей день есть граждане, которые в душе и поступках независимы от Соединенных Штатов и вывешивают над своим домом только техасский флаг. По-английски они говорят на таком своем диалекте, что приезжему из другого штата ничего не понять, и первое время где-нибудь в глубинке с необразованными местными людьми я нуждался в переводчике с техасского на английский.

Техасский патриотизм иногда анекдотичен. Мы ехали на машине в Нью-Йорк, и парень в техасском отеле спросил: «Вы куда, в Штаты?» Патриотизм имеет и пищевой облик: в магазине лежит сыр в виде карты Техаса как независимого государства. Некоторые техасцы заявляют о необходимости отделиться от Америки и, в отличие от лиц в некоторых других странах, где власти за это преследуют, техасцы могут делать это открыто.

Но чаще техасская независимость — любимая тема юмористов, ибо, говоря всерьез, техасцы — настоящие американцы. Принципы свободы для техасцев дороже всего на свете. Каждый из них настолько свободен и отделен от государства, что, не будучи анархистом, трудно придумать такую степень свободы, которой у них нет. Мой приятель, весьма популярный техасский детский писатель и антицивилизант, ходит в лохмотьях и живет один в лесной хижине-развалюхе, потому что жизнь в городе, говорит он, слишком для него дорога и неприятна. При этом он купил себе одноместный самолет и появляется к ужину у друзей в разных частях света.

Средний тхасец любознателен и в чем-то наивен. Прежде всего он у вас спросит:

— А что знают про Техас в России?

Не задумываясь, я отвечаю:

— Там знают о Техасе три факта. Во-первых, про пустыню и жару, во-вторых, про нефть и, в-третьих, про космос.

И мы оба смеемся.

Дело в том, что на практике в техасской пустыне не меньше радио- и телевизионных станций, чем в любом другом штате Америки. А сама пустыня — это разбросанные тут и там просторные зеленые поля и холмы, заросшие лесами, вроде лучших мест Кавказа или Крыма. Это реки, такие, как легендарная Гваделупе, и озера, естественные и созданные. Это дороги

по два, а то и по пять рядов в каждую сторону. Аккуратные городки, как в Западной Европе, с особняками и бассейнами, ценой значительно дешевле, чем в других штатах.

Центры тexasских городов не отличаются от больших городов Америки своими стеклянными, отражающими плывущие облака небоскребами и витринами, в которых чего только не рекламируют. Разве что тут меньше преступности. В центре Остина немало фонтанов, по вечерам переливающихся в лучах цветомузыки.

В Техасе чище, чем в других штатах, особенно сравнение не в пользу Калифорнии. А говорят, было время: банки от кока-колы валялись вдоль дорог. Один университетский профессор, который бросил преподавать и стал фермером, объяснил так:

— Погрозил нам Бог пальцем: «Не сорите в Техасе!» И мы перестали.

На деле за чистоту в штате взялись общества, школы, фирмы, местное правительство. Взялись все для себя самих — и сегодня везде чисто. О прошлом напоминают надписи на дорогах: «Не сорите в Техасе!» Арестанты из тюрем в красных куртках, собирающие мусор вдоль дорог, — добровольная работа, без охраны, но если сбежишь, добавляют срок.

По-настоящему жарко и душно здесь около полугода. Везде: в магазинах и учреждениях, в цехах и в классах, в забегах и, конечно, в автомобилях — шуршит прохладный ветер в кондиционерах. Только — не открывайте окна. И в жару много искусственных катков, на которых катаются от мала до велика. Зато остальное время года — можно считать, осень. Осенью, когда тротуары не такие горячие, на улице появляются прохожие, гуляющие босиком. Но бывают ветры, и штормы, и ливни. Несколько лет назад в Остине поток унес с улицы женщину вместе с автомобилем. Сейчас русла сухих рек реконструированы на случай возможного наводнения.

Нефть перестала играть в Техасе ведущую роль. Спад этой промышленности привел к оттоку рабочей силы в другие штаты. Зато подешевели дома. Продавались небоскребы закрывшихся фирм. Местные налоги в Техасе отменены вообще с целью развития края. Сейчас опять поднимается электронная

промышленность, и экономисты предсказывают новый подъем экономики штата.

Что касается космических исследований, то Техас — это действительно место, откуда Америка летала на Луну, куда каждый может приехать и, купив за пять долларов билет, увидеть запуск шаттла. Никакой мании секретности в городе Хьюстоне, где все это создается, нет. Но техасцев космос не очень занимает. У них есть дела поважней.

Поважней, например, родео. Тысячи автомобилей съезжаются к гигантскому стадиону, и общественники в широкополых шляпах и верхом на лошадях помогают вам запарковаться. Гигантские рефрижераторы с пивом и мороженым тают на глазах. Начинаются ковбойские соревнования, кто дольше усидит на необузданном мустанге или бычке и кто быстрее набросит лассо на бегущего теленка. Не хотите рискнуть и попробовать?

Здесь борьба, иногда с риском для жизни, азарт, страсть. Здесь в лучах цветных прожекторов местная Кармен поет да еще заставляет танцевать лошадей под одобрителный гул толпы. И смех трибун, когда соревнуются клоуны. И грохочущий джаз, плывущий мимо вас на вращающейся платформе вроде летающей тарелки. А вокруг стадиона ярмарка, на которой можно купить все — от самолета до уникального быка-производителя. И космические карусели за полтинник захватывают дух сильнее, чем, возможно, реальный полет в Космос.

Техасцы могут показаться наивными, но они любят учиться и делают это в любом возрасте. Техас подвержен гигантомании, и это земля гигантских университетов. Стать настоящим техасцем нельзя — для этого надо здесь родиться. Или хотя бы прожить много лет. Но можно чувствовать себя здесь как дома — так ощущают себя в Техасе японцы, чилийцы, китайцы, французы, филиппинцы, эквадорцы, шведы, а также и русские.

Другая черта техасцев — легкость, с которой они готовы прийти на помощь. Это везде: на тротуаре, в магазине, в аэропорту. На улице человек спрашивает пожилую женщину:

— У вас такое печальное лицо. Могу я чем-нибудь помочь?

Через несколько дней после моего приезда позвонил незнакомый человек и сказал:

— Я знаю, что вы только что эмигрировали. Как вы добираетесь на работу?

— На студенческом автобусе, — ответил я. — А что?

— Я держу лишнюю машину на случай гостей, — сказал незнакомец. — Возьмите, пока не купите, и пользуйтесь.

На его старенькой, дребезжащей «Хонде» я ездил пару недель, пока не приобрел свою.

Безработные бизнесмены

Деловые люди в Техасе часто моложе, чем в других штатах и странах. Тип хозяина, описанный Диккенсом и Горьким, не увидишь теперь даже в сатирическом кино. Современный техасский бизнесмен — чаще всего окончил университет, иногда — защитил диссертацию. Он в джинсах, но в чемоданчике у него всегда лежит представительский костюм, вторая электробритва с адаптерами для разных стран и плавки, поскольку ему приходится мотаться по всему миру. Он занимается спортом, потому что от его здоровья зависит процветание фирмы. Работает он не от звонка до звонка, а пашет, сколько нужно. Но если дела не пошли, если стоимость продукции чуть выше, чем у других или качество чуть ниже (другие-то тоже не спят), тогда — служащие оказываются на улице. И сам бизнесмен становится безработным. В Техасе таких примеров хоть отбавляй.

Предприимчивый повар несколько лет назад открыл свой ресторан с европейской кухней и преуспевал. Он купил еще несколько ресторанов. А потом, в кризис, посетителей стало мало. А может, европейская кухня перестала быть желанной. Я с этим поваром познакомился, когда все рестораны ему пришлось уже свернуть. О разорении этот техасец говорил не то чтобы весело, но без трагедии. Теперь он снова работает поваром и мечтает открыть ресторан, на этот раз — с мексиканской кухней.

— Такой уж я повар — со страстью делать бизнес, — толковывал мне он. — Я раньше не знал географии: Европа далеко, а Мексика близко.

Вот этот сдержанный, не показной оптимизм мне кажется одной из примет техасской генетики. Причем удача рассматривается как результат предприимчивости и упорства, а под тру-

дом понимается работа от зари до зари, если надо, то восемьдесят часов в неделю без дней отдыха.

Соседом у меня был рядовой программист, симпатичный и открытый Джон Эндрюс. Когда электронная фирма, где он служил, закачалась, его уволили. Он получил пособие по безработице (фирма обязана была платить ему в течение полугода около тысячи долларов в месяц). Ездил наш безработный на своем стареньком спортивном автомобиле в поисках работы, но ничего не подворачивалось. И переезжать он не хотел: у него была тут постоянная подружка.

От скуки Джон играл со своим домашним компьютером в разные игры. Раз он показал мне статью экономического обозревателя в газете «Остин американен стейтсмен». Тот писал: многие в Техасе, штате открытых возможностей, мечтают о своем бизнесе, но у них никогда нет времени.

— Слушай, — сказал Джон, — это как раз то, что у меня сейчас есть — время! Меня уволили с работы, выходит, согласно этому парню, мне повезло.

Сосед мой решил рискнуть. Сначала он провел пару месяцев дома за компьютером, придумывая новую захватывающую детективную игру. Деталей не помню, но, естественно, там полицейские гонятся за мафиози, и борьба идет с переменным успехом. Потом Джон поехал в Бюро деловой информации штата Техас, задача которого — поощрять частную инициативу и бесплатно консультировать начинающих капиталистов. Полицейская игра понравилась владельцу компьютерного магазина и стала продаваться. На вырученные деньги Джон купил несколько компьютеров и снял помещение для собственной фирмы, которую назвал очень просто: «Джон играет». Постепенно он нанял трех компьютерщиков, и дело пошло.

Разумеется, с доходами и налоги росли. Часть денег уходила на рекламу. Владелец фирмы «Джон играет» обязан своих служащих хоть как-то страховать, оплачивать им отпуска и будущие пенсии. А в случае увольнения — платить пособия по безработице. Фирма «Джон играет» шла в гору, и вдруг Джон позвонил и сказал:

— Джон больше не играет. Не устоял. Кто-то оказался умнее меня. Но ты не расстраивайся...

— Я?! А ты сам?

— Я даже не хотел тебе звонить, боялся, ты будешь переживать. А у меня все отлично! Только придется снова искать работу программиста.

Трезвые мысли на нетрезвую тему

Во всех штатах ради здоровья населения с успехом ведется борьба с употреблением спиртных напитков, которых, однако же, почему-то производится все больше. В Техасе, надо прямо сказать, борьба эта ведется недостаточно, хотя разнообразным программам и обществам трезвости нет числа. Местное правительство не призывает население меньше пить. Ни в одной из речей нынешний губернатор пока не остановился на вопросах пьянства, видимо, в свое время не изучал соответствующих постановлений Горбачева. На экране телевизора его то и дело видишь на официальных приемах с бокалом в руке. Что нынче пьют техасцы?

В Техасском университете, в Остине, посреди дня, проходило очередное заседание Студенческого винного клуба. О заседании этом загодя сообщили объявления в газете «Daily Texas». Я, конечно, пошел.

Вход свободный, но народу собралось немного: узкий кружок любителей истории вина и, конечно, те, кто изучают рецептуру вин разных стран. Теоретическая часть проходила в обстановке стопроцентной трезвости. Однако внеся скромную плату — два-три доллара — можно перейти от теории к практике, что я немедленно осуществил.

В клубе не только студенты, но и преподаватели: химики, агрономы, инженеры, в общем, специалисты в этой третьей (после проституции и журналистики) древнейшей профессии. Приходят и те, у которых вино — хобби, как изготовление, так и дегустация. Такое же хобби, как у нас на родине — самогонование.

Заглядывают сюда и представители винодельческих фирм. Им нужны специалисты, не только знающие дело, но и любящие его, а тут есть шанс с ними познакомиться заранее. Фирмачи с огорчением говорят, что Винный клуб теперь пользуется среди

студентов несравнимо меньшей популярностью, чем, скажем, Клуб жизни под водой, в котором студенты строят подводный дом, чтобы в летние каникулы пожить в нем на дне океана.

Конечно, студенческие общежития гудят, когда празднуется начало или конец учебного года или день рождения. Пиво покупают в бочонках с насосом — это дешевле. Шум дикий, и музыка орет до четырех утра. Или — до тех пор, пока соседи не вызовут полицию. Полиция приезжает, проверяет возраст пьющих: тех, кто не достиг барьера, переписывают и звонят родителям. Остальных просят вести себя так, чтобы снаружи было тихо. Один раз я и сам позвонил, не будучи в силах заснуть. В полиции ответили, что до меня уже было 136 звонков «на успокоение», и очередь дойдет не скоро. «Но мы постараемся!»

И все ж американская пьянка выглядит жалко и, я сказал бы, трезво по сравнению с отечественной. По Шекспиру, это «Much ado about nothing» — много шума из ничего.

Что пьют тexasцы более крепкое, чем пиво? Ответить нелегко. В центре столицы Техаса неделю висела огромная реклама: светящаяся бутылка «Столичной» и призыв ее купить. Но стоит бутылка дороже шведского «Абсолюта», известного своим качеством. Потом цену на русскую водку, конечно, снизили, но все равно она не стала продаваться лучше. «Столи» сменила реклама западногерманской водки под названием «Горбачев» (эта водка дешевле), а ее — мексиканская текила (совсем дешевая), с модным плавающим в ней особым червяком. Но водка потому и рекламируется, что тexasцы ее мало пьют, ну, в крайнем случае, уж лучше коктейль «Bloody Mary». А на первом месте, конечно, «Маргарита» — ледяная, с солью.

Большинство пьет в забегаловках и ресторанах. Дороже, зато в обществе. А тот, кто хочет купить выпивку домой, идет не в супермаркет, где покупают вино дилетанты вроде меня, а в винный магазин.

В деревенском ликерном магазине, как в музее, я час глазел на полки: вина белые, розовые, красные и зеленые, портвейны, аперитивы, настойки, наливки, джины, коньяки, ликеры, разных лет, фирм и, конечно, водки со всего мира. Хозяин магазина повел меня в подвал и на мой вопрос, сколько у него сортов, нажал кнопку компьютера и, улыбаясь, ответил:

— Около шести тысяч названий.

— Из скольких стран?

— Из семидесяти.

Магазин обычно пуст.

— Заходят люди чаще всего среднего и пожилого возраста, — говорит хозяин. — Раньше подростки просили таксистов купить им пивка. Но теперь это прекратилось.

Он спросил меня об этой проблеме в России, и, как вы понимаете, мне было что рассказать.

— Надо бороться не с употреблением спиртного, — сказал он, — а с злоупотреблением, вот в чем дело.

Я перевел ему строчки очень советского поэта Расула Гамзатова, большого любителя этого процесса:

Пить можно всем.
Необходимо только
Знать, где и с кем,
За что, когда и сколько.

Ограничения на алкоголь весьма просты. Стандарты на крепость пива в Техасе (да и по всей Америке) занижены. Можно купить импортное, но оно стоит дороже. В некоторых супермаркетах не продают самые крепкие напитки. Чтобы купить алкоголь, вы должны, если спросят, предъявить водительские права, где указан день рождения. Открытую бутылку вина запрещено держать в автомобиле, а в багажнике можно. Нельзя пить алкогольное в общественных местах, для этого не предназначены. Значит, в ресторане пейте сколько угодно, но не на скамейке в сквере.

Есть в Техасе не только клубы любителей вина, но и общества трезвости — у них свои программы, как без насилия и без запретов убедить людей не пить. Есть анонимные общества трезвости — для стеснительных алкоголиков или тех, кто боится, если на работе узнают, что он ходит в общество трезвости. В таком союзе борцов с опохмелкой у всех клички.

В Техасе редко увидишь человека, лежащего под забором. Кто-то заметил, что выпивший русский становится шумнее и агрессивнее, а выпивший техасец — добрее и тише. Может, это действительно так, если вспомнить, что в войну советским

солдатам давали перед атакой стакан водки. Трудно представить себе подобное в американской армии. Есть определенная культура в этой области. Мораль не снаружи, когда взрослым людям диктуют, пить или не пить, а внутри. Большинство знает великое слово «мера». Кроме того, молодое поколение больше печется о своем здоровье.

Недавно пожилая американка-профессор, преподающая русский язык в одном Техасском колледже, принесла в класс бутылку «Кубанской». Тем студентам, которые хорошо приготовили урок, она наливала глоток водки — попробовать, что пьют настоящие русские богатыри. Об этом своем педагогическом эксперименте профессор рассказала на заседании кафедры.

Коллеги отнеслись к эксперименту с интересом. Одна преподавательница сказала, что если новый метод даст повышение успеваемости, она попробует его у себя. Вряд ли, однако, это станет популярным: как уже было сказано, крепкие напитки здесь не очень уважают. Видел техасского студента, который всерьез напился и попал в лапы правосудия, но это произошло в Москве — пил он с новыми приятелями без достаточной тренировки.

Значительный процент молодых техасцев обоих полов предпочитает из всех видов алкоголя — воду со льдом. Впрочем, один мой знакомый, приходя к нам в гости, каждый раз приносил две коробки пива — двадцать четыре банки — и сам их выхлестывал. Недавно он умер. Так выпьем, господа-товарищи, за борьбу с алкоголизмом в Техасе!

Кошки и собаки — тоже техасцы

Техасцы активно участвуют в демонстрациях и сочиняют гневные петиции, разоблачая местные власти, которые пытаются ущемить «гражданские права» домашних животных. Проблема становится политической, а политика — дело серьезное.

В полицию позвонила пожилая женщина и просила срочно приехать. Через три минуты две полицейские машины, вызванные по рации, подкатили с сиренами к ее дому. Но ни пистолеты, ни автоматические винтовки с инфракрасными прицелами,

имевшиеся в машинах, полицейским не понадобились, хотя операция была опасной. Женщина попросила снять ее кошку, которая залезла на дерево и отказывалась слезть. Забираться на дерево полицейским, в широкополых техасских шляпах, увешанным рациями, наручниками и прочими брякающими предметами, не хотелось. Но пришлось, ибо близились перевыборы шерифа, и он бы им потерю лишнего бюллетеня не простил. Кстати, шляпа для полицейского, как вы увидите ниже, такой же важный предмет амуниции, как наручники и пистолет.

Преступник (т. е. кошка) оказала сопротивление младшему представителю власти, который полез на дуб. Больше того, она нанесла ему телесное повреждение — поцарапала нос и прыгнула на соседнее дерево. Тогда полез старший, и кошка нехотя ему отдалась. Тут и пригодилась большая техасская шляпа: в нее полицейский посадил кошку. Вручив ее хозяйке, полицейские выполнили еще две служебные формальности. Во-первых, они спросили, не нужно ли женщине оказать какую-либо дружную помощь, и, во-вторых, поблагодарили за звонок в полицию.

Происшествие, однако, обеспокоило пожилого соседа, который наблюдал эту историю.

— А хотела ли кошка слезть с дуба? — спросил он полицейских.

Полицейские открыли рты, не зная, что сказать.

— Если нет, — продолжал сосед, — то по техасским правилам это насилие, неуважение естественных (а значит, неотъемлемых) прав живого существа.

И сосед сказал, что он поставит этот вопрос на очередном заседании местного Общества друзей животных, членом которого он является.

Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышат братья наши меньшие, как сказали бы Лебедев-Кумач с Есениным. Собаки, кошки, опоссумы носят ошейники с именем, телефоном хозяев, сведениями о прививках, а подчас и с микрорацией на случай пропажи. Поросята танцуют на задних ногах под музыку Брубека.

Объехав практически всю Америку, нигде я не видел такого обилия учреждений для животных, как в Техасе. Одежда и обув-

ка на все четыре ноги на случай похолодания. Домики с бассейнами для черепах. Для тренировки котят — бегающие на батарейках мыши. В парикмахерских пуделям делают модную стрижку (она много дороже, чем женская) и наводят маникюр на все восемь конечностей (по четыре у собаки и хозяйки). Недавно в газете прочитал объявление: «Сердце разбито: любимый Чарли меня покинул. Большое вознаграждение тому, кто его приведет. Уши длинные, хвост крючком».

— А спросили ли у Чарли? — заметила по поводу этого объявления моя приятельница. — Может, он вовсе и не хочет возвращаться? Может, он разошелся со своей хозяйкой навсегда и уже нашел другую?

Слышал историю про бедного студента, который четыре года ел собачью пищу и, благодаря ей, закончил университет с отличием. Дарю идею предприимчивому читателю, который захочет продать эту рекламу фирме, производящей еду для животных.

Раньше техасцы покупали собаке на полгода пакет и насыпали в миску раз в день. Теперь ставят автоматический дозатор, и он следит за собачьей диетой. Но хочет ли собака есть фирменные шарики? Вдруг она желает человеческой еды? А может, попугай не хочет приготовленной для него витаминизированной гречки, а хочет леденцов? Продаются нейлоновые косточки, чтобы точить отрастающие зубы и когти. А может, щенок хочет рвать мебель и грызть ботинки? Песок для кошек тоже продается, причем такой, который привлекает кошку и уничтожает запах. А как же насчет свободы гадить, где хочется? Никто не может заставить техасца сбрить бороду, даже если она уже закрывает детородный орган. А собаку приводят на поводке, стригут и моют специальными шампунями.

Сейчас модно ездить на маленьких грузовичках, посадив сзади собак, лучше трех. Но хозяин сидит за рулем в прохладной кабине с кондиционером и слушает музыку, а собаки в кузове на солнце. За руль им сесть не дают. О каком равноправии в Техасе можно говорить! Для животных различных регламентаций в Техасе все больше.

Владельцы многоквартирных комплексов не всегда разрешают держать крупных собак или животных вообще. Амери-

канцы любят путешествовать в самолетах с собаками и кошками. Но разрешается их перевозить только в клетке. Есть рестораны, куда с собакой просят не входить. В городах все больше мест, где собаку выгуливать нельзя. Но вот парадокс: чем лучше жизнь животных, тем они ленивее.

Есть собачьи спецшколы, и действительно серьезные. Там обучают животных ходить со слепыми на зеленый светофор, вынюхивать на почте в письмах наркотики, бегать в противогазной маске по лестнице, чтобы выносить из горящего дома детей. Но разговор наш — об обычных домашних зверях, которых хозяева держат из любви и для удовольствия. Они (животные, а не хозяева) от комфорта и любви теряют свои профессиональные навыки. Кошки не ловят мышей. Собаки чужому в доме норовят лизнуть щеку. И хотя в Техасе почтовое ведомство все еще снабжает своих служащих в сельской местности устройством, отпугивающим собак, кусают почтальонов все реже.

Не скучно ли жить на свете, если даже укусить никого не хочется?

Париж в Техасе

В большинстве стран, особенно в Европе, твердый порядок: продмаги открыты с девяти до семи и ни минутой больше, промтоварные — с десяти до пяти или семи. А в сельской местности — до трех. В воскресенье все мертво. Покупатели и продавцы отдыхают. Централизован распорядок в кафе и ресторанах. В Техасе, как и во всей Америке, неразбериха. Что и когда открыто?

Небольшой городок Париж в Техасе. Понедельник. Около одиннадцати вечера. Маленькое кафе. Внутри пусто. Голодные, осторожно просовываем голову в дверь: «У вас открыто?» Белобрысый парнишка, весь в веснушках, начинает нас кормить ужином, попутно рассказывая о себе и выясняя, откуда гости. Поскольку мы собираемся переночевать в ближайшем мотеле, уходя, интересуемся, когда кафе откроется завтра утром.

— Никогда не откроется!

— То есть?

— Как открыться, если не закрывается?

Кроме нас, случайных путников, никто не заходил, городок Париж спит, а кафе действует круглые сутки: вдруг кто-нибудь проголодается? Владелец кафе и его жена работают днем, нанятый студент — ночью. Он повар, бармен, официант, судомойка и — вышибала тоже, если понадобится. Выйдя из кафе, мы обнаружили, что зря беспокоились насчет завтрака. Рядом светился «Макдональдс», а по соседству была открытая веранда в небольшом садике. Над деревом плавал воздушный шар с надписью: «Обслуживаем с утра до вечера». Не ясно, что имели в виду хозяева, но около полуночи веранда работала, в ней веселилась компания. Рано утром веранда тоже была открыта.

Разумеется, у входа в большие магазины выведено: «Работаем 24 часа в сутки». Если вам в четыре утра срочно понадобится не только молоко, но и велосипед, ради Бога!

С продавцом маленького магазинчика африканских масок мы разговорились насчет этого.

— В принципе техасец не хочет думать, когда в магазин можно зайти, а когда нельзя, и магазин должен быть открыт всегда, что бы в мире ни случилось. Но мы с женой держим торговлю сами. Есть мы можем ходить по очереди, но чтобы у нас были дети, нам надо вместе спать, вот и всё.

Никто не может постановить, когда открывать или закрывать магазин, — ни правительство Техаса, ни министерство торговли, ни власти графства. Перед праздниками или в туристский сезон владелец магазина закрывает дверь ближе к ночи. Сапожник работает только днем. Впрочем, ночью, если приспичило, ботинки можно сдать в ремонт в магазине «Эйчиби». Магазин для новобрачных вечером закрыт — жениться придется не раньше, чем утром. Большие универмаги, магазины одежды, хозяйственные, мебели и тому подобные работают до девяти или десяти вечера — так хотят владельцы торговых фирм.

Никаких перерывов на обед в магазинах, как это заведено в России, быть не может. Служащие обедают по очереди, по гибкому графику. Какой же дурак упустит покупателя, чтобы он пошел к соседу? Впрочем, на дверях маленького парфюмерного магазинчика видел надпись: «Извините, откроемся через неделю: уехали отдохнуть на Гавайские острова».

Социолог из Техасского университета сразу отверг мою идею хаоса в этом деле.

— Спрос тщательно изучается, — сказал он. — Круглосуточно работает та часть торговли, которая нужна ночью покупателю и может принести доход. Если можно продать больше, предприниматели, будьте уверены, своего не упустят. Реклама круглосуточности поднимает престиж. К тому же всегда открытые магазины или забегаловки, так сказать, разреживают дневное посещение, не бывает переполнения в час пик.

Само собой, круглосуточно работают бензоколонки и автоматические мойки машин. А вот ночью отремонтировать машину нельзя. Хозяин мастерской просто даст вам другую, а вашу оставит — поменяете, когда он вам позвонит. В техасском провинциальном Париже ночью вы можете подойти к ярко светящемуся роботу, и он продаст или выдаст напрокат видеофильм. В этом Париже (в отличие от настоящего, где многое закрывается рано) на любой почте можете сами отправить посреди ночи письмо или посылку, купив в автомате марки или купоны для экспресс-почты, которая доставляется в любую точку земного шара за два дня, а внутри страны — за ночь. Там же, на почте, если вы написали ночью гениальные стихи или недовольны политикой правительства, можете размножить сочинения в любом количестве копий и начать распространять свою лирику или пропаганду по факсу, не дожидаясь утра.

Крылов и супермаркет

То и дело мы слышим, что качество сервиса в Америке падает. Но поезжайте в Техас, там он все еще высок.

— Я купила новый сыр, — сказала мать. — Попробуйте.

— Вкусный! — отведав, решили дети.

— А по-моему, немного горчит, — решил отец. — Зачем они добавили туда красного перца? Я больше люблю черный.

— Хорошо, — послушно согласилась жена. — Поеду за продуктами, верну его.

Распакованную пачку сыра, который к тому же был на треть съеден, она принесла в магазин.

— У вас есть чек нашего магазина? — спросили ее.

— Нет, — ответила она, — я его выбросила.

— Ничего, не беспокойтесь, — ответили ей. — А что с сыром?

— Мужу показалось, что он горчит.

— Спасибо, что зашли.

И служащий магазина выплатил ей двойную стоимость купленной пачки сыра.

Я бы не поверил сей истории, если бы эта женщина не была женой моего собственного приятеля. Такая традиция существовала в Техасе, но, кажется, теперь сошла на нет. Что ж получается: покупаю, съедаю часть, возвращаю объедки и еще зарабатываю деньги?

Ответ, однако, не прост, а выгода — штука хитрая. Раз в неделю мадам покупает в этом супермаркете полную коляску продуктов на семью — минимум долларов на семьдесят. Хозяйка вернула сыр, который стоит четыре доллара, и получила восемь. Двойная цена — компенсация за доставленное неудовольствие, и будем откровенны — за то, чтобы хозяйка пришла через неделю снова именно сюда потратить еще семьдесят долларов. Четыре лишних доллара для фирмы — мелочь. Но — у нас абсолютно все вкусно, гарантируем не только высокое качество, но буквально стараемся ублажить вас.

И какой учет психологии! Разве техасец, человек широкой души, станет каждый день отъедать куски и относить продукты назад, чтобы получить несколько лишних долларов? Однако, если бы Крылов побывал в Техасе, то у басни «Ворона и лисица» было бы продолжение: выманив у вороны кусочек сыру, хитрая лисица отправляется в супермаркет обменять его на целого цыпленка.

Нашему брату-эмигранту нужно время, чтобы понять одну особенность американского универмага. Он состоит из двух неравных частей: одна — гигантская, по которой бродишь часами, выбирая вещь, другая — прилавок у входа, куда эту вещь можно потом вернуть. В некоторых магазинах срок возврата практически не ограничен. Вас не спрашивают, почему сдаете обратно. В крайнем случае уточняют: не работает или не нравится? Но можете не говорить. Желательно иметь чек, но не обязательно. Записывают фамилию и адрес. Можете назвать любые,

если любите врать, но зачем? Сданную вещь никто при вас не смотрит. Деньги возвращаются немедленно.

Ситуация комическая: сперва «Спасибо за покупку», потом «Спасибо за то, что принесли назад». Снова возникает вопрос об убытках торговли, о злоупотреблениях... Конечно, злоупотребляют! Один знакомый купил перед поездкой в Европу видеокамеру, а вернувшись из отпуска, вернул ее в магазин. В прокате ему пришлось бы заплатить за прокат, тут — на шармачка. А очереди в магазинах на сдачу подарков после праздников! Но торговая фирма терпит, ибо, простите за банальность, покупатель всегда прав. Торговля идет на издержки, чтобы нас заманивать.

Система «продавец — покупатель» в Техасе больше, чем где-либо в других местах все еще действует так, что быть строгим с покупателем, а тем более, нечестным не только рискованно, но невыгодно. Лучше взять меньше за качественную вещь, чтобы вы пришли еще раз. Лучше пригнать оставленную вами на ремонт машину к вашему дому, чтобы это вам понравилось. Лучше позвонить через неделю или месяц и спросить, нравится ли вам то, что вы купили, будь то ковер или сковородка. И это не только стиль, но суровая необходимость. Даже борьба за существование. Разумеется, это тонизирует и промышленность. Она старается поставлять в магазины вещи такого качества и такой привлекательности, чтобы покупателю, их купившему, было жаль с ними расстаться.

Прореха в сервисе

В противоречие с вышесказанным о хорошо отлаженном и изощренном техасском сервисе, заявляю: и на старуху бывает проруха. Будучи проездом в глухом городке Кервиль, я зашел в фотостудию. Заказ мой был выполнен не в срок. Короче говоря, вот что там произошло.

Российские фотолюбители сами проявляют и печатают карточки. Все же, хотя и хлопотно, получается лучше, чем в фотографии. Тут это проще: в магазине кладете отснятую пленку в пакет, на нем пишете свое имя, а через день берете пакет. Но если желаете особое качество — тогда нужно, чтобы для вас его обеспечивал не автомат, а профессионал.

Дабы привлечь побольше клиентов, техасские владельцы фотолабораторий изобретают разные хитрости. У одного можно купить годовой членский билет за десять долларов, и за это пленки вам, «члену клуба», будут печатать дешевле. Другой хозяин обещает бесплатно обучить владению фотоаппаратом не только вас, но и членов вашей семьи, включая детей и старую бабушку. Третий предлагает посылать ему пленки по почте, и тогда он бесплатно высылает вам чистую пленку, чтобы вы опять послали отснятую только ему. Четвертый... Вот как раз четвертый-то чуть было не заставил меня усомниться в качестве техасского сервиса.

В даунтауне Кервиля я остановился заправить машину и пообедать. В глаза бросилась реклама: «Фотографии — за 50 минут». Открыл я стеклянную дверь и симпатичному молодому человеку с усами, похожими на сталинские, который, как выяснилось, недавно купил эту лабораторию, отдал свою пленку.

— Тридцать шесть кадров, хорошие скадрировать и увеличить? — уточнил хозяин. — Доверяете моему вкусу? Через пятьдесят минут заходите.

И я отправился на ланч в соседнюю забегаловку. После еды осмотрел местные достопримечательности, вернулся. Прошел час. Дверь оставалась открытой, но хозяина не было. От нечего делать я листал фотожурналы со всего мира (они здесь продавались). Сидел я и ругал себя за наивность, но и техасцу доставалось, ибо, согласитесь, неприятно, когда вас обманывают.

Минут через сорок молодой человек вбежал с улицы весь мокрый от пота и с виноватым видом открыл ящик:

— Вот ваши фотографии, сэр. Я их сделал сразу, как вы ушли. Извините за опоздание. Клянусь, у меня это случилось впервые.

Знаем мы эти клятвы! Все растяпы на свете всегда клянутся, что это с ними случилось первый раз. Я бегло просмотрел фотографии, качество было хорошее. Все еще злясь, я вытащил бумажник.

— Нет, нет, сэр, что вы! Если больше пятидесяти минут — то бесплатно. Такой порядок, сэр. Спасибо, что зашли и приходите еще...

Я вышел на улицу и оглянулся на вывеску. Под крупным текстом: «Фотографии — за 50 минут» была строчка помельче: «Если дольше — бесплатно». Из чистого любопытства я снова отворил дверь.

— Послушайте, — сказал я молодому человеку со сталинскими усами. — Я тут проезжий. А ведь вы же прогорите, если будете опаздывать.

— Я никогда не опаздываю. Но тут пришлось сгонять в соседний город, двадцать минут езды.

— В соседний город, когда клиент ждет? — удивился я.

— Видите ли, жена позвонила мне, и я... То есть, я хочу сказать, что она позвонила мне из роддома и обрадовала, что родила сына. То есть я хочу сказать, что у меня только что родился сын. А я ведь фанатик фотографии. И потом, я только что стал настоящим отцом. Ну, я и помчался сделать первый в жизни снимок моего сына. У него еще нет имени, а фото уже есть. Еще раз извините, сэр. Мне очень неловко, что заставил вас ждать.

* * *

Несколько лет уже я не живу в Техасе, работа позвала в Калифорнию. Но все равно Техас — моя вторая родина, место, где я опять родился и начал постигать незнакомый мир, а Калифорния — третья. И когда меня теперь спрашивают незнакомые американцы, как они всех нас всегда спрашивают: «Откуда вы?» — гордо отвечаю: «Я из Техаса». «Что-то у вас акцент не техасский», — возражают мне. Что правда, то правда, акцент остается русским, а часть души отехасилась. Бываю там часто по делам и без, и он всегда остается со мной, где бы я ни оказался, даже в России: есть в Техасе что-то магнетическое для души.

ЗАМЕТКИ КАЛИФОРНИЙСКОГО МОЗАИЧНИКА

«Русская Америка», Нью-Йорк, январь-февраль, 2002

Авария в ночь перед Рождеством

Мне с семьей предстояло перебраться из Южного Техаса, где я некоторое время жил и читал студентам лекции, в Северную Калифорнию, куда пригласили, чтобы делать то же самое. Все, кто что-нибудь знал, нас запугивали: там вас будет трясти по шкале Рихтера. Телевидение передавало, что закрываются десятки военных баз и рушится экономика: тысячи людей выброшены на улицы без работы. С расовыми проблемами тоже не соскучитесь, ибо вся Азия стремится осесть в Калифорнии, а уж местные налоги вас просто задушат. Но выбора не было.

Перебирались мы (гляньте на карту) с берега Атлантического океана на берег Тихого. Купив в ближайшем супермаркете атлас, я увидел в таблице, что предстоит проехать две тысячи миль, то есть 3 200 километров. Двигаться надо на запад вдоль мексиканской границы, через горы и долины, объехать мегаполис Лос-Анджелес подальше, чтобы не застрять в пробках, по дороге номер 5, идущей в Канаду, попасть в Сакраменто, а там в десяти милях Дейвис.

Отправился в ближайший «Юхол» взять напрокат грузовик. В «Юхол» потому, что таких фирм много, а эта была ближе к дому. Мне предложили на выбор свыше десятка грузовиков разного размера. Во всех автоматическая трансмиссия, кондиционер, радио, — какой выбрать?

— Сколько у вас спален? — спросил служащий.

Для убогой мебели из нашей маленькой двуспальной квартирки мне подогнали грузовик, крытый кузов которого должен был вместить все барахло. Снабдили картонными ящиками, скотчем и прочим для паковки. Машину надо вернуть на новом

месте. От прицепа для легкового автомобиля решили отказаться: жена с сыном поедут в машине следом за мной. От грузчиков тоже отказались, чтобы сэкономить деньги: мебель грузили друзья.

Было это накануне Рождества. Дороги великолепны, погода солнечная, ели и спали в мотелях. Невольно вспоминали «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека, в трех часах от дома и могилы которого нам предстояло жить. Вечером четвертого дня въехали в Сакраменто, полил сильный дождь. Тут я почувствовал, что руль у меня в руках не поворачивается, машина едет не туда, куда мне надо. А скорость за сто. Несколько машин шарахнулись от меня, как от чумного. Из всех сил крутанул руль вправо и кое-как съехал на обочину. Что сотворил всем известный господин Форд, который выпустил этот чертов грузовик?

Открыл капот, но ничего не увидел. А вокруг грузовика красота неписаная, везде елки, сияющие по случаю завтрашнего Рождества, улицы, украшенные гирляндами разноцветных огней, но нам не до праздника. Двенадцатый час ночи. Из телефона-автомата у дороги позвонил по номеру, написанному в квитанции. Диспетчер просила обождать и что-то выясняла. Оказывается, в ближайшем отделении «Юхола» уже никого нет. Хваленый американский сервис в Калифорнии дал трещину. Диспетчер просила переночевать в ближайшей гостинице.

Утром подъехал механик, посочувствовал, порадовался, что мы остались живы, но поломку исправить не смог и предложил на выбор: подогнать другой грузовик или отбуксировать к месту этот. Перегружать вещи прямо на дороге мы отказались — что за глупость? А буксировать некуда — квартира-то на новом месте еще не снята. Поехали выбирать квартиру, переночевали опять в гостинице, а на следующее утро тягач вкатил грузовик на платформу и доставил к нашему новому дому в Дейвисе. Разгрузив вещи, широкие в плечах гегемоны попросили (нет, не на бутылку), а — квитанции за гостиницу и наше питание в ресторане.

Через неделю, уже по новому адресу, пришел конверт с чеком из фирмы «Юхол». С извинениями за поломку грузовика вернули сумму, которую я истратил на переезд, включая еду и отель.

Назад к простоте обитания

Калифорния — бывшие земли аборигенов-индейцев, бывшая территория Мексики, которую попытались было захватить русские, но только помыли сапоги в Тихом океане, — ничего у них не получилось, разве что построили форт Росс. Зато кое-что получилось у тысяч предприимчивых людей со всего мира, устремившихся сюда в середине XIX века мыть золотишко. Золото было да сплыло, осталось только золотое правило: «Никогда не ври, что намыл больше, чем на самом деле», — совет полезный и для нашего пишущего брата.

На Калифорнийщине растут, благодаря климату, все фрукты, а вино не хуже французского. Здесь два часа езды от жарких океанских пляжей до снежных гор, а прогресс забрался в такие высокие дали, что становится страшно, ибо в Силиконовой долине родились компьютеры и Интернет, а молодежь тамошняя говорит, что мы только в начале пути. Автомобилей, в том числе электрических, в этом штате больше, чем где-либо в мире. И все ужасы природы тоже здесь. Неприятно качаться вместе с домом, находясь на девятом этаже, когда воеет сирена, предупреждающая о землетрясении. Страшно задыхаться от дыма в машине, едущей по шоссе через горящий лес, а леса горят в засуху каждое лето. Противно стоять на крыше дома со скулящей собакой и надеяться на вертолет, когда вода вокруг дома прибывает, поскольку в горах тает снег. Мы всегда живем с аварийным запасом воды, лекарств и консервов, готовые к стихийному бедствию. Всем этим опытом могу поделиться с заинтересованными лицами.

Но при этом схема жизни среднего калифорнийского обывателя проста: автомобиль — лифт — вращающееся кресло перед компьютером в офисе — автомобиль — кровать — автомобиль. Такая карусель. Флорри, моя соседка, по примеру других решила выйти из заколдованного круга. Она служит в филиале страховой компании, ее работа — сидеть сиднем и ласково отвечать на вопросы по телефону. И так двадцать три года. Флорри начала полнеть, и врач сказал: надо двигаться.

— Это моя тачка во всем виновата! — ворчит Флорри, показывая пальцем на свой «Шевроле».

Она пытается продать его хотя бы за двести долларов, но никто не дает такой суммы. Драндулет хорошо выглядит, но он, как принято говорить, *gas gaselier* — жрет уйму бензина. А через год истекает срок жизни этой машины, и по закону Калифорнии она будет считаться слишком загрязняющей воздух. «Шевроле» нужно отдать под пресс, и за это надо заплатить. И тут Флорри решила, что это шанс изменить стиль жизни.

Женщина решительно пошла в ближайший магазин, где продаются велосипеды. В нем более двухсот разных моделей из многих стран. Есть одноколесные, вроде цирковых, длинные, на пять человек сразу, с прицепами для детей и покупок и лежащие — что-то вроде двухколесной раскладушки. Дорогой японский или немецкий красавец из титана с автоматическим переключением скоростей стоит, примерно, как новый автомобиль, но и дешевых велосипедов немало.

Флорри, однако, вышла из магазина без покупки. Только в Калифорнии есть продавцы, которые честно отговорят вас покупать у них, если есть более разумное решение. Дейвис — город университетский, и студенты, окончив курс, просто бросают велосипеды на улице. Полиция вынуждена свозить их на хоздвор, где можно купить за гроши. Накануне своего шестидесятилетия Флорри стала велосипедисткой.

Надо сказать, что у нас это несложное занятие: город построен для велосипедистов. Между домами проложены так называемые «зеленые ленты» — бетонные дорожки от центра до самых до окраин. Улицы состоят не из двух частей, как обычно (тротуар и дорога), а из трех: тротуар, велосипедная дорога и дорога для машин. Под магистральями или над ними сооружены неширокие тоннели или мостики. Повсюду: у магазинов, банков, кафе, кино — стоянки для велосипедов. Велосипед — это тишина, чистый воздух, экономия на бензине, бесплатная стоянка да еще в придачу полезное для здоровья движение.

Когда все на велосипедах, меняется ментальность. Никто не обращает внимания на восьмидесятидвухлетнего профессора социологии, у которого на руле висит сумка с компьютером, а на багажнике портфель, набитый книгами. Из ресторана выходит компания: все садятся на велосипеды и, продолжая в дороге спор, отчаливают по домам. По аллее на двух велосипе-

дах двигается пара в обнимку. Многие американцы, живущие в маленьких городках, подобных Дейвису, считают, что машина нужна для дальних поездок, для перевозки грузов, для встречи гостей в аэропорту.

Флорри довольна, но куда деть машину? В поисках выхода владелица приклеила на заднее стекло объявление:

PICK UP MY CAR FOR FREE. THANK YOU.
(ЗАБЕРИТЕ МОЙ АВТОМОБИЛЬ БЕСПЛАТНО. СПАСИБО)

Хороший «Шевроле» давно стоит на улице, дверца не заперта, ключ вставлен в зажигание. Каждое утро Флорри проезжает мимо на велосипеде с тайной надеждой, что его не будет, но желающих пока не нашлось.

Не знаю, удалось ли мне убедить вас в преимуществах велосипеда? А мне ехать далеко и всегда с сумкой, полной книг, короче говоря, я еду в университет на машине.

Работаю за еду

Вот уже много лет на углу Би-стрит и бульвара Рассел вижу я этого человека, причем вижу не более сорока пяти секунд — максимальное время, за которое компьютер светофора пропускает транспорт поперек и зажигает для меня стрелку налево, на Би-стрит. Мужик приходит сюда, как на работу, каждый день, кроме уик-энда, хотя именно в эти дни его шансы увеличиваются. Кладет на землю рюкзачок, вынимает плакатик, вешает на грудь:

I WORK FOR FOOD. PLEASE DON'T OFFER MONEY
(РАБОТАЮ ЗА ЕДУ. ДЕНЬГИ ПРОШУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ)

В принципе местная полиция бездомных не любит, и у нас, в отличие от Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, их мало. Бывает, останавливается полицейский и приглашает бездомного в машину. По дороге он читает ему лекцию:

— Слушай меня, парень, внимательно. Дейвис — плохое место для бездельников: тут только университет, и все, кто здесь живут, — или учатся, или учат. Соображаешь? Ты, конечно, сво-

бодная личность, и никто на твои права не посягает. Можешь пребывать в этой стране, где хочешь. Но мой совет, парень — лучше тебе в наш город не приезжать. Пиши на меня жалобу шерифу, но если еще сюда завалишься, тебе будет плохо.

Лекция заканчивается миль за двадцать, в соседнем городке, где полицейский вежливо высаживает бездомного, дает ему талон на пять долларов купить еду (за такой талон нельзя купить алкоголь), пожимает руку и говорит:

— Будь счастлив и не забывай, что тебе сказано.

Конечно, это нелегально. Нельзя «выкатить» человека из места, где он хочет быть. Это нарушение Конституции, если пожаловаться, но жаловаться бездомный не пойдет. И вообще, этот мужик с плакатом какой-то другой. Он ведь хочет работать.

Не выдержал я. Поставил машину и вернулся к светофору.

— Скажи, а нанимают тебя?

— Бывает... Траву покосить, листья собрать или дерево выкорчевать. Женщины сердобольнее мужчин. Одна даже предложила мне у нее ночевать, но у меня на велосипедном багажнике свой спальный мешок. Я сплю в поле под дубом.

— А что, если тебе просто пойти на работу?

— Это как?! — он с изумлением смотрит на меня.

— Да так! Смотри, сколько объявлений. На предприятиях быстрой еды всегда требуются люди убирать столы, в ресторанах — складывать посуду в моечную машину. Открываются две компьютерных компании. У них надо ночью пылесосить цеха.

— Так ведь там не за еду, а за деньги!

— И что? Купи на деньги еду и вообще все, что хочешь.

— Э, нет, сэр! Я их презираю, эти паршивые бумажки! Они унижают человеческое достоинство. Я вкладываю в труд душу, работаю на пользу людям, и мне за это ничего не надо. Но, к сожалению, есть иногда хочется. Когда-нибудь настанет время, когда денег не будет, и мы все будем работать за еду!

Что-то от кого-то мы об этом слышали. Даже о том, что из золота за ненадобностью будут делать унитазы. Золотые унитазы в Калифорнии продаются. Но за большие деньги — не для тех, кто работает за еду.

Между прочим, с едой у нас имеются хитрости, и если шустрить, можно тут питаться вообще бесплатно всю жизнь. Один

дюжий сибиряк, который приехал сюда, чтобы ничего не делать, хвастался своей системой. У всех продуктов, как выяснил он, есть сроки годности, и супермаркеты, когда такой срок приближается, резко сбрасывают цену, а если не успевают продать, просто раздают продукты через благотворительные организации. Продукты вполне хорошие, ибо срок годности указан с перестраховкой, и надо только знать, где их раздают. Так вот этот сибиряк составил список, и в нем оказалось свыше ста точек в одном только Сакраменто, где продукты выдают свободно и всем. Утром этот человек садится в машину и по составленному графику собирает дань. Он обеспечивает свою семью и даже шлет посылки родственникам в Сибирь и на Украину. Ну, разве можно сказать, что он бездельник, хотя и не платит, как все мы, налогов ни в казну федеральную, ни в казну штата Калифорния.

Эту историю я рассказал у светофора парню, но тот отрицательно покачал головой:

— Подумаешь, новость! Да в церкви всегда можно пообедать бесплатно. Поймите, наконец: я — не тунеядец. Свою еду я должен сперва заработать!

Вот такие разные подходы, и спорить абсолютно бесполезно. Я сел в машину и уехал.

Кстати, о нижней черте бедности и ментальности калифорнийцев ниже этой черты. Недавно, проезжая мимо многоквартирного дома, я увидел невывезенную гору мусора. Контейнеры были переполнены, рядом валялась старая мебель. Такое небрежение к чистоте окружающей среды не часто увидишь, и кому-то непоздоровится. А пока что возле горы мусора стояли двое бездомных, которые по теории должны искать в мусоре что-либо полезное для себя: еду или одежду. Но картина, из-за которой я притормозил, была в духе ионесковского абсурда: на фоне грандиозной помойки один бездомный снимал другого бездомного видеокамерой. И оба хохотали.

Мечта о спецхране

Иду в читальный зал центральной библиотеки Шилдс Калифорнийского университета. Записываться тут не надо, вход

и выход свободный, здесь самообслуживание. Любой человек, будь вы хоть инопланетянин, гуляет по этажам, собирая с полок книги, и читает. Помогут, если только обратитесь за консультацией. А если хотите взять книги домой, придется записаться.

В библиотеках Калифорнии три каталога: именной, систематический и по названиям книг (если не знаете имя автора). Компьютер скажет, на каком этаже и какой полке данная книга. Но удобнее еще дома войти через Интернет в библиотечный каталог, а в библиотеке направиться прямо к полкам. Проглядывая соседние книги, можно обнаружить другие любопытные издания, о которых вы слыхом не слыхивали, и сразу, усевшись на пол, их полистать, а в уютной кабинке остаться работать. Или, утомившись, прилечь поспать. Кабинку можно попросить запереть, если дочитывать взятые книги придете завтра. А коли берете домой, их отметят в компьютере.

Основной закон библиотеки не меняется уже полтора столетия — разумеется, это полная свобода чтения. Нет отдельных залов для привилегированных категорий читателей, например, для профессоров и иностранцев, как в Российской госбиблиотеке. Никого не интересует, что вы читаете; компьютер, который запомнил взятые на дом книги, автоматически уничтожает свою запись, как только книги от вас вернулись. Какие бы темы вас ни заинтересовали — от интимных вещей до недавно рассекреченных правительственных документов, — тут не может быть книг запретных или для ограниченного контингента читателей. Авторы не могут быть ни врагами, ни друзьями, ни правыми, ни левыми — они просто авторы. Никогда ни одна книга не изымалась, и однажды я полчаса безуспешно пытался втолковать библиографам, что такое спецхран. Так они, несчастные, ничего и не поняли.

А если нужной книги не нашлось? Книга может оказаться в другом здании, в специализированной библиотеке, например по искусству или медицине (таких библиотек в университете двенадцать, до них ходу пять—десять минут), или в хранилище — тогда ее привезут завтра. Во-вторых, войдите через Интернет в библиотечный каталог всех университетов Америки или в Библиотеку Конгресса в Вашингтоне, или Королевскую в Лондоне, или в «Арсенал» в Париже, — оттуда вам пришлют микрофиши или ксерокс нужного издания.

Об одном правиле забыл: книги, взятые с полки, не надо ставить на место. Лучше оставьте на столе, чтобы не ошибиться номером, а уберут нанятые для этого студенты.

Все это я упоминаю, имея в виду печальный аспект дела. Вечером иду в Русский отдел библиотеки и вижу, что на столах книг нет. Значит, студенты сюда не заходили и не читали. Может, они летали читать в Лондон или в Париж? Когда мы учились на филфаке, нам давали списки литературы по тридцать, а то и по пятьдесят книг на семестр. Сегодня я предлагаю прочесть пять—семь книг, и студенты жалуются, ставя в пример другого преподавателя, который дал им только три. Многие ничего не читают, кроме учебников по специальности. В университете 25 тысяч студентов, а между экзаменами огромные залы библиотеки уныло пусты. Экраны компьютеров светятся, но возле них никого нет.

Библиотечное великолепие в начале XXI века востребуется плохо. Вероятно, это негативное влияние полной свободы чтения. Известно, что запреты создают духовный дефицит, или проще, запретный плод сладок. Как бы мне запретить русских классиков для калифорнийских студентов? Уж тогда бы они исхитрились всех прочитать.

Ментальность на второй родине

Не мной замечено, что иностранный писатель, пробыв в Калифорнии несколько дней, сочиняет книгу, несколько месяцев — очерк, а прожив несколько лет — уже не пишет ничего. По всему, мне тоже надо бы молчать, но тогда останется постигать эту страну по лихим комментариям в российской да и эмигрантской прессе. Один крутой русский гость написал недавно в калифорнийской газете «Дiasпора», что США — это «тоталитарное полицейское государство». А почему? Оказывается, кто-то из вновь прибывших русских захотел завести в квартире козу, а ему не разрешили.

Выборы американского президента в 2000 году показали любопытную аномалию: в России нервничали больше, чем в Америке. Толпы бездельников собрались во Флориде — им делать нечего, работать не хотят, пособие исправно капает, все

равно, по какому поводу митинговать. Российское телевидение, снимая их, сообщало, что американский народ волнуется, дело идет к гражданской войне. Нам же в Калифорнии ясно, что только сам американский президент уверен, что он управляет страной. В действительности он управляет лишь кучкой бюрократов, а здоровая страна живет своей нормальной жизнью, не зависимой ни от кого, даже от собственного правительства. Ну, выберут не того, так этого, все равно никаких откровений не произойдет. Попробует шалить с секретаршей — дорого заплатит адвокатам. А в России гадают: какой из двух кандидатов даст больше денег и менее строго будет спрашивать, когда не отдадут (что не отдадут, ясно, поэтому и переживают заранее).

Женщина прислала письмо из Новосибирска моей жене, что она ее очень любит с тех пор, как видела ее ребенком, будучи проездом в Москве в 1947 году. Жены моей тогда еще не было на свете, но не в этом дело. Женщина та — портниха, и эта работа ей не нравится. Она просит устроить ее на работу врачом в Америке и спрашивает, как надо: просто приехать и идти наниматься врачом или лучше купить медицинский диплом в России до отъезда?

Сомневаюсь, что калифорнийцы честнее людей в других странах. Надежды на то, что религия исправит нравственность, здесь не подтверждаются. Вроде бы верующая страна: даже в маленьком Дейвисе не счесть конфессий и церквей. Те, кто не ходят в церковь, обычно говорят, что они верят в Бога, а не в религиозные службы. Или — что им некогда, и это значит, что они атеисты. Стандартная вещь — первый раз оказаться в церкви на отпевании знакомых или... самого себя. Тут-то и вспоминают, кто покойный, так сказать, по предкам: католик, протестант, баптист...

Где-то в российской прессе прочитал удивленное: в маленьких городках Америки не запирают дома и автомобили. Насчет домов — это иногда правда, а насчет автомобилей вранье. Сыну моему запираť машину лень, а я, например, запираю и вовсе не потому, что ее угонят или возьмут фотоаппарат, лежащий на сиденье. Однажды ко мне в дом позвонил полицейский и просил запереть стоящую на улице машину.

— Маленькие дети влезают, — объяснил он, — могут спустить тормоз, машина покатится...

Недавно услышал, как некие муж с женой, отпраздновав золотую свадьбу, вспомнили и отправили бандероль в отель «Wellington», где полвека назад они начали медовый месяц. В бандероли было полотенце, которое они заначили в отеле. В письме, сопровождающем полотенце, бывшие молодожены извинялись за содеянное.

Мой коллега, которому за семьдесят, в центре города вышел из учреждения на улицу, а машину свою найти не может. Забыл, где ее оставил. Ходил он по улице (жара около сорока), — машины нет. Пошел в полицию. Там дежурит пожилой офицер. Узнав в чем дело, дежурный отрезал от арбуза ломоть, положил на бумажную тарелку.

— Сперва поешьте арбуза.

Пока мой приятель ел арбуз, подъехал другой полицейский, который наклеивает на машины штрафы за нарушение парковки. Он усадил растеряху в свой маленький электрический автомобиль, и они медленно поехали вдоль этой улицы, а потом вдоль следующей. Там машина нашлась. Оказалось, никто ее не увозил, просто в учреждении было два выхода, и коллега мой очутился на соседней улице. Люблю полицейских за то, что они работают на совесть. Ведь как налогоплательщик я им плачу за работу.

В принципе калифорниец на работе делает свое дело, за которое ему платят, хорошо. В качестве члена нескольких общественных организаций и комитетов, я присутствую на заседаниях и никогда не слышал, как кто-то кому-то сделал замечание, даже канцлер университета студенту насчет невыполненной работы, опоздания или непосещения вообще. Это просто отразится на оценке студента. Считается невозможным, чтобы кто-то недоделал работу, а если не сделал, на то были уважительные причины. Наше любимое слово «халтурщик» оксфордским словарем переводится числом слов от пяти до десяти: или *person turning out pot-boilers* (что фигуративно означает личность, пишущую что-либо за деньги), или *person making money on the side by doing extra work* (личность, делающая побочные деньги путем дополнительной работы). Есть еще глагол *moonlighting*, означающий второй заработок (буквально: работать при свете луны). Заметьте: иронии в словах «халтурщик» или «халтурить» в английском языке нет.

Я устал косить траву перед домом и, когда к дому наискосок подъехал садовник, спросил его, не возьмется ли он заодно стричь и у меня. Он сказал:

— Раз в неделю — 20 долларов в месяц.

Это было пять или шесть лет назад, с тех пор я ни разу с ним не перебросился парой слов. Он приезжает утром по средам. Если я в это время в кабинете, слышу, как он скатывает с грузовика косилку, косит, другой машинкой равняет края, третьей сдувает мусор и собирает в мешок. Раз в месяц он присылает счет, и я отправляю ему в конверте чек. На все праздники вместе с его счетом приходит красивая открытка с поздравлением.

Дела должны делаться своим чередом, хоть потоп вокруг. Забор у меня под окном ставил плотник. Приехал ровно в восемь утра с досками и инструментом. Полил проливной дождь — он работал. В двенадцать уехал обедать, ровно в час вернулся. В пять закончил забор и тут же уехал. Никто работу не принимал, никаких бумаг не подписывал.

В Голливуде, где я некоторое время топтался со сценарием, на одной из студий произошло чепе: актер во время съемок умер. Хорошая смерть, сказали бы в России, и происшествие надолго выбило бы из колеи всю киностудию: похороны, поминки, собрания на тему, как быть дальше, и т. д. Хорошо или ужасно, но событие, потрясшее Голливуд, состояло не в смерти, а в том, что съемочная группа из-за смерти актера работу в тот день не возобновила. Смерть препятствовать делам не должна.

Калифорнийцев не упрекнешь в отсутствии пунктуальности при следовании правилам и законам. Мне позвонил заместитель российского консула, просил помочь. Дочка у него учится в моем университете, хочет попасть в класс испанского языка, а классы переполнены. Может, посодействуете?

Пошел я к заведующей регистрацией студентов, объяснил суть просьбы, добавляю:

— Так и так, нам очень нужны контакты с консульством для наших поездок и приглашения специалистов из России.

Она слушает меня внимательно и не понимает.

— Кстати, — продолжаю я сочинять, — отца девочки мы собираемся пригласить прочитать лекцию об американо-рос-

сийских отношениях, и это будет проявлением уважения к гостю, который...

И так далее. Теперь заведующая смотрела на меня с улыбкой.

— Даже если бы эта девочка, — строго сказала она, — была дочерью Президента Соединенных Штатов, ей нужно записаться в очередь и ждать, не освободится ли место.

Позвонив заместителю консула, я сказал:

— Вы можете гордиться: вашу дочь уравнили в правах с дочерью президента.

Он не сразу понял, и пришлось объяснить.

Порядок есть порядок. Помню, пистолеты после войны мы носили в школу. Мой приятель откупорил гранату, как бутылку лимонада, и стал инвалидом. Сегодня в Америке ребенок, который принесет в школу игрушечный пистолет, в тот же день исключается из данной школы навсегда. Таков суровый закон, ибо отличить игрушку от настоящего ствола трудно.

Тут не проходят хитрости. Если вы хотите заработать, но вам не положено получить деньги и их почему-либо надо выписать на другого человека, лучше не просите американца. Найдите русского или мексиканца.

Культ целесообразности

Решительность калифорнийцев в делах, мне кажется, проистекает... от особенностей дорог. Человек за рулем в России знает, что перед выездом на главную дорогу надо притормозить, всех пропустить, а потом тихо въехать и разогнаться опять, наверстывая потерянную скорость. Калифорниец привык делать наоборот. Дороги устроены так, что перед въездом на хайвей надо разогнаться до 65 миль (100 километров) в час, чтобы войти в поток машин на полном ходу. Вот еще одна проблема российской ментальности: замедляемся, тормозим, а потом тащимся в хвосте, силясь догнать цивилизованные нации, идущие на максимальной скорости. Особенно это видно в современных технологиях: кто немного отстал, тот проиграл.

. Здоровый духовный климат всего предприятия, полагает начальство, состоит из индивидуальных микроклиматов: люди

вливают друг на друга в хорошую или плохую сторону. Приятеля моего, бывшего хорошего российского химика, уволили из престижной фирмы, куда взяли полгода назад. Начальник встретил его в коридоре, спросил:

— Все ли у вас в порядке?

— Не знаю... Так себе... Вроде все ничего...

— Может, у вас в семье что случилось?

— Да вроде бы как всегда, а что?

— У вас лицо такое печальное. Может, вы нездоровы?

Диалог повторился через несколько дней в кабинете у начальника. При чем разговора по делам фирмы не было. На следующий день приятель мой был уволен: выражение его всегда чрезвычайно нахмуренного лица понижало тонус других сотрудников, замедляло их творческую отдачу.

Но все же чаще встречается терпимость, в отличие от Европы, даже к плохо или с акцентом говорящим иностранцам, доброжелательность. Существует такой анекдот. Как называются люди, говорящие на трех языках? Ответ: трехязычные. Как называются те, кто говорит на двух языках? Двужязычные. А на одном? Американцы. К языкам тут слабый интерес. Большинство уверено, что английского достаточно в любой стране мира, и почти не ошибается — зачем тратить время?

Многие американские специалисты, в отличие от русских, открыты, и об их делах узнать просто: они сами вам расскажут. В Силиконовой долине (мировом центре новых компьютерных технологий) считают, что секретность стоит значительно дороже, чем открытость, не говоря уж о том, что тайны замедляют прогресс и приносят большой вред психологическому климату вовлеченных в дело людей и нации в целом. Шпиономания в некоторых странах только доказывает, что в спецслужбах по-прежнему много лишних людей старого покроя, которым нечем заниматься.

Болезнь российская тема: родину продают иностранцам. Американцы же относятся к продаже своей родины спокойно. Японцы купили Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке? Подумаешь! Они что — вывезут небоскреб в чемодане к себе в Токио? Немцы покупают устаревшие американские автомобильные заводы? Так ведь немецкий персонал переезжает в Амери-

ку, чтобы эти заводы модернизировать, дети их будут наполовину американцами, внуки — на сто процентов. И все богатство от продажи остается здесь, в Америке: и то, что продано, и то, что за продажу получено!

Новые фирмы высоких технологий, надо сказать, методы работы невероятно усовершенствовали. Начала и конца рабочего дня нет, приходи и уходи, когда хочешь, хоть ночью, но выполни порученное. Все больше дней, когда работают дома. Соседка моя, молодая женщина китайских корней, вообще работает за компьютером дома (я вижу ее в окно), а место ее работы — в другом городе. Но на фирме многим лучше. Там бассейн для плавания, гимнастический зал, зимний сад и, между прочим, ясли для младенцев, чтобы матери было недалеко сбегать покормить.

Прагматизм американцев своеобразно перетекает в искусство. За последние годы в штате Алабама поставили шесть памятников участникам Первой мировой войны. Все памятники сходны: солдат в шинели стоит или шагает. Некоторые держат в руке трубку. Догадались? Это в России были куплены снесенные монументы Сталину. Бронза стоит дорого, а тут просто срубают голову, приваривают другую и, — торжественное открытие в присутствии родственников. Не Сталина, конечно, а героя-американца.

Чувства становятся рационалистичными. В сочинении о планах на будущее моя студентка написала по-русски: «Я хочу закончить университет и найти машину, чтобы иметь двоих детей». Я не понял, и она перевела. Оказалось, она спутала два похожих по звучанию русских слова: «машину» и «мужчину». Ничего плохого в такой программе нет. Прагматичность, прямота и отсутствие изящной женственности молодых американок довольно типичны. Сосед мой Лесли, мужик вполне местный, трижды разведясь и несколько лет погуляв, как-то сказал мне:

— Я устал от американок. Они только оргазмы пересчитывают. Перехожу на французов.

Немного погодя он поехал в Болгарию и привез оттуда славную крестьянскую девочку почти без языка. Пожил с ней полгода (нет лучше способа учить иностранный язык, чем постель) и женился на ней. Говорил я с ней еще недавно по-русски, а теперь английский у нее стал получше.

С точки зрения стариков, самый страшный аспект нынешнего этапа калифорнийской цивилизации — упадок культуры, снижение уровня сервиса, даже хамство. Конечно, вам по-прежнему улыбаются, не сравнить с Западной Европой. Но все чаще попадаются лица суровые, они спешат брать, улыбаться им некогда.

— Вы заметили, как рухнул самолетный сервис за последние десять лет? — спросил меня сосед в самолете, когда я летел в Канаду. — Раньше была еда, а теперь?

В былые годы, если вам надо было лететь, вы приезжали в аэропорт и садились в самолет. Обед заказывали по меню. Выходя, платили за полет. Никакой толкотни, никогда не терялись чемоданы. Сегодня вас набивают как килек в бочку, коленями в спину соседу; я летел из Сан-Франциско в Мельбурн семнадцать часов — думал, ноги не разогну.

Снижается вежливость. Помните, у Ильфа и Петрова в «Одноэтажной Америке»: в лифт вошла женщина, и все мужчины сняли шляпы. Женщина вышла, и мужчины шляпы надели. Это теперь древняя история. Говорят, эмигранты делают страну более рациональной. Хочется скорее достичь уровня коренных американцев, и тут уж не до вежливости. Процент «идейных» иммигрантов в Калифорнии упал, если не равен нулю. Борцам за идею теперь надо возвращаться в свои страны. У новой волны цели вполне материальные.

Адаптация происходит небыстро, но и новые, и коренные калифорнийцы, согласно какому-то психологическому закону делятся на три категории: всем довольные, недовольные прогрессисты и недовольные консерваторы. Довольные от всего в восторге, они оптимисты. У них на бампере машины наклейка: «Живу для уикэнда» или «Главное — удовольствие». Им плевать на политику и другие страны. Это большинство населения, и они центропулисты. Дело с двумя другими категориями сложнее.

Много лет в маленьком и тихом университетском городке Дейвисе идет острая политическая борьба. Недовольные прогрессисты — за то, чтобы городок рос быстрее, расширялись улицы, появлялись большие магазины, новые жилые районы. Они хотят строить большие здания, новый стадион на 25 тысяч мест. Говорят: у нас нет ни одного универмага — надо ехать за

рубашкой в соседний город. Мы возвели холмы в парках, и плоский город стал живее. Недовольные консерваторы — против. Они говорят: мы хотим жить тихо, спокойно и комфортабельно. У нас нет преступности — в местной газете неделю обсуждают, как мальчик ударил девочку в школе. Малые дети посреди улицы играют одни. Большие дома? Но у нас есть закон, по которому крыши домов не должны быть выше деревьев — поэтому мы живем в лесу, хотя и искусственном. Курить у нас в городе в общественных местах нельзя. Постройте стадион — и будут пивные банки валяться по всей округе, возрастет хулиганство.

А если взглянуть на споры шире, увидим, что некоторые южные калифорнийцы хотят отделиться от северных, чтобы создать два отдельных штата. Другие рассуждают о том, что Калифорния вообще должна стать независимым государством. Третьи считают, что она была отторгнута американцами от Мексики и надо вернуться в лоно матери.

Итак, одна часть людей всем довольна, другая — за перемены, третья — против. Конфликт постоянен, но решается цивилизованно. Прогрессисты и консерваторы, отделенцы и присоединенцы спорят публично, выпускают свои издания, а по вечерам мирно сидят в кафе или вместе делают в парке на огне барбекю — жареное мясо. Как написано в древней книге, «терпение и аз воздам». Общественный прогресс идет медленнее, чем хотелось бы его сторонникам, но быстрее, чем хотелось бы консерваторам. И суть его — компромисс, уживчивость с чужим мнением, ибо у нас в Калифорнии пока еще демократия.

Транзит доброты

Умерла подруга моей жены Илана Дейвис. В завещании она запретила себя кремировать и хоронить. У нее нет могилы.

По совпадению она, как и я, перебралась в Калифорнию из Техаса, только я там прожил год, а она коренная, там родилась, но осела в «золотом штате», как называют Калифорнию почти официально. Доктор психологии Илана жила в нашем университетском городке Дейвисе (заметьте: Илана Дейвис из города Дейвис), но не преподавала. Она была, как здесь говорят на

сленге, шпринк, то есть занималась психотерапией. Думаю, это проистекало из ее характера: жила она на свете для помощи другим, сама даже не сумела второй раз выйти замуж, хотя стремилась. С Россией и Украиной, где не имела ни корней, ни родных, держала переписку, для чего стала брать уроки русского, на котором говорила и писала ужасно, но — понимала и ее понимали. Ездила туда с полными чемоданами одноразовых шприцов, каким-то медоборудованием. Организовала общество помощи городу Умань, где все шло в тартарары, а помощь — в карманы совсем не тем, кому предназначалась.

Один московский студент остался здесь без всяких документов, бедствовал. Илана помогла ему получить статус, попасть в университет, устроила на работу: рекламировать и продавать дорогие столовые наборы ножей. И, поскольку он продать ничего не мог, сама покупала у него эти наборы и — ну сколько ножей нужно одной хозяйке? Три, десять, но не сто же! — дарила знакомым. Такова была эта женщина.

Жила она вдвоем с сыном в хорошем районе. В сумочке у нее всегда лежал полиэтиленовый пакетик. Лежащий на дороге окурок или банку от кока-колы она поднимала, чтобы улица была чистой, даже чужая, не ее. Ни дом, ни машина не запирались, когда она уезжала в Европу, и ее ни разу не обворовали. Знакомым она говорила:

— Если что-то надо, заходите, берите, попугаям только корма добавьте.

Однажды взял я у Иланы машину (моя сломалась), чтобы встретить в аэропорту дочь. В Сан-Франциско мы остановились на улице, ушли гулять, и я не посмотрел на знак: «Парковка только до четырех часов дня». Вернулись мы — машины нет, ее увезли, чтобы освободить улицу в час пик. Едем в полицию. Там происходит диалог, как в пьесе уже упомянутого Ионеско.

— Номер машины? — спрашивает толстенный полицейский.

— Не знаю, — говорю.

Машина-то ведь не моя.

— Какой марки? — спрашивает он.

Я говорю «Тойота», а дочка поправляет: «Хонда».

— Какого цвета?

Я говорю «синего», дочка — «серебристого».

— Это ваша машина?

— Нет.

— Значит, так: номер машины не знаете, марку не знаете, цвет неизвестен и вообще машина не ваша, — удивляется полицейский. — О'кей! Фамилия владельца?

— Дейвис.

— Где живет?

— Дейвис.

Он глядит на меня с сочувствием:

— Значит, Дейвис из города Дейвис?

Полицейский стучит по клавишам компьютера, потом радостно говорит:

— Нашел! У вас «Мицубиси», цвет голубой.

И машину мне вывезли из гаража. Правда, потом прислали штраф за парковку в неуказанном месте и за вывоз машины с улицы в гараж. Само собой, прислали Илане.

Она знала, что у нее запущенный рак груди и под конец жизни особенно спешила делать добро. Ментальность Америки продолжает меня поражать. У Иланы сын-подросток. Когда Илане сказали, что жизни у неё осталось месяца три, позвонила новая жена ее бывшего мужа. Обе жены встретились и пошли в ресторан. «Люсиль — замечательная женщина, — говорила после Илана о той, на кого муж ее сменил. — Она мне сказала: ты ведь скоро умрешь, давай обсудим, как ты хочешь, чтобы я воспитывала дальше твоего сына».

Кстати, медицинский подход к смерти здесь прямо противоположен русскому. Врач говорит больному о стадии неизлечимой болезни и оставшемся сроке с той же открытостью, как и о выздоровлении. Правда не заменяется легендой, якобы во спасение. Однажды я провел дискуссию со студентами на тему, что говорить больному. Вернее, дискуссии не получилось, ибо все семьдесят девять студентов говорили одно: как же можно врать? Человек должен успеть доделать важные дела, позаботиться о родных и друзьях, о завещании. Да и вообще, за обман врача просто лишат права практиковать.

Говорят, люди звереют, пережив жестокость. В случае с Иланой все было как раз наоборот. Крупный черный человек в

Техасе забрался в машину ее сестры и, угрожая оружием, вывез за город. Семилетний сын сестры сидел сзади. Изнасиловал и убив мать на глазах у ребенка, незнакомец затолкал мальчика в багажник. Мальчик задохнулся от жары. Преступника задержали при подъезде к мексиканской границе. Может быть, эта история с сестрой повлияла на человечность Иланы? Когда был суд, она просила заменить смертельный укол убийце — пожизненным заключением, но суд отказал.

В благополучной, несмотря ни на что, Калифорнии модель поведения Иланы обычна, хотя и исключения — не редкость. На второй день после приезда я сел в городской автобус. Сейчас стоят билетные автоматы, а тогда я протянул водителю доллар, но оказалось, надо иметь мелочь. Стал выяснять, где ее взять, но шофер сказал: «Да садитесь, за вас уже заплатили!» На последнюю скамейку усаживался молодой человек, и я пошел к нему спросить, как отдать долг.

— Зачем мне? — отозвался он. — Отдадите кому-нибудь третьему...

Эта очень американская формула — альтернатива другой: «Ты мне — я тебе». Обратите внимание на разницу в смысле выражения «ищу третьего» здесь и в некоторых других странах. Впрочем, не надо искать третьего, они как-то сами находятся.

Последнее, что Илана сделала в этой жизни — она завещала свое тело исследователям одного из крупнейших онкологических центров Америки, находящегося в Сакраменто. Она хотела, чтобы клетки ее тела после смерти послужили людям. Самопожертвование, переходящее за грань жизни, на которое не каждый согласится, хотя трудно объяснить, почему. Поскольку все мы смертны, я сделал более скромное, но святое дело: разрешил использовать свои органы в случае «дорожной смерти», о чем сделана отметка в моих автомобильных правах. Может, спасу жизнь другому, если нельзя будет помочь мне.

А все же странно, что некуда прийти к Илане, положить цветы, помолчать.

ПАРАДОКСЫ КАМПУСА

«Панорама», Лос-Анджелес, 1994, № 697

Избыток свободы

Дважды в неделю по часу у меня в университетском кабинете приемные часы. Иногда никого, и я пишу письма. Иногда — в коридоре очередь, сидят на полу, читают или дремлют, ждут. Раз в год я получаю циркуляр от испуганного начальства всему мужскому персоналу: просьба не закрывать дверь, когда беседуете со студенткой *tete-a-tete*. Рассердившись из-за плохой оценки, заявит, что вы посягали на ее прелести. Все знают, что это перестраховка, на практике ничего такого не происходит. Студенты дружелюбны, в отличие от российских, менее циничны и более открыты.

Студентка Джулия К. (фамилию не скажу, а имя выдумал). Пришла, села и с ходу:

— Меня трахает черный. Что вы посоветуете?

Вообще-то прием для консультаций по литературе. Но — свободная страна. Приходят ко мне, доверяя авторитету, или просто в данный момент посоветоваться больше не с кем. Времени на размышление нет. Послать ее в центр психологической помощи? Она и без меня знает про это, а пришла ко мне. Итак, у нее связь с черным. Что же ответить?

— Все цвета кожи хороши, — начал я банально. — Проблема, видно, не в том, что он черный, а...

— Только в том, — отрезала она. — Отец узнал и категорически требует, чтобы я с ним порвала. Нет, отец не расист. Он и сам мексиканских кровей. Он говорит, что Бог для чего-то создал людей разных рас. И смешивать расы — значит, идти против Бога.

Что бы вы ей ответили, читатель? Когда она от меня уходила, черный парень ждал за дверью и сразу принялся обнимать ее так, будто хотел заполучить тут же, в коридоре.

Я приветствую секс. Но за те три года, что Джулия провела на кафедре русской литературы, она никогда ничего не спросила о Тургеневе, Достоевском или Цветаевой — хотя бы в плане любви или Бога. Больше всего ее занимал феминизм. Как доктрина. С трибуны она была активисткой борьбы против засилья мужчин. В жизни же крутила бесконечные романы, а одного своего друга вывезла из Москвы.

Секс и феминизм в причудливом гибриде переросли все меры в американском образовании. Сажу на совете по аспирантуре. Докладчица рапортует о громадном успехе Калифорнийского университета в прошлом году: число женщин в аспирантуре достигло 50 процентов. Я аплодирую вместе со всеми. Она закругляется: наша задача — не останавливаться на достигнутом, бороться дальше, добиться новых успехов. И опять все аплодируют. А бороться за что? За 100 процентов женщин в аспирантуре? Открытое общество. Борись «за» и «против» чего хочешь. При этом то и дело натыкаешься на подводные рифы.

Студенты, изучающие испанскую словесность, объявили голодовку протеста. По их мнению, профессора занижали оценки на экзаменах тем, кто приехал из испаноязычных стран. На площади перед главным зданием университета поставили палатки и в них, несмотря на уговоры представителей администрации, голодали, естественно, под контролем переполошившихся врачей. Через неделю конфликт иссяк. Во-первых, выяснили, что преподаватели испанской литературы сами были не коренными американцами, а выходцами из тех же стран. Во-вторых, оказалось, что голодали не сами протестанты, а их друзья, студенты из Индии, которые были йогами: голодать для них было наслаждением. Потрачена уйма времени, и нервов, и энергии, которые лучше было бы направить на сдачу экзаменов, но университетская свобода подтверждена.

На мой взгляд, та самая свобода, к которой сегодня стремится Россия, парадоксальным образом — в американской системе образования в избытке.

Вхожу в класс, о чем-нибудь пошучу, начиная лекцию, чтобы создать настрой. Моя свобода — академическая (о ней речь впереди), а у студентов реальная. На последних рядах располо-

жились голодные, разложили завтрак, слушают и кушают. Впереди, прямо передо мной, студентка, которая только что родила, вытащила грудь и кормит младенца, чтобы молчал и не перебивал меня плачем. Покормив и все еще держа рукой грудь, она задает вопрос: «А был ли у Натальи Гончаровой роман с Николаем Первым?». Это тоже свобода; слава Богу, с кошками, собаками и змеями теперь в аудитории сидеть запретили. Байрон, который держал у себя в общежитии медведя, протестовал бы, но он учился давно и в другом университете.

Избыток свободы в университете — это предпочтение дискуссии заучиванию наизусть. Студенты мало читают, а если читают, то только учебники. Американская молодежь в большинстве не занимается сутками, как учились их родители или, что несколько странно вспоминать, как мы учились в Москве в пятидесятые годы. Грызут гранит науки по-настоящему недавние выходцы из Азии и, как результат, преуспевают. Поощряемая практика без меры менять университеты, переезжая из штата в штат и из страны в страну, тоже имеет свои серьезные дефекты.

Государство в государстве

Слова «кампус» нет в русских словарях (заглянул в несколько томов). Нет и по сей день, когда каких только слов не позаимствовали, вроде дурацкого и ненужного «эксклюзивный» с легкой руки «Московских новостей». Перевод «campus — университетский городок» в последнем Оксфордском словаре 1993 года плохой, потому что университетский городок — это и то, что вокруг кампуса, а кампус — только сердцевина такого города. Русское «студгородок» тоже не раскрывает сути кампуса: это в основном общежития. А нет слова кампус потому, что нет пока такой реалии. Без слова «кампус», составляющего важнейший элемент американской, а в будущем, несомненно, и русской жизни, не обойтись.

Слова пока в обиходе нет, но и российскому читателю, конечно же, ясно, что оно обозначает. Кампус, о котором идет речь, — Дейвис, известный в мире под названием «ЮСи Дейвис», то есть University of California, Davis. Я читал лекции или

встречался с читателями примерно в тридцати американских университетах, — кампусы сутью своей и схожи, и нет. О качестве и типичности Дейвиса говорит то, что он не лучший в Америке, но и не последний: он в числе первых сорока американских кампусов, а всего их свыше двух тысяч двухсот. К тому же из недавнего исследования вытекает, что Дейвис по ряду параметров входит в группу пяти наиболее перспективных в смысле будущего развития: ему есть куда расти.

На берегу Тихого океана лежит тарелка — долина, окруженная горами, с идеальным климатом на дне. Дейвис в центре этой тарелки. Иноземцы пришли на территорию индейских аборигенов, постреляли их во время «золотой лихорадки». Сейчас могилы тех и других бережно охраняются. Россия тоже, между прочим, целилась на Калифорнию. Крепость Форт Росс осталась как память, тщательно изучаемая славистами. У нас можно купить инвентарь и пытаться отмывать золотой песочек в горных речках, — есть такое хобби. Недалеко от нас Джек Лондон поселился в этой райской долине — жил в скромном доме, но рядом соорудил шикарный дворец. Остались стены, которые Лондон не успел достроить, и могила великого романиста.

Сюда, на чистое место, переместились европейцы и начали с нуля. Почти полтора столетия назад ферма превратилась в университет, и он выпускал по преимуществу агрономов. Башне Сайло около ста лет. Когда-то это действительно была силосная башня, а теперь обслуживаемое студентами кафе-забегаловка, вернее, заезжаловка, где можно быстро, дешево и вкусно перекусить.

Университет давно стал наполовину гуманитарным, а остальное — медицинский (пятая школа в США по престижности), юридический, инженерный и прочие факультеты. Аграрные дисциплины сжались из-за ненужности в специалистах до самого минимума и занимаются больше охраной окружающей среды. Да еще вином: факультет виноделия в Дейвисе, расположенном в солнечной долине, на третьем месте в мире после двух французских школ, и корни (в буквальном смысле) оттуда. Некоторые профессора в качестве хобби держат винные погреба, а осенью приглашают дегустировать.

Политически кампус — это республика, государство внутри государства. Во главе президент. В Дейвисе — канцлер, как в ФРГ, потому что мы — один из девяти кампусов системы Калифорнийского университета, одного из крупнейших в мире. В часе езды другой наш кампус — Беркли, в четырех часах — Санта Круз, в шести — ЭлЭй (Лос-Анджелесский). Кампус кажется стабильным, вечным. Старые здания, монументы, портреты основателей в залах придают ему такой вид.

На въезде в кампус современное здание с ярко-синей крышей. Оно построено только что, в разгар экономического кризиса для встреч выпускников, для абитуриентов и гостей. На строительство, как говорится, скинулись бывшие студенты, — те из них, кто сегодня занимают места на верхушке американской пирамиды.

Кампус — это город в городе: улицы, площади, парки, научные институты и лаборатории, концертный зал размером с Лужники, многоэтажные парковки, кино, театры, книгохранилища и архивы. Библиотеку имени Питера Шилдса считают одной из крупнейших в Северной Америке. В ней почти два с половиной миллиона томов, включая весомое собрание русских книг. Две коллекции имеют мировую ценность: книги о современном театре и романтическая поэзия. Кампус сказочно красив — в вековых деревьях, с огромной площадью для гуляний, ярмарок и демонстраций, круглый год в цветении.

Когда едешь по скоростной дороге, кампус обозначен как самостоятельный город. Внутри кампуса своя система транспорта. Для Дейвиса купили пару десятков двухэтажных автобусов в Лондоне, на палубе провезли через Атлантический и Тихий океаны и вверх по реке Сакраменто доставили сюда. Без специального разрешения внутри кампуса можно передвигаться только пешком и на велосипеде. На кампусе своя телефонная система, полиция, пожарные команды, общепит. На каждого служащего (включая меня) приходится в среднем три компьютера.

Кампус — муравейник. Тридцать тысяч велосипедов направляются к нему утром со всего города по проложенным через парки специальным дорожкам, через виадуки и тоннели над и под улицами. Велосипеды обычные, одноколесные, как в цир-

ке, трехколесные и для лежания во время езды — похожие на кровать с педалями. На велосипедах в Дейвисе едят, дремлют, целуются и, говорят, ухитряются зачать детей, хотя сам я этого не видел. Канцлер университета едет на велосипеде, а его секретарша, которая живет далеко, на «Мерседесе». Едут на занятия и на роликовых коньках (на них же выезжают и к доске), и на инвалидных колясках.

Идут лекции, и кампус кажется неживым. Перерыв — и муравейник зашевелился. Тысячи студентов и сотни преподавателей вываливаются на улицу, садятся на велосипеды и перемещаются в другие здания. Лихачей-велосипедистов штрафует полиция за превышение скорости, но за год три-четыре человека оказываются в госпитале. Через десять минут кампус опять замрет, и велосипедные воры получают возможность выбрать самые лучшие велосипеды, которые стоят дороже автомобиля. Но полиция бдит. Она же собирает в конце учебного года сотни брошенных велосипедов и за бесценок продает их на аукционе.

Кто платит, тот не заказывает музыки

Петуха кормят не только за то, что он кукарекает. Писателя держат в университете не только за то, что он пишет. Бернард Шоу как-то сказал: тот, кто способен, творит, кто не способен — учит. Тут считают иначе: кто не способен творить, тот не способен и учить. Знания и опыт из первых рук — это принцип. Но надо любить и уметь этим щедро делиться. Кто из писателей в России преподавал? Пушкин прочитал одну лекцию в Московском университете. Гоголь начал курс, заскучал и не справился. В Америке писатели (как и композиторы, и живописцы) — неперемнная и особо почитаемая частица так называемого академического персонала. Бернард Маламуд и Владимир Набоков — расхожие примеры. Биограф Сталина Роберт Такер, американский дипломат, которому «отец всех народов» с почтением, глядя снизу вверх, пожимал руку, преподавал политические науки. Романист и профессор Техасского университета Майкл Адамс даже написал учебник для студентов «Психика писателя и смысл сочинительства». Как делать драму, у нас на

кампусе учат известнейшие авторы мира: это входит в полугодовой ангажемент с ними.

Конечно, лекции именитых гостей стоят дорого. Курту Воннегуту, путешествующему с лекциями из кампуса в кампус, Дейвис заплатил 12 тысяч долларов за 50 минут. Но аудитория была — 12 тысяч студентов и преподавателей, а очереди с вопросами к двум микрофонам вытянулись на улицу.

Университет отрывает писателя от стола и от компьютера. Затягивается окончание книги, незаписанные хорошие мысли (а их не так много) вылетают устно во время лекции, но я люблю весь этот процесс. Интересно при этом, что никто не предлагает вам программ курсов лекций и приветствуется новая тематика и новые подходы.

На семинаре по русскому фольклору анализировалось популярное отечественное выражение со словом «мать». Как известно, на чужом языке слушать и произносить брань легко. Но на письменном экзамене выражение это вместе с синонимами требовалось перевести на родной английский, и студентка заявила профессору, что мама ей не разрешает писать такие слова.

— Это ж факт русского быта, — спокойно возразил преподаватель, всемирно известный, между прочим, славист.

Отец девочки оказался крупным чиновником в правительстве штата Калифорния. Он поднял хай на солидном и принципиальном уровне: дескать, чем занимается наша высшая школа, на которую мы отпускаем такие огромные деньги, с трудом вырванные у налогоплательщика в такие экономически трудные времена! Скандал кончился ничем, ибо профессор, не оправдываясь, произнес в ответ два магических слова: академическая свобода.

Свобода, которая в данном контексте именуется академической, на кампусе на первом месте. Администрация университета не может затронуть право профессора исследовать и преподавать то, что он лично считает нужным. Если никакое издательство не согласится издавать спорную, заумную, глупую, бесполезную или даже вредную книгу профессора Икса, университет выделит деньги автору на ее выпуск, не вникая в суть излагаемых доктрин. В этом есть свои плюсы и, конечно, свои минусы, но принцип академической свободы неколебим.

Кстати, уж раз я коснулся матерной темы в связи с академической свободой, спрошу: как вы считаете, важно или нет американским студентам знать русскую ненормативную лексику? У меня был один аспирант, в прошлом военный, который служил в Европе на радиоперехвате разговоров советских военных летчиков между собой и с их наземными службами. Русскую матерщину этот интеллигентный американский мальчик знал лучше меня и объяснял тем, что восемьдесят процентов, если не больше, лексики советских летчиков составляли выражения из известного американского Словаря русской брани (Dictionary of Russian Obscenities).

Выходит, американцам стратегические планы России без матерщины не понять. Так что же, учить в университете будущих журналистов, дипломатов, политологов, экономистов и тем более бизнесменов, собирающихся иметь дело с Россией, ненормативной лексике или не учить? Должны они понимать, куда партнеры посылают друг друга на переговорах?

Свобода преподавания... За годы преподавания в Дейвисе никто из администрации не посетил ни моих лекций, ни лекций моих коллег, хотя можно попросить прийти к вам с видеокамерой, если вы нуждаетесь в совете, как улучшить процесс. Так же свободен и студент в выборе курсов. На неинтересные — не идет, даже если они полезны.

Свобода — и вот, скажем, феминизм заполнил все пустые ячейки, вытесняя другие темы: женская литература — отдельно по всем странам и расам, женская психология, роль женщины в археологии и в самолетостроении, в борьбе «за» и «против» в том или ином периоде истории. Для чего женщин нужно во всем выделять из традиционного изучения человека вообще? Зачем делить журналистику, кино, театр на женские и мужские, как туалеты? Если спрашиваешь о целесообразности, ты политически некорректен. Но вообще, чаще дело в поветрии, и со временем этот перекосяс отрегулируется сам собой.

Идеальный пример вольности на кампусе — советология. Много написано про университетских левых, социалистов, марксистов, тех, кто защищал режим Ленина и Сталина, пионерскую организацию и трудовые лагеря, а заодно и коммунизм

как светлое будущее Америки. Недавно читал статью уважаемого мною писателя под названием «Берегись советологов!», где говорится о вреде этих профессоров как консультантов. Но и название, и сама статья получились односторонние: ведь в то же время в тех же университетских издательствах выходили книги противоположных взглядов, которые мы в Москве в мрачное время конспектировали по ночам. Были кампусы с левизной (Беркли) и правые (Дейвис), но и там, и там была и есть свобода полемики, в которой открыто говорится и пишется всё. Были массы левых студентов — а затем многие студенты стали выступать против комсомольских замашек американского президента. Нравится это кому-нибудь или нет, но считать огулом всех американских советологов левыми, как делает автор статьи «Берегись советологов!» (и не он один), несправедливо.

Чудесным образом, качаясь влево и вправо, от пользы к бесполезности, занимаясь актуальным и ненужным, американская университетская наука движется вперед. Запретите перекосы, кто-то окажется уполномоченным решать, что нужно и что нет, — и будет знакомая нам, бывшим советским людям, единственно правильная и глубоко порочная система.

За счет будущего

Может быть, основной парадокс американского университета, насколько я понимаю, состоит в том, что это, как ни странно, одновременно очень мобильная и очень стабильная организация. Кампус постоянно совершенствуется каким-то естественным образом, но в нем очень трудно что-либо изменить усилием воли даже могучих и влиятельных умов. В Америке вообще трудно что-либо сделать централизованно: внедрить метрическую систему, провести реформу здравоохранения или образования. Единственное, что быстро происходит, — поступление денег. Или — их отток.

Университеты в последние годы стали беднее. Раньше выделялись огромные суммы специально для приглашения Нобелевских лауреатов во всех областях. Теперь идет утечка видных специалистов: врачей, адвокатов, физиков, которые в фир-

мах получают вдвое больше. Мой приятель, популярный теле-сценарист, женившийся, между прочим, на талантливой актрисе из МХАТа, уехал из Дейвиса вместе с женой обратно в Голливуд: заработки несоизмеримые.

Кампус питают три источника: пожертвования частных лиц, плата за обучение и финансирование штатом Калифорния. На специальные исследования деньги идут отдельно по контрактам. С первым и вторым родниками более-менее ясно. Первый источник весомый: не случайно здания на кампусе носят имена жертвователей. Это добрая американская традиция — вкладывать деньги в образование, строить университетские кампусы, поддерживать свою Альма Матер. Возвести многоэтажное здание, перевязать ленточкой и подарить. Второй источник — студенческая плата — сравнительно небольшой, и эти деньги по закону запрещено расходовать на оплату преподавателей, чтобы не было щекотливой зависимости типа: я заплатил и за это хочу получить хорошую оценку.

Ситуация наиболее аховая с третьим источником, ибо он основной, бюджетный. Остряки шутят, что в Калифорнии есть два типа землетрясения: трясет землю и — казну. Но землю — время от времени, а казну постоянно. Казна же колеблет систему образования. Что, если могучий экономический спад разрушит кампусы совсем? Ответ на этот раз однозначен: тогда мы нестройными рядами придем к окончательной победе первобытного общества.

Опасность есть: депрессия на рубеже веков соизмерима с той, которая была в тридцатые. Четыре года Калифорния стонет от сорокамиллиардного дефицита. Причины: закрытие военной промышленности и военных баз, а также миллионный наплыв эмигрантов. Расходы кампусов растут быстрее доходов штата. Мудрецы из политиков, частью сами недоучки, обнаружили близко лежащий источник для пополнения казны: сокращение системы образования. Басня «Свинья под дубом» начала было реализовываться на кампусах. В университетах сократились не только военные исследования, но и такие темы, как космос, спид, электрический автомобиль. Повысилась плата за обучение, урезались зарплаты, сжались спортивные

программы, закупка книг и подписка на иностранные журналы для библиотек, убавилось число студентов. Зазвучали речи: «Мы дошли до красной черты», «Начинаем жить за счет будущего».

Денег на кампусе не хватает, но у наследников богатого местного землевладельца для расширения университета в будущем купили землю, (равную трети нынешнего кампуса), которая пока что пустует. Только что возвели новую многоэтажную стоянку для машин преподавателей. Строят гигантское здание центра искусств. Собираются возводить стадион (их уже есть несколько). Все это делается с дальним прицелом, делается умно, ибо, похоже, что виден свет в конце тоннеля. Но тревожные вопросы о содержании и качестве обучения не отпадут с улучшением бюджета. Скорее, наоборот — обострятся.

Хорошо ли, что американцу любого возраста попасть на кампус теперь легко? Практически записаться можно через компьютерную систему. Поступают сразу в несколько университетов и потом выбирают. Специализации в первые годы обучения нет, нет и обязательных курсов, лишь их количество. Исправляя слабые стороны средней школы (об упадке которой должен быть особый разговор), университет пытается поднять культурный уровень новоиспеченных студентов. Они обязаны прослушать несколько курсов «джи-и» — General Education, то есть — для общего образования. Я тоже читаю раз или два в год такие курсы, например, «Писатель и цензура в России» или «Современная российская цивилизация». Собирается человек семьдесят пять. Количество курсов обязательно для каждого, а тема — по выбору. И тут их выбирают для удовольствия, из-за той же моды. В моде сейчас курсы по археологии, трудно сказать, почему. Но самым популярным у нас на кампусе был курс (или попкурс?) «Биография Моцарта» — в классе 800 студентов. Тут уж не до глубоких знаний. И вообще: почему университет должен латать дыры средней школы?

Учиться в университете стало не трудно, даже если придется одновременно зарабатывать деньги на учебу мытьем посуды в ресторане или покраской домов. Целеустремленные студенты все еще есть, но, мягко говоря, далеко не все таковы.

Формула «Жизнь — для удовольствия» так въелась в последние поколения американцев, что грозит деградацией нации. На вопрос: «Зачем вам русский язык?» — девушка на собеседовании отвечает с открытостью, свойственной американцам вообще: «Чтобы на тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое».

Читаю общеобразовательный курс и вижу там и сям туповатые лица, которым ничего не интересно. Их будущая оценка написана у них на лбу. А статистика такова: 34 процента поступивших в университет студентов отсеиваются в течение первых двух лет. Не вытягивают. На 22 900 студентов в Дейвисе это много. Но я преподавал в Техасском университете — там на 42 тысячи студентов отсеял 40 процентов.

Для тотальной системы образования, которая была в Советском Союзе, такое немыслимо. Это выброшенные государством деньги и недовыпущенные с конвейера роты врачей и батальоны инженеров. Здесь другой принцип: одни учатся просто так, без цели, чтобы провести время. У других уже есть профессия, и они хотят ее сменить. Третьи приходят, чтобы расширить кругозор. Возраст любой. У меня была студентка, которой исполнилось 77 лет. Большинство школьников идет в университеты, то есть учатся лишние год, два, а то и три. Не потянут — будут работать продавцами, или работягами на заводе, или официантами. Да, говорят защитники отсева, эти не подобрали такого яблока, какое нашел Ньютон, но они попробовали это сделать. Недоучки вдохнули запах науки в лабораториях, библиотеке, послушали интеллектуальные споры на кампусе, попробовали иностранные языки, общались со студентами многих стран.

А теперь умножьте почти восемь тысяч бросивших университет в Дейвисе на две тысячи двести университетов и колледжей Америки. Образование и общая культура американской нации повышаются. Впрочем, таким молодым людям лучше бы сразу идти в государственные колледжи, то есть в техникумы, попытаться их закончить. Но — свобода, и они попадают в престижный университет.

Образование все еще ценится в американском обществе, хотя и не так, как раньше. Сертификат, то есть, кроме диплома

об образовании, разрешение на право практиковать в данной профессии, в Калифорнии требуется для всего, в том числе для парикмахера, стригущего собак. В какой офис ни войди, на стене в рамке диплом, а чаще несколько. В кафе, где я покупаю торт для гостей, висит документ хозяина об окончании кондитерской академии в Вене. А рядом — свидетельство его жены, балерины из Нью-Йорка. Купить поддельный диплом, как это принято в некоторых странах? Слышал как-то, что в Техасе ленивые детки богатых родителей нанимают себе двойников, которые учатся вместо них под их именами. Честно долбят несколько лет, получают настоящий диплом со степенью бакалавра и... с фамилией оплатившего их учение. Разумеется, это уголовно наказуемо. Но ведь, кроме того, в Америке, в отличие от некоторых других стран, невыгодно работать без знаний. Получается, что человек с «корочками» и пустой головой обкрадывает собственное будущее.

Встречное движение

Я состою в комиссии, которая отбирает студентов для обмена между университетами разных стран. Впрочем, заплатив за поездку дорожке, могут ехать и те, кого забраковали. Но сами. Обмен со странами СНГ такой: мы посылаем — мы платим, к нам посылают — тоже мы платим. Это невыгодно, и официальный обмен с этими странами пока что сокращается.

Гуманитарная часть университета выросла до одиннадцати тысяч студентов, а работа для них становится все более проблематичной: дипломатов, журналистов, политологов, психологов в Америке перебор. Некоторые готовы ехать в любую страну. Была у нас студентка, которая готовилась преподавать русский язык в американской школе.

— Мой любимый писатель Гоголь, — говорила она мне. — Я читаю повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Кефировичем.

— Никифоровичем, — механически поправляю я.

— Конечно, вы правы: Иван Иванович с Иваном Некефировичем.

Русский у нее к концу университета стал хорошим, а работу не нашла. Только что я получил от нее письмо. Специалистка по русскому языку, она преподает английский в глухом узбекском кишлаке, русский позабыла, учит узбекский, счастлива.

Сегодня тысячи российских энтузиастов, желающих здесь учиться, учить или заниматься исследованиями, пытаются взять штурмом американские университеты. Разумеется, самыми пробойными оказываются детишки той же бывшей (впрочем, почему же бывшей?) партийно-гебешной элиты: у них и деньги, и связи, и английский лучше, и нахрапистость наследственная. Одна моя студентка поехала в Москву туристкой. Вернулась, сразу начала учить русский. А вскоре привела ко мне на лекцию по истории русской цензуры бойфренда, которого обрела там. Мальчик с факультета журналистики МГУ, он быстро пристроился здесь.

— Интересно, как КГБ манипулировало прессой, — похвалил он лекцию. — Я многого не знал, а ведь у меня папа — начальник главного управления.

Вскоре, как радостно сообщила мне эта студентка, появился и папа, заведующий русскими шпионами. Приехал в качестве нового российского бизнесмена проследить, как окопался сын. Но есть действительно талантливые люди, уникальные профессионалы, и я хорошо понимаю их желание жить в Америке. Десятилетиями кампусы этого континента пополнялись за счет утечки мозгов из других стран. Это продолжается и сейчас, но предложение значительно превышает возможности.

Американское высшее образование, несмотря на все изъяны, остается одним из самых престижных в мире. Говорят, оно хуже японского или немецкого. Но в Америку приезжает больше японских и немецких студентов, чем американцев в Японию или Германию. Часть иностранцев притягивают более высокие стандарты жизни, других высокие технологии, третьих легендарные избытки свободы. Свобода учить и учиться, однако, на американском кампусе достигла, на мой взгляд, критической точки. И тут не избежать сакраментального воп-

роса: что делать? У меня нет ответа. Вернее, то, что предлагаю, многим, особенно у нас в Америке, покажется неприемлемым.

Умеренный консерватизм есть неотъемлемая черта академического образования, да и вообще системы образования как таковой. Сделать бы так, чтобы свободы стало чуть меньше, а обязательного и вечно важного больше. Это привело бы к глубине и качеству высшего образования. Как при этом не повторить ошибок тоталитарных образовательных систем именно в то время, когда в тех странах хотят избавиться от идеологического диктата и равняются на Америку? Это вопрос процедуры. В целом, мне кажется, если бывшему советскому и восточно-европейскому вузу предстоит для прогресса сделать два шага вперед, не мешало бы американскому кампусу сделать шаг назад.

АКТИВИСТЫ ТЕАТРА АБСУРДА

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 24 ноября 1995

В качестве американца, побродившего изрядно по глобусу, скажу, что североамериканская демократия — самая-самая в мире. А как русский писатель, склонный к инакомыслию, упру палец в ее изъян, в ее самоистязание. Все знают суть этой американской акции (affirmative action — позитивное действие): меньшинствам даются преимущества при поступлении в университет, приеме на работу и для поддержки бизнеса.

Славянская кафедра соседнего университета принимала на работу преподавателя. Вообще-то он у них уже был, но на так называемых «мягких деньгах», то есть временный, а нужен был постоянный. Казалось бы, парень кончил Гарвард, по-русски говорит почти хорошо; накопив материалов в Москве, заканчивает рукопись о советском критике тридцатых годов, студенты пишут о нем славные отзывы, — переведите его на «твердые деньги», и все тут! Но в том-то и загвоздка, что, согласно позитивному действию, у него уйма дефектов: он не негр, не женщина, не беременный, не гомосек, передвигается не в коляске, а своим ходом и, к сожалению, не дебил. Поэтому авторитетная комиссия отобрала из сорока двух кандидатов не его, а симпатичную черную девушку, которая заявила, что она лесбиянка и при этом немножечко в положении. Политически все было выдержано корректно.

Вот уже несколько лет все на кафедре отдуваются, читая за нее лекции, не только потому, что она перманентно или рождает, или беременна (это дело святое). То она получила грант на изучение праоснов лесбийской любви и отбыла в Грецию (хотел сказать — в Древнюю Грецию), то занята поддержкой очередной кампании феминисток. И при этом никто не может

ее убедить не ставить на первом слоге ударение в фамилии Толстой.

Но и это еще не все. Недавно бывшая девушка, а ныне преподаватель, учтя ситуацию, публично заявила, что при найме на работу пять лет назад свинские мужчины-шовинисты ей дали ниже ставку, чем надо, потому, что она женщина. Она потребовала пересмотра всего ее досье, чтобы задним числом повысить саму себя в должности от начала и по всем последующим ступеням, и несколько комиссий посейчас продолжают в смущении над этим работать. Поистине: сказали «а», придется промямлить «б», университет отступает, неспособный защититься от бесстыдной потребительницы узаконенной программы позитивного действия.

Наконец, как все знают, большинством голосов Совета попечителей «позитивное действие» в Калифорнийском университете отменено. Но сколько лет придется хлебать последствия — от крупного до мелочей? Ведь *chairman* (председатель) нельзя говорить, потому что «man» — мужчина, и мы пишем просто «chair» — стул. Оскорбительно говорить в лекции или писать «он происходит от обезьяны», надо «он/она происходят от обезьяны» и т. д. Миллионы во всем мире носят фамилии, оканчивающиеся на «ман» — скажем Хекман, Голденман или Райхман. Если следовать логике феминисток, женщины с такими фамилиями должны их поменять на Хеквуман, Голденвуман или Райхвуман.

В университете ведутся отдельно просто «исследования» и — «женские исследования», причем последние в специально созданном центре финансируются более охотно, а значит, привлекают все больше аспирантов. Углубляется феминизация всех наук. А из всех наук для нас важнейшей является теперь феминистика. Таков порочный круг. Читаются курсы по литературе и по женской литературе. По театру и по женской драматургии. Мемуары, написанные женщинами, изучаются отдельно в курсах истории и сравнительной литературы. Мужчины все больше становятся в исследованиях негативной силой. С публичными лекциям по университетским кампусам Калифорнии разъезжает немолодая студентка, которая делится с аудиторией деталями, как ее хотел соблазнить профессор. Не соблаз-

нил, но замыслил. Ничего не доказано, но публика кричит: «Давай подробностей!» Не приходится удивляться, что в конкурсе, объявленном одной американской газетой на лучшее определение мужчины, побеждает феминистка, которая написала: «Эта сволочь, которую надо кормить мясом».

Давно замечено, что у человека две возможности существования: потреблять окружающий мир и выражать в нем себя. Программа позитивного действия, думается, преследовала вторую цель: помочь определенным категориям людей всплыть на поверхность. На практике эта акция превратилась в жертву первой цели: закон (и нас с вами) потребляют люди, нечистые на руку. Кажется, мы переполнены свидетельствами того, как часто благородные политические замыслы оборачиваются взрывом низменных страстей, а путь к высоким идеалам устилается жертвами вчерашних идеалистов. Но жизнь подбрасывает все новые и новые иллюстрации, свидетельства, образцы.

Знаменитый подонок, растерзавший в Лос-Анджелесе бывшую жену и случайного человека, выпущен на свободу потому, что он черный. Виноваты и мы тоже — доведшие до абсурда программу позитивного действия. Раньше я сердился, когда студентки пропускали меня первым в лифт, теперь смирился и боюсь нарушить их равноправие. В компании проглатываю комплимент хорошенькой женщине, ибо это может быть истолковано, как сексуальное домогательство, и для штрафа мне придется продать дом. Послушно пишу в анкетах вместо «белый» — «кавказского происхождения», ибо писать «белый» — значит унижать «черных», — уж не знаю, какому идиоту в США удалось протащить такой эвфемизм, ничего общего, правда, не имеющий с созвучным российским выражением. Я пишу эти строки на плохом, медленном компьютере, потому что университет обязан поддерживать малый бизнес, где хозяин черный, и покупать технику только у него, а тот — шустрит, продает старье.

Америка по каждому поводу должна дойти до бездны падения, исчерпать аргументы всех умных и обязательно всех глупцов, чтобы, изрядно набив синяков и шишек, вернуться к трезвой разумности. Позитивное действие отменили, а политическая корректность в американском академическом мире иногда

смахивает на сусловскую цензуру, хотя и в интеллигентной форме. Похоже, что идея этой программы была украдена левыми американскими политиками у советских идеологов. Там бездари и партийные детки из хлопковых республик защищали в Москве «процентные» диссертации, которые за них писали выкинутые с работы диссиденты. Впрочем, в Америке и своих умников для придумывания абсурдных программ хватает.

Отвоевав, наконец, демократию, получив свободу любых акций, российский образованный люд на наших глазах по самым обычным поводам теряет здравый смысл в борьбе «за» и «против». Возьмите список политических партий, чтобы это понять. Поглядите, что обещают лидеры, какие вздорные темы выплывают подчас на первый план в московских газетах и книгоиздательской продукции. Какие страшные прогнозы смерти литературы, интеллигенции, распада семьи вешают нам в виде лапши на уши. То и дело ищут виновных, врагов, делят людей на своих и чужих, на внутренних и эмигрантов, и все это представляют как те же самые позитивные действия.

Некая газета «Патриот» нашла нового врага и сосредоточила на нем гнев, посвятив вашему покорному слуге очередную целую полосу. Там говорилось, что я по заданию ЦРУ хочу отнять у России Пушкина. Затем пятьдесят писателей и неписателей (Белов, Бондарев, Распутин, Шафаревич и прочие из той же колонны) опубликовали развернутую программу под названием «Защитим русскую национальную святыню. Открытое письмо к русскому народу».

Суть позитивного действия компатриотов — требование к президенту России «применить всю вашу власть», чтобы запретить «осмеяние и оскорбление нашей национальной гордости». В пример приводятся опять эмигрантские авторы. В частности, об известной книге Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным» (между прочим, вышедшей на английском в издательстве Yale University Press) говорится, что это «маразматический бред выжившей из ума старухи». Ну ладно, допустим, что «бред», но почему профессор Сорбонны Синявский — «старуха»?

Да и вообще, опять перебор в программе позитивного действия: важнейшая политическая задача сейчас, стало быть, гру-

дью встать на защиту Пушкина от мнимых врагов, наступающих с Запада, и все будут при деле. Более важных забот у бывших номенклатурных писателей и академиков нет. Чечня, преступность, инфляция, продолжительность жизни 58 лет — ерунда. Главное, «применить всю власть», чтобы не допустить прогулок Пушкина с изменниками родины. Так что прошу всех, кто эмигрировал и продолжает любить стихи Пушкина, запомнить: поэт этот не ваш, а их, российских патриотов, личная собственность. Читать дозволяется, а вот обсуждать — ни-ни. Впрочем, Пушкину не привыкать наблюдать, как его приспособливают к различным движениям, партиям, политическим акциям.

Как ни странно, российские писательницы — в первых рядах борьбы за то же самое позитивное действие. Подражая Америке, они создают свою особую женскую литературу. И благодаря свободе печати — литературу с порномодерновым запашком. Как же так? Писательниц много печатали, когда была советская цензура, и под контролем вкус их был пристойным. А теперь, при отсутствии цензуры, оказалось, что у них отсутствует и вкус, и культура, и талант. В интервью прозаик (прозаичка?), сочинительница «новой прозы» заявляет, что они-де втроем (птица-тройка) толкают вперед женскую литературу бывшей одной шестой части суши. А то, что провозглашает упомянутая выше московская писательница, по сути, опять же позитивное действие, на сей раз в литературе.

Почему, собственно, женский белль-летр должен обособляться, как выделяется литература детская, как «М» и «Ж», как гинекология? Литература бывает хорошая и плохая, ну, назовите ее еще профессиональной и графоманской, ну, разделите на жанры, как говорил мольеровский герой, все то, что не проза, то стихи. Но не вижу я ни в стихах, ни в прозе жанра «Ж». Обособление — это, в сущности, вымогательство права на заниженные критерии. Зачем женским литературным альманахам функционировать на особый манер, как журналам для слепых? Мужчина и женщина, как говорил один мой знакомый адвокат, пилят пополам люстру при разводе, на зачем без развода распиливать словесность? А фильмы тоже надо выпускать для женщин отдельно и играть в них должны одни женщи-

ны? А специальные женские деньги еще не надо печатать? Почему, борясь за равноправие, мы должны сперва дойти до абсурда, чтобы вернуться к норме?

В интеллектуальной области Божий дар — единственная законная привилегия индивида над посредственностью и вообще одного человека над другим. Ни пол, ни национальность, ни цвет кожи тут ни при чем. Больше возможностей и прав в цивилизованном обществе тому, кто доказывает, что он способнее. Этому принципу, кстати, следовать легче, а в государственном масштабе и значительно дешевле, чем терять здравый смысл от позитивных действий, — и в Америке, и в России. А когда ума дефицит, очень хочется объединиться с себе подобными и добиваться привилегий за счет партийной принадлежности, цвета кожи, половых признаков или даже своеобразных сексуальных наклонностей, которые, может, и дают преимущества, но в постели, а не в обществе.

Однажды почтенный профессор-славист, мой старинный друг, закрывая конференцию по, так сказать, «женским исследованиям в мужской литературе», вдруг в конце тихо сказал:

— А вообще-то послушайте старика, господа. Сколько можно терпеть, чтобы талант человека, мастерство писателей, даже классиков, оценивали, упреков взгляд между ног?!

Потом он мне признался: чтобы решиться на эту политическую некорректность, он предварительно принял две дозы «Bloody Mary» — водки с томатным соком. Придя в себя после шока, собравшиеся сурово осудили проникшего на трибуну диссидента. Больше он так не выскажется, даже если надерется еще сильнее. А жаль.

СВЕТОФОР ПО-МОСКОВСКИ

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 15 марта 1996

Первый контакт с Россией состоялся на этот раз в Хельсинки. Режиссер, который снимает фильм по моей книге, вечером потащил обедать. Две симпатичные девицы в шубках останавливают нашу машину.

— Ну, что, мальчики, повеселимся? — предлагают они на чистом русском. — Двести долларов с человека.

— Чего им? — интересуется режиссер.

Перевожу на английский. Он поворачивается к заднему сиденью, спрашивая свою жену по-фински. Она улыбается и отвечает нам по-немецки:

— Слишком дорого.

— Переведи им, — говорит режиссер. — Жена не разрешает.

Жену девочки в темноте не заметили и, мгновенно потеряв к нам интерес, сосредоточились на других клиентах.

— Их тут сотни, — равнодушно откомментировал режиссер. — Большевики Финляндию нам вернули, а проститутки оттуда опять оккупировали.

Утром я вылетел в Москву. Финская авиакомпания в связи с наплывом нового контингента объявляет теперь и по-русски. Но только по-русски звучит добавка, отсутствующая в английском: «Не забудьте вернуть наушники». Соседи мои — семья: родители и двое детей. Отец лет сорока с лишним, из тех, про которых говорят «наезжает» и «крутой» — из нового поколения самоуверенных, коим море по колено, и хорошенькая, хотя и простоватая мать, лет на пятнадцать моложе его. Муж и жена полушепотом ссорятся, не могу понять, из-за чего. Она косит глаза на меня:

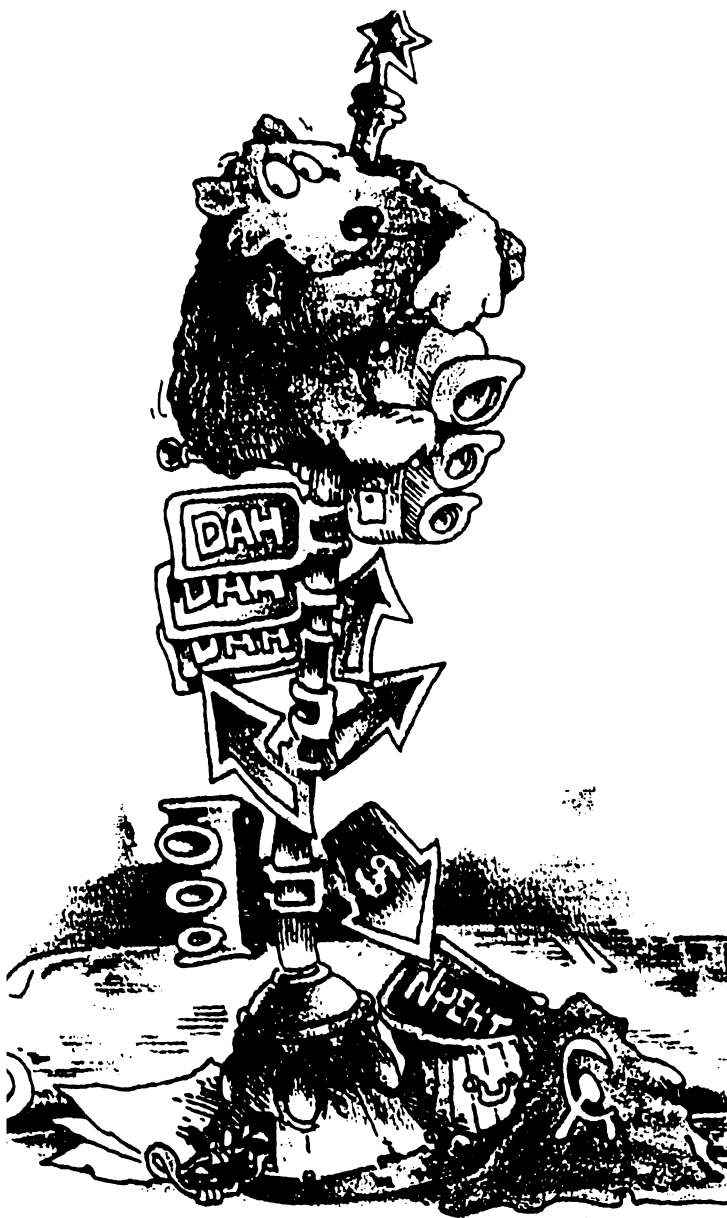
— Не знаете, который час?

На руке ее часы, стало быть, она просто проверяет, понимаю ли я, о чем толковище. Беру грех на душу, отвечаю по-английски, что не понимаю. Ссора разгорается, и ясен повод. Они вывезли горсть необработанных бриллиантов, и самый большой камень жена спрятала за комод в гостинице на острове Корсика, чтобы не украли. Бриллиант забыли, и муж справедливо гневался. Если будете отдыхать на Корсике, прихватите спрятанный камушек: как войдете в номер — слева комод, за ним.

Наушники мои соседи аккуратно вернули. Кстати, как и все деловые люди его категории, сосед мой был одет в темный костюм и темно-синее пальто до полу, так что вы этого мужика легко найдете, чтобы вернуть бриллиант. Московские банкиры напоминают лиц, организующих похороны. Киллерам тоже удобно — не ошибутся. И ментам хорошо. Видел, как гаишник vareжкой угодливо счищал снег с «Мерседеса», в котором сидел парень в темно-синем пальто. Простых смертных, особенно в темноте, патруль останавливает теперь, просто чтобы взять денег. Если отказываете, предупреждают, что будут обыскивать и найдут криминал, например, отсутствие аптечки, так что лучше сразу дать «на лапу».

Нынешний год в Москве течет без особой радости из-за коммуны, рвущихся к власти, фашистов, хотя и тише, но все еще выкрикивающих лозунги, грязи на тротуарах и лестницах, особенно на окраинах, несмотря на команду мэра Лужкова чистить Москву два раза в день.

Мой приятель только что остался без машины. Угоны — привычное бедствие, находят мало, в основном брошенные. Новинка сезона — угоны правительственных машин, оборудованных сигнализацией и ночью находящихся в спецгаражах. Еще одна новинка — объявления в газетах, типа «Московского комсомольца»: «У любимицы состоятельной публики поп-певицы Маши Распутиной угнали белый «Мерседес». Через пару дней авто оказывается на месте перед Машиным домом. «Газета опять выступает: «Благодарим за возврат авто Маше Распутиной». Что это? Может, скрытая реклама, за которую платит сама пострадавшая?



BOYLE/Special

*«Светофор по-московски» Дружникова глазами карикатуриста
из газеты «Сакраменто Би»*

Коммунисты угрожают взять власть, и мы опять, как в былые времена, спорим на кухне с друзьями, почему они не запряжены, как национал-социалисты в Германии. Почему насилие над женщиной — преступление, а над целой страной — оно безнаказанно? Разве не ясно, что диалога быть не может? Но встречается районный оптимист и терпеливо объясняет мне, иностранцу: товарищ Гитлерошвили вряд ли возможен. Если Ельцин при огромном личном аппарате и преданности ему всех силовых министров годами не может навести порядок, то как это сделает выскочка-энтузиаст? Ему понадобятся деньги, а деньги, в отличие от ленинского времени, нынче не экспроприруешь, они за границей. В стране не одна мафия, и одной к власти прийти не дадут другие.

Неразбериха, похоже, устраивает всех, кроме пенсионеров. Главный плюс: происходит реальное, как на Западе, отделение государства от индивида, на которого правительству плевать, если прошли выборы. Власть и не должна вмешиваться в личную жизнь. Живи, как можешь, но это-то труднее всего. Куда себя вложить, не потеряв данное Богом? Как выжить?

Наиболее часто встречающееся на стенах объявление (если не считать услуг самой древней профессии): «Немедленная возможность заработка в свободные часы. Звоните». Названия фирмы нет, телефон да имя «Валя». Звоню «Вале». Мне велят явиться на «информационную встречу», при себе имея определенную сумму.

— Это возможность заработка или возможность заплатить?

— Заработка, — отвечает «Валя».

— А за что платить?

— За регистрацию.

Продолжать исследование стало скучно.

Знакомый первоклассный хирург по воскресеньям торгует колготками на бывшей ВДНХ и имеет от этого больше, чем от больницы. Если срочно нужны деньги, то вот шанс: свой телефонный номер продать. А жить без телефона москвичам не привыкать.

В Москве вращается все больше иностранцев и эмигрантской публики, не адаптировавшейся в Штатах, Германии, Австралии. У иных постоянные или временные подруги. Кое-кто

завел здесь вторую семью, не порывая со старой в Нью-Йорке или в Кёльне, — это называется «отечественная отдушина». Некоторые бывшие эмигранты действительно делают серьезные дела, другие пользуются все еще недостаточной информированностью москвичей и выдают себя за видных западных экспертов. Один регулярно появляется на экране, с надутыми щеками делясь банальностями о политике, другой ухитрился прочесть цикл лекций в одном из университетов и, как мне поведал декан, рассказывал о своих папе, маме, дедушках, внуках и соседях — у кого сколько кошек.

По-прежнему модно жаловаться и сгущать краски. Приятель глядит вокруг:

— Смотри, как малокрасочно одеты люди — в черное, коричневое, серое!

Пожалуй, это так, но одеты отнюдь не бедно, а красоток, щеголяющих в модном, полно. Лужков осветил высотные здания. А комментатор слышал, что от этого только видней нищета. Один из ельцинских министров мне жаловался, что раньше следили за диссидентами, а теперь прослушивают его и вообще всю верхушку, чтобы иметь компромат на случай «икс».

Вместо слово «жаловаться» чаще говорят «анализировать». Площадка для анализа — как и раньше, кухня, но счастливчики это делают теперь по должности и за приличную зарплату. Бывшие цековские кварталы на Старой площади забиты столами аналитиков. Аналитики жалуются больше других — им, наверное, виднее. Заглянешь в офисы — у всех компьютеры. А сами аналитики по три часа обедают в соседних ресторанах, анализируя левые дела и туры за границу.

За жалобами следует попрошайничество, поставленное на поток. В метро утром с небольшим интервалом прошли мимо меня две женщины с детьми и одинаковыми трафаретами: «Помогите! У ребенка порок сердца, нет денег на операцию». Высокие должностные лица отличаются от нищих в метро лишь тем, что просят больше. Привычка просить пропитала все уровни. Меня просили в разных местах: перевести и поставить пьесу на Бродвее, найти хорошего американца для дочери, богатую американку для сына, организовать турне по двадцати, а

лучше по тридцати американским университетам, наконец, найти в Америке «бесплатный дом творчества писателей, где можно месяц-другой построчить стихи, а то у нас тут, сам понимаешь, покоя нет».

Знакомый издатель с периферии, угостив немецким пивом, спросил, не могу ли я достать для него в Америке полиграфические машины, хотя знает ведь, что я могу «достать» только еще одну рукопись. Редактор модной петербургской газеты перешел на шепот:

— Где там у вас можно получить инвестирование?

— В каком смысле?

— Нам срочно надо 250 тысяч долларов.

— Двести пятьдесят я бы редакции подарил, — сказал я. — А такая сумма вряд ли найдется не вложенной в дело даже у миллионеров. Зачем тебе?

— Да на развитие демократии, — скромно пояснил он.

Демократия бьет ключом. Кое-что в изобилии, чего-то не хватает, полно прорех. Свобода культуры налицо. Проблема самая болезненная, как мне видится, — культура свободы, разумная организация этой свалившейся с неба вседозволенности. Фраза, выкинутая из статьи приятеля: «В июне успешно выбрали бандершу для нашего бардака». Это о президенте. Впечатления разношерстные.

Ощущение, что едва ли не все в Москве чем-нибудь да больны. То и дело говорят про болезни и при этом не лечатся. В этот приезд двое из моих знакомых сбиты машинами, одна сломала руку, скатившись по скользкой лестнице в метро.

Надпись на двери студенческой столовой в институте, куда пригласили выступить: «Еда есть — хода нет». Оказывается, ступени проломлены, и надо идти в пальто через дверь кухни, чтобы попасть в зал.

Возле метро новый супермаркет под эффектным названием «Американский магазин «Русь». В нем никого: цены не по карману. Иду меж полок. За мной следят две кассирши и по пятам идет охранник, чтобы я не положил йогурт в карман.

Сел в автомобиль «Ока» — прямо из магазина: провода висят, гайки недовинчены, двери не запираются. Свобода раз-

гильдияства. Качество всех российских изделий бросовое: от ложки до правительственного указа. Посему, как говаривал Булгаков, «не то меня удивляет, что трамваи не ходят, а то меня удивляет, что трамваи ходят».

Зато политизация всех и вся стала даже больше, чем была во времена тотальной идеологии. Дом Кино. Бомонд. Вечер памяти известного актера. А все выступающие, забыв об успошем, спорят о выборах президента.

Во многих театрах — грязь и сырость. Но актеры, особенно молодые, великолепны. Искусство держится на энтузиазме, интерес — на эротике. В неплохом в общем-то спектакле герои совокупаются на полу, в кресле и стоя, что к сюжету не имеет никакого отношения.

Телевидение разное, интересное, — ради одного этого стоило устраивать заваруху. И здесь то, что у нас в Америке называется quickie — секс на ходу, быстренько. Ежевечерне на экране трупы: с улиц, из моргов, с кладбищ, без такта и меры — холодят душу. А перейти улицу нельзя: потоки бешеные, и вы вынуждены бросаться под колеса.

Продолжается почкование журналов, ибо в редакциях люди разных взглядов не могут найти общий язык. От «Юности» отщепилась «Новая юность», от «Литературного обозрения» — «Новое литературное обозрение», от «Книжного обозрения» — «Новое книжное обозрение», и несчастный подписчик пытается уловить разницу, построенную на амбициях редакторов, а не на сути печатаемого. Слово «новое» вообще опасно, оно моментально стареет, в Москве же это дежурное слово, что вполне понятно.

Иная журнальная жизнь после цензуры, но подчас тот же обостренный контроль за твоей мыслью в старых редакциях: кастрируют мысль и меняют заголовок, подчас выплеснув ребенка. Писатель для старых редакторов — все еще полуфабрикат, который должен соответствовать ведомым теперь только им стандартам. В старой, когда-то престижной газете тираж падает так, что главный редактор скрывает от сотрудников истинную цифру. В газете работает 200 сотрудников, большей частью пожилых. Появляется покупатель и говорит, что он

приватизирует газету, но оставит 50 человек. «У нас решает коллектив», — отвечает ему редактор. Голосуют — 150 против приватизации. Очередная газета обречена.

Ширпотребная фраза советских пропагандистов «Америка — страна контрастов» теперь идеально подходит для другой страны. Поистине Россия сегодня — страна контрастов.

В субботу в Российской госбиблиотеке (бывшей Ленинке) стою в очереди в гардероб два часа. Ласковое объявление: «Польты с оборванными вешалками не берем». Теплая встреча с сотрудниками бывшего Спецхрана, переименованного в Отдел литературы русского зарубежья. На открытии этого отдела год назад была выставка моих книг, ранее запрещенных, и мы выступали вместе с теперь уже покойным редактором «Нового журнала» Юрием Кашкаровым. А в буфете бывшей Ленинки вам дают стакан с заваркой, и топайте в другое помещение к трубе отопления, свисающей со стены. Из нее льется непрерывная струя горячей воды. Окна выбиты, сквозит ветер.

На книжных развалах все то же преобладание окололитературного хлама. Раньше было одно чтиво, ну, для меньшинства — два: разрешенное и запретное. А теперь спектр, в котором тонешь. Хорошие же книги по-прежнему труднодоставаемы. Но в квартирах и подвалах открываются небольшие книжные лавочки «Эйдос», «Отражение», «19 октября». В них по вечерам чаепития и чтения, другая жизнь.

На обратную дорогу прихватил свежий массовый учебник для начальной школы «Родной мир» (М., 1995, написан, точнее, составлен Л. Тикуновой, Ю. Новиковой, О. Богдановой). Обложка из оберточной бумаги, то, что называется библиотекарями «на одно прочтение». Содержание сперва показалось приятным, если не считать чересчур назойливого педалирования любви к Родине. Открывается учебник стихами Жуковского, за которым следуют Пушкин, Лермонтов, Бунин. Много о природе. Вдруг, ближе к концу, вылезает Сергей Михалков, разоблачающий в стихах злобных американских плантаторов, издавающихся над неграми. И ни слова, что это было, мягко говоря, давно. Забавно, что учебник лишен вообще современности: деревня, санки да лошадки. Слов «автомобиль», «телеви-

зор», «свобода», «демократия», не говоря уж о «компьютере» или «бизнесе», нет.

Перед отъездом позвонил в справочную «Аэрофлота», пятнадцать минут слушал «ждите ответа», потом — короткие гудки. А в Шереметьеве выяснилось, что «Дельта», по-нашенски, рейс на Франкфурт отменила без объявления.

— Пускай он летит «Аэрофлотом», — сказала одна сонная женщина другой.

— «Аэрофлотом», — твердо заявил я, — не полечу!

Заявил только из-за анекдота. Летит самолет из Нью-Йорка в Одессу, объявляют: «Наш полет проходит успешно, однако левый двигатель отказал». Через некоторое время: «Наш полет проходит успешно, однако правый двигатель тоже отказал. Пассажиры, умеющие плавать: берег слева в двадцати километрах. Пассажиры, не умеющие плавать: thank you for flying Aeroflot!»

К счастью, оказалось место в «Люфтганзе».

На встрече с читателями мне подарили на память серп. Хотели подарить и молот, но я его не взял из-за веса. Таможенник требует открыть чемодан, трое стражей вертят серп в руках, спрашивают, зачем он мне. Мне он ни за чем, но им какое дело? Обсуждают вопрос так, будто я вывожу последний серп, и сельское хозяйство России рухнет. Убедившись, что он не из платины и не из титана, вернули, но зацепились за книги. У меня тома нового собрания сочинений Пушкина.

— Собрания нельзя, — весело говорит чиновник.

— Да это репринт, продается за границей!

При жизни Пушкин был невыездным, а теперь стал невывозным. Мы долго спорили, и очередь терпеливо молчала. У меня было несколько других вещей для просмотра, например пленки и рукописи. Дико, а ведь это по сей день записано в декларации. Но таможенники уперлись в Пушкина. Потеряв минут двадцать, я уже готов был выбросить его, когда шмонарь опять посмотрел в мою визу, где написано «культурный обмен», и сказал:

— Ладно, только прячьте быстрее.

Гуманность с воровской формулировкой.

В будках паспортного контроля солдат сменили девушки, одинаково крашенные перекисью водорода. Одна из них минут пять разглядывает мой паспорт и записывает, потом вполне по-солдатски произносит:

— Смотрите прямо на меня, я должна проверить ваше лицо.

Во всех странах мира «проверяют ваше лицо», но нигде не делают это с таким усердным хамством. Что уж говорить о визах, которые все еще нужны, хотя министр внутренних дел России с экрана заявил, что власти не знают, сколько иностранцев живет в России: то ли полмиллиона, то ли 750 тысяч. И неучтенные, конечно же, не те, у кого «проверяют лицо» в Шереметьеве, а те, кто запросто переходят границы в Сибири и на Кавказе.

Приемщица долго спорила со мной о весе чемодана, не зная, что на Западе это 32 килограмма. Выяснилось, что она не знает также, каким шифром записать багаж, следующий до Сакраменто. В результате зарегистрировала неправильно, чемодан ушел не туда, куда прилетел я.

«Люблю Россию я, но странную любовью!» Эта строчка написана полтора века тому назад, а будто высечена на мраморе.

Москва, ты кто?
 Чаруешь или зачарована?
 Куешь свободу
 Иль закована?
 Чело какою думой морщится?
 Ты — мировая заговорщица.
 Ты, может, светлое окошко
 В другие времена,
 А может, опытная кошка...

Это вспомнился Хлебников, гениальное всегда несколько наивно. Москва действительно кует свободу, будучи закованной, но чарует безалаберностью. Мировой заговор остался только в подкорке вечных ленинцев, светлое окошко в другие времена — ой как проблематично. А опытные кошки — не те ли, что предлагали мне свои услуги в Хельсинки и торчат у всех гостиниц первопрестольной?

Накануне отъезда стою на углу Красноармейской и Черняховского. Светофор показывает зеленый, желтый и красный одновременно во все стороны. Машины гудят, наезжают друг на друга, под колесами в каше жидкого снега пробираются, как муравьи, пешеходы. Из окна «Тойоты», пытающейся перехитрить всех, проскочив по тротуару, звучит мелодия радио «Эхо Москвы»:

Прощай, цыганка Сара,
Были твои губы сладкими, как вино...

Неисправный светофор, кажется мне, висит над Россией: куда ни стремись, светит одновременно зеленый, желтый и красный.

IV

ДИАЛОГИ

ЗИГЗАГИ ПИСАТЕЛЬСКОЙ СУДЬБЫ

«Детская литература», 1999, № 1

В 1971-м в «Молодой гвардии» вышла его первая книга рассказов «Что такое не везет», и его приняли в Союз писателей. Следом вышли две книги очерков «Скучать запрещается!» и «Спрашивайте, мальчики». Пошли рецензии, встречи с читателями во многих городах. В театре — премьера «Учитель влюбился», на выходе была другая комедия «Отец на час». По утрам в репродукторах звучала передача Дружникова «Взрослым о детях». В журналах печатались новые рассказы из книги «Зайцемобиль». Отдельным изданием вышла повесть «Подожди до шестнадцати». В печати тогда появилось, что данный автор закончил юмористический роман «Каникулы по-человечески». И вдруг писателя не стало. Исчез. Лола Звонарева беседует с Юрием Дружниковым двадцать пять лет спустя в Кракове, куда он прилетел из США выступить на международном конгрессе славистов.

* * *

— Расскажите, что с вами происходило?

— Неприятности мои начались в начале семидесятых. Меня резали, а я терпел. Повесть «Подожди до шестнадцати» — это полромана «Из сих птиц одну в жертву», а вторую половину забраковали. Там подросток кончает самоубийством, и выясняется, что виноваты все, кто с ним соприкасался, система. В издательстве переделали, что его просто убили хулиганы, весь текст оскорблен. Я знать не хочу эту книгу! Комедию «Отец на час» запретили, потому что в ней отец-алкаш. На совещании детских драматургов в Ростове-на-Дону задал наивный вопрос: почему памятники Сталину снесены, а Павлику Морозову сто-

ят, и прилично ли нам воспитывать преданность на примере предательства? Вскоре меня в очередной раз пригласили в известное учреждение и предложили не лезть не в свое дело. В это время у меня уже был написан роман совсем не для детей «Ангелы на кончике иглы» о закулисной жизни московских журналистов и партийной элиты, что в Америке называется first hand report — репортаж из первых рук, печатать его я не собирался, но часть романа взяли при обыске у приятеля, и, как я потом узнал, человек по фамилии Андропов в романе узнал себя.

Появилась статья в «Известиях», что в рассказах я искажаю образы советских людей, запретили мои пьесы, рукописи из издательств забрало известное учреждение, даже книжку веселых рассказов для детей «Зайцемобиль». Меня буквально выталкивали печататься на Западе. Из Союза писателей тайно исключили. Ни строки не мог опубликовать нигде. При очередном допросе на Лубянке я спросил: «Что ж мне теперь? Писать детские рассказы для Самиздата?» И мне объяснили, что я живу в свободной стране и, учитывая, что я пишу клевету для Запада, мне предоставляют свободный выбор, куда хочу: в лагерь или в психушку.

Если бы не Бернард Меламуд, Курт Воннегут, Элия Визель в Американском ПЕН-клубе, включившиеся в мою защиту (сейчас я также спасаю от тюрьмы писателей в других странах), может, мы бы сейчас не беседовали. Остался выезд, но власти мне отомстили: десять лет не выпускали. Они ошиблись, не посадив или не убив меня бутылкой в подъезде: я много написал за десять лет немоты в Москве и переправил на Запад. Но они победили, на пятнадцать лет (до 1991 года) полностью изъяв мое имя из литературной жизни на родине.

— Как появилась идея книги о Павлике Морозове? Казалось бы...

— Казалось бы, что все известно. То была отчаянная попытка докопаться до дна в болоте принципиально важной лжи. Ведь когда запрещают, сильнее хочется узнать почему, и я поехал в Сибирь, на родину пионера-героя. Разыскал подлинную фотографию, и оказалось, что все изображения Павлика Морозова в печати — фальшивые. Печальная правда мною раскопанная до секретных документов, состояла в том, что пионер, вписанный за донос на отца в книгу Почета пионерской орга-

низации под № 1, пионером никогда не был, донести на отца его научила ревнивая мать за то, что отец от нее ушел, мальчик был умственно отсталый и хулиган, а убит он был не врагами советской власти, а чекистами, чтобы обвинить кулаков в антисоветской деятельности и начать против них террор органов НКВД.

Трехсотстраничная рукопись «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» с восьмьюдесятью сделанными мной фотографиями гуляла в Самиздате, а вышла еще в советское время в Лондоне. Я прочитал главу за главой из Нью-Йорка по радио «Свобода». Поток писем обрушился на Москву, большей частью от учителей: петь дальше песни о герое-пионере или не петь? Власти отреагировали: ЦК ВЛКСМ вынес постановление, что мальчик был и остается героем. Сотни две гнусных статей пробарабанили по стране. Рекорд побил «Вечерний Киев», где на первой полосе сообщалось, что Дружников сам доносчик, ибо донес читателям на Павлика Морозова. Один московский журнал вызвал меня на суд за оскорбление чести советского героя, но тут идеология рухнула.

В августе 91-го, уже с американским паспортом, я попытался проскочить в Москву к известным событиям, но в консульстве мне не дали визы. А когда финская кинокомпания снимала в Москве и Сибири фильм по моей книге «Доносчик 001», на фото в «Московском комсомольце» я увидел себя стоящим на постаменте памятника Павлику Морозову, и писалось, что я свалил монумент. Это преувеличение.

Реальность такова, что книга живых свидетельств по делу пионера-героя № 1, опубликованная на разных языках, в России впервые напечатана только в 1995 году, а полное научное издание (с источниками, включая личные архивы, добытые мной секретные документы ОГПУ, библиографию и пр.) по сей день существует только на английском, хотя я отказался продать американскому издательству «русский копирайт». Финский документальный фильм по моей книге «Доносчик 001» идет в Германии, Финляндии, Англии, Голландии. Поразительно, что я в Калифорнии получаю письма от библиотекарей и учителей из России, которым сегодня не разрешают рассказывать правду про Павлика Морозова.

— А судьба романа для детей «Каникулы по-человечески»?

— О, это юмористический роман о девочке Оле Кольцовой, которой из Индии привезли обезьянку, девочка решает превратить обезьяну в человека, и что из этого получается. Роман со стихами, вот поглядите:

Раз, два, три!
Бейте в бубен, в барабанец,
Начинаем тихий танец.
Это танец-обезьянец.
Раз, два, три!

Раз, два, три!
На руках танцует Капа,
Мракобес — на задних лапах.
Жаль, что нету мамы с папой.
Раз, два, три!

Раз, два, три!
Пляшут крокодил, питон,
Бегемот, жираф и слон,
Танец весит тридцать тонн.
Раз, два, три!

Раз, два, три!
Бабушку, зови и деда,
За руки хватай соседа,
Мы танцуем до обеда.
Раз, два, три!

Раз, два, три!
А с обеда трудно очень,
Но танцуем до полночи.
Шумно так, что слышно в Сочи.
Раз, два, три!

Раз, два, три!
Нас немного укачало,
Руки-ноги, как мочало
Все равно начнем сначала!
Раз, два, три!

Раз, два, три!
Бейте в бубен, в барабанец!
До чего ж веселый танец
Этот танец-обезьянец!
Раз, два, три!

«Советская Россия» выкинула эти «антипедагогические» стихи, которые сегодня мои почти взрослые американские студенты скандируют хором, когда танцуют. «Каникулы по-человечески» напечатали в Москве в 1977 году с великолепными рисунками яркого художника Спартака Калачева (он, бедный, спился). И — тут же, по приказу откуда-то, тираж пустили под нож. Не из-за обезьянки, а из-за бяки-автора. К счастью, у меня сохранилась верстка. По ней в 1992 году отшлепали небольшой черно-белый тираж в Москве. А достойное издание ждет своего часа.

— Вы упомянули своих студентов...

— Вот уже более десяти лет среди курсов по русской литературе двух с лишним веков в Калифорнийском университете читается курс из двадцати лекций «Детская литература в России». Среди студентов (а их у меня более трехсот) есть и молодые писатели. Но я рассчитываю не только на то, что они станут учителями, журналистами, библиотекарями или переводчиками. Ведь все они станут родителями, и это важнее всего.

— Кто из писателей старшего поколения оказал на вас большее влияние?

— Наибольшее? Два писателя: Лев Кассиль и Александр Твардовский. Первый, прочитав мой микророман, на совещании молодых писателей сказал в ужасе: «Нет-нет! Вы — взрослый писатель». И, так сказать, вытолкнул меня из детской литературы, передав, однако, мою прозу в «Новый мир» Твардовскому. А второй, прочитав тот мой микророман, заявил: «Весь процент непроходного уже заполнил Солженицын, и тебе места не осталось». То есть вытолкнул меня из взрослой литературы. Эта проза из Самиздата ушла в западные журналы. Рукопись «Микророманы» КГБ забрал из издательства «Советский писатель». Потом книга вышла в Нью-Йорке.

Таким образом, на деле я вовсе не шестидесятник, как обо мне почему-то пишут сейчас в России. В шестидесятых я только начал писать прозу, в начале семидесятых немного печатался в Москве, а основные тексты почти все прятались от обысков в тайных местах, а опубликованы в восьмидесятые и даже в девяностые. Так что в лучшем случае я — несостоявшийся семидесятник, а на деле — восьмидесятник, переходящий в

девятидесятника. Как писатель, я реализовался на Западе. Там вышли все мои неопубликованные в Советском Союзе рукописи и новые книги. Твардовскому я благодарен за честность, а с Кассилем был в теплых отношениях до конца его дней. А больше влияли на меня другие люди, и прежде всего Солженицын, Корней и Лидия Чуковские, Копелев и Синявский. Но если говорить не о человеческом влиянии, а о литературном, то оно шло от литературы в целом, а не от имен.

Трагедия старшего поколения — урок для нас. Среди писателей того времени были, конечно, и другие значительные личности; многим, однако, не хватило духу состояться, написать свои лучшие книги. Кассиль выдал «Кондуит» в 1930-м, «Швамбранию» в 1933-м, остальное оказалось уровнем ниже и было данью советскому времени. Многих удушили. Только дома общаться с ними было отдушиной. Назову еще Нелли Кальма, Исаю Рахтанова, Самуила Маршака.

— Вспомните какой-нибудь эпизод...

— Была осень 1963-го, когда мне, сопливному журналисту, позвонил Маршак. Я тогда начал служить в газете и за два дня до этого заезжал к нему насчет какой-то публикации. Я уже спал.

— Юра, — строго произнес он. — Вы можете очень срочно ко мне приехать, не спрашивая зачем?

— Конечно, Самуил Яковлевич. А когда?

— Сейчас. Возьмите такси.

Стоя босиком на холодном полу, я посмотрел на часы: первый час ночи. Маршак уже был тяжело болен; наверное, что-то важное... Наскоро оделся, глянул, есть ли в кармане на такси (к счастью, было). Моросил дождь, такси не попадалось. Наконец кто-то согласился подбросить, и минут через двадцать я был у Курского на Земляном Валу (тогда называвшемся улицей Чкалова).

— Садитесь, — приказал Мэтр, едва я захлопнул за собой дверь.

Не снимая пальто, присаживаюсь на краешек тумбочки под зеркалом в коридоре. Придерживая рукой полу халата, Маршак, волоча шлепанцы, удаляется в кабинет, тут же является обратно с листком бумаги. Посверливая меня глазами сквозь

толстые линзы очков, начинает читать стихи, приглушая голос, чтобы не разбудить домочадцев.

— Ну как? — спрашивает он, добравшись до конца.

— Блистательно, — отвечаю, не кривя душой, ибо стихи действительно были звучные. — Настоящие маршакастые!

— Еще бы! — удовлетворенно соглашается он. — А теперь езжайте домой, ведь уже поздно. Вы, наверное, устали.

Стыдно сказать: стихи, хотя они были короткие, я не запомнил, и нигде потом их не читал. Домой я шел пешком: на такси денег не осталось. Через полтора часа был дома.

Я не раз думал об этом эпизоде. Почему классик позвонил мне — не близкому, не поэту? Почему среди ночи — разве не мог он дожидаться до утра? Это было проявление преданности литературному ремеслу. Острая необходимость немедленно, невзирая на обстоятельства, поделиться творческой удачей, испытать строки на слух. Так Пушкин читал стихи на озере, пугая уток. Несколько дней назад я позвонил приятелю (он священник в Австралии, и разница во времени у нас с ним 18 часов) и, по примеру Маршака, поднял его с постели и прочитал ему рассказ.

— Какими детскими впечатлениями вы дорожите больше всего?

— Как ни грустно, военными. Другого детства, очевидно, у меня не будет, а то остается со мной и в Америке. Тридцать лет я писал о своем поколении небольшой роман в рассказах — все боялся что-то не дописать. Один рассказ из романа был напечатан в «Юности» в начале семидесятых. А роман «Виза в позавчера» опубликован в Нью-Йорке, хотя главный читатель — в России.*

* * *

К ответам живущего в Калифорнии Юрия Дружникова остается добавить, что в 1998 году американское издательство «VIA Press» выпустило по-русски собрание сочинений Дружникова в шести томах — первый случай такого рода в США.

* Роман «Виза в позавчера» опубликован издательством «Пушкинский фонд», Спб., 1999.

ОТ «БЕСОВ» ДО «АНГЕЛОВ»

Диалог с критиком В. Свирским

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 2 октября 1992.

Роман Дружникова «Ангелы на кончике иглы», известный западному читателю, в годы гласности неоднократно пытались издать в Москве, Риге, Петербурге, Новосибирске, даже отдельные главы печатались. А смог роман появиться в Москве лишь после провала государственного переворота в 1991 году. О судьбе этого необычного романа и некоторых тайных пружинах российских перемен критик В. Свирский беседует с Юрием Дружниковым.

* * *

В. С. Итак, «Ангелы», тринадцать лет назад вывезенные от важным американцем из Москвы в Штаты в виде микропленки, засунутой в пачку «Мальборо», опубликованные позже в Нью-Йорке и еще недавно конфисковывавшиеся на московской таможне, возвратились на родину. Я, можно сказать, присутствовал при зачатии романа и наблюдал процесс его создания — первого серьезного художественного анализа эпохи так называемого застоя. Вы мне рассказывали тогда про конструкцию будущей хроники. Это было в 1969-м. Сегодня об этом странно говорить, но тогда это держалось в тайне. Ведь лучшее, что писалось...

Ю. Д. Все лучшее, что писалось, зарывалось в металлический контейнер в гараже. Чтобы не могли найти, контейнер лежал не под гаражом, а в стороне, так сказать, в тоннеле. Такое время было. Позже роман стал частью зарытого.

В. С. Слушал я тайное чтение первых глав из «Ангелов», потом прочитал рукопись целиком, кажется, в 1976 году, в Москве. А когда это началось? И откуда взялась идея?

Ю. Д. В шестидесятые служил я в московской газете, и знакомых у меня было пол-Москвы. Это было время, как Герцен говорил, внешнего рабства и внутреннего освобождения. Одни в то время уже выходили на Лобное место, другие только еще рвались в партию, хотя вступившим в нее ранее, уже хотелось из нее бежать. Я хотел быть сам по себе, не мараться, — почему-то, возможно, благодаря друзьям, свое отсидевшим, я это рано стал понимать. Да меня и не печатали: сочинялась проза не в струю. Сейчас многие тогдашние лояльные писатели вынули фиги из карманов, где десятилетиями их держали, и размахивают ими в подтверждение своего исконного диссидентства. Процветавшие тогда опять хотят быть впереди.

Всех перещеголял один советский писатель, которого раз тогда покритиковали. Теперь он в журнале опубликовал построчные добавки к старой книге с комментариями: дескать, он еще давно то тут, то там намекал на большее, нежели написал. Это звучит нынче печально, поскольку тогда он публично каялся и клялся в преданности. Но именно это он сейчас забыл. Такая ирония судьбы: все попытки соединить честность с лояльностью, умолченную правду с намеками, обойти острые углы — а это был опыт многих писателей, теперь стало видно — остаются на обочине литературы. Обе написанных тогда литературы — опубликованная в советских изданиях и запретная — сошлись нынче на столе российского читателя, и видно, кто есть кто. Многое из того, что можно было печатать тогда, просто неинтересно современному читателю, а будет ли нужно будущему, это весьма сомнительно.

В. С. Простите, а ваши собственные книги, изданные тогда?

Ю. Д. Горько, но надо от них просто отказаться. Отказаться — это как сжечь. Это святое авторское право, к которому потомки должны относиться с уважением. Подлинное печататься не могло. Удавалось что-то протащить в тумане подделок. Слава Богу, мы живы и можем решить, что оставить. Предстоит тексты пересмотреть, восстановить купюры и редакторскую чистку. Грустно не то, что писатели тогда подлаживались, а то, что иные из них и сейчас там играют двойные игры.

Идеологическая машина была основой строя, а печать — ее самым мощным оружием. Эффективным ли? И да, и нет.

Почему? Какие тайные пружины ее двигали? Служа в газете, ежедневно видя воздействие этого оружия, я хотел понять его сущность, описать тайны двора, нити, кухню, то, что американцы называют ноу-хау. Вот так рождались «Ангелы на кончике иглы». Играть я не хотел и писал, не рассчитывая на публикацию, максимум правды.

В. С. Заглавие... Связывалось ли оно как-то с «Бесами»?

Ю. Д. В подтексте — да. Ведь я начинал роман, когда исполнилось столетие «Бесов», тщательно замалчивавшееся. Но тема была, можно сказать, самая больная: кто покалечил Россию? Достоевский оказался (да и остается) умнее тех, кто последующее столетие творил бесовщину и построил в соответствии с мифом рай, который скорее напоминал ад. В шестидесятые годы XIX века интеллигенция, протест у которой — стимул жизни, шла в нигилизм, к революции, рвалась осуществить утопию путем насилия, террора. Но вот бесы пришли к власти. Сотворив это все, получив за это сполна, через сто лет, уже в наше время, интеллигенция отказалась от насилия. Пришла к обратному.

Диссидентство, даже самое активное, было мягким и терпеливым призывом к реформаторству. Вот откуда идея ангелов. Сколько их было? Власти уничтожали инакомыслящих почище, чем в свое время бесов. Тем не менее факт налицо: русская история вывернулась наизнанку. Революция стала злом. При этом мне казалось, что одного описания содеянного и демонизма мало. Хотелось понять историю шире, взглянуть на все глазами Щедрина, даже, если говорить о расплате и наказании, глазами Данте. И еще мне казалось, что именно журналистика — главное колесо идеологии. Не случайно называют ее второй древнейшей профессией после проституции.

В. С. Никогда не читал романа, в котором оживают бюрократические бумажки...

Ю. Д. Для достоверности я шел от документов времени. Автор как начальник отдела кадров, прежде чем ввести нового героя, дает его личное дело, анкету, справки, характеристики, а уж потом рассказывает о нем, часто противоположное анкетам. На фоне потока вымысла и просто лжи, заполнившей литературу, мне хотелось быть как можно более скрупулезным в дета-

лях, свойственных времени, реалиям советской жизни. Ведь все быстро забывается. Теперь даже КГБ спешит уничтожить дела. А без всех этих документов как достоверно объяснить унижительность и ханжество времени?

В. С. С годами эти страницы романа станут только интереснее. Но и сейчас передо мной стопа периодических изданий, печатающих роман с продолжением, в отрывках и с местными комментариями. И — с этими анкетами, справками, характеристиками... Наконец, московское издание романа. Автору, видимо, приятно держать в руках тамошнее издание, еще пахнущее типографской краской.

Ю. Д. Автору предъявил претензии читатель.

В. С. Недоволен?

Ю. Д. Напротив, доволен, но хотел, чтобы я поделился с ним гонораром.

В. С. ??

Ю. Д. Я работал в своем университетском кабинете, когда вошла секретарша и сказала, что меня хочет видеть человек, не говорящий по-английски, но показывающий ей мой роман. Следом появился мужичок с московским изданием «Ангелов на кончике иглы» в руке и сообщил, что он сын крупного номенклатурного работника из Москвы. Он бросил институт, пьянствовал, влюбился в дочку генерала КГБ, пьяным за рулем сбил насмерть двух работяг, тоже пьяных. Отсидел, но недолго: папа нашел каналы, и через Брежнева и Андропова сыночка выпустили. Гость мой сказал, что слышал, будто я получил за роман четверть миллиона, и, поскольку я использовал историю его жизни, ему причитается. Тем более, что он в Америку приехал по липовому приглашению, и никто не подарит ему «видюшник». Биография действительно сходная с романной, только у меня его отец — главный редактор центральной газеты, а у него — министр. Но... роман писался, когда сынок еще пешком под стол ходил. Ушел читатель обиженным.

В. С. А говорят, писатель в эмиграции теряет контакт с читателем на родине... Он, наверное, думал, что гонорар в долларах... Что касается претензий прототипа, то могу вас утешить: в истории литературы они — не новость. Из-за подобных узнаваний писателей даже на дуэль вызывали. Так что, считайте,

что вам повезло. Но — оставим курьезы. А кто все-таки были прототипами героев? Главный прототип, конечно, всегда автор — очень многих и разных персонажей. Про других, понимаю, не все пока можно сказать: люди живы. Не дай Бог упростить, но, вероятно, есть и такие, о которых можно сказать конкретно.

Ю. Д. Меня учили жить старые газетные волки. Один из них, Борис Волк (настоящая фамилия), который работал в «Вечерней Москве», был гениальным учителем предмета, который я бы назвал так: «Теория и практика цинизма». Другой — Роман Карпель, добрейший человек, работал в «Московском комсомольце». Больше всего на свете он любил кошек. И при этом написал либретто оперы «Павлик Морозов». Третий — Борис Иоффе, он же Евсеев, — мог один выпустить целую газету. Партийная исполнительность уживалась в нем с талантом открывателя подлинных талантов, которым он, однако, не мог помочь. Утоляя свои печали, он специализировался по женской части. Черты этих людей собрались в Раппопорте. Я сам учил молодых. Среди них есть известные сейчас журналисты и писатели-перестройщики. Макарец — главный редактор газеты — сплав многих редакторов и партийных чиновников, которых я знал. Но узнаваемы в нем Юрий Баланенко, редактор «Московской правды», ныне покойный, и, конечно, редакторы газет, в которых я сотрудничал в Москве.

В. С. А сочинение на Лубянке письма чехов с просьбой ввести войска?

Ю. Д. Если бы я эту историю придумывал, мне было бы легче сделать ее более правдоподобной. Я действительно встретил человека, которому поручили состряпать такое письмо. Делали это впопыхах, и Андропов вспомнил про своего человека. Свой в двух смыслах: чекистский, связанный с органами, и свой — вместе работали, проверен, не подведет. А когда свой, то не думают, умеет или не умеет. А редактор Ягубов какой? Кто вообще командовал всеми делами в стране — умные люди? Да ведь они подбирали подходящих себе еще глупее себя, потому что так удобнее руководить. Горбачев, например, умный человек, но сколько лет прикидывался придурком среди них, чтобы забраться наверх. В романе действует закон литератур-

ной достоверности, которая оказывается иногда важнее исторической точности.

В. С. Когда вы писали посвящение: «Моим друзьям по обе стороны барьера — с надеждой», то имели в виду и надежду дожить до издания в России?

Ю. Д. Посвящение было предпослано американскому изданию. А сперва в Самиздате было другое, более важное для читателя: «Просьба не искать под вымышленными именами знакомых, ибо это ни к чему хорошему не приведет». Что касается надежды, я вкладывал в это слово более широкий смысл: упование на крушение зла, на уничтожение ржавого занавеса и как результат публикацию романа, который писался, когда автор еще и не думал отделяться от отечества. Тогда перспектива перемен, если и виделась, то не при жизни нашего поколения.

В. С. Надежда на публикацию романа как следствие развала системы? Может, наоборот: надежда возлагалась на то, что система рухнет в результате появления таких книг? Помнится, вы сами утверждали тогда, что появившись в России «Архипелаг ГУЛАГ», система и полгода не продержится.

Ю. Д. Мы тогда наивно переоценивали силу слова. Нас к этому приучили. Но и сегодня я не стал бы недооценивать произведений Александра Исаевича.

В. С. В запоздалом выходе «Ангелов на кончике иглы» в России есть и свои положительные стороны. Я прочитал почти все рецензии на «Ангелов»; критики усматривают в романе сатиру. А мне видится в «Ангелах» лишь один элемент сатиры — резко выраженное критическое отношение к действительности, скепсис по поводу существующего в стране режима. Ни нарочито выраженных условностей, ни доведения реальности до абсурда, ни гиперболизации — никакой специфической сатирической атрибутики в книге нет. Во всяком случае, не больше, чем, скажем, ну, что ли, у Бальзака. Впрочем, и критиков можно понять: совсем недавно многое, изображенное в романе, представлялось фантазмагорией, гротеском. А роман оказался первым реалистическим описанием брежневской эпохи, первым серьезным, без уверток и эзоповщины, художественным ее осмыслением. Ведь она пока в прозе остается в каком-то смысле вакуумом, если не считать того, что разрешили напеча-

тать в те годы. Трезвое, даже, я бы сказал, циничное изображение жизни газеты в «Ангелах на кончике иглы» было поначалу воспринято как сатира. Натура настолько абсурдна, что и ее отражение в романе выглядело гротескным.

Сегодняшний российский читатель после открытия архивов, после того как стали известны сотни фактов, характеризующих как всю систему, так и частную жизнь кремлевской камарильи, поймет, что сатиричен не роман, сатирична сама действительность. Время — порядочный человек, как говорят итальянцы: оно все расставило на свои места.

Ю. Д. Перебираю в уме сцены романа, ищу хоть одну, которая бы в нынешних условиях вызвала ощущение гротескности, и не могу найти. Включая и эпизоды из личной жизни «товарища с густыми бровями» или угрозу маршала бронетанковых войск ввести в редакцию танки, если его статья не будет напечатана. Это были услышанные истории, но о многом писал интуитивно... Вот когда начинаешь понимать значение слов Пришвина, сказавшего, что без выдумки не может быть художественной правды, что только выдумка спасает правду.

В. С. В 68-м ввели войска в Чехословакию. Мы кипели внутри и — молчали. Мне кажется, роман начат был под влиянием финала чешского ренессанса, задавленного танками. Тогда у многих было ощущение, что нас измазали в дерьме. Кто-то отважился выйти на Красную площадь. Кто-то поднял свою планку протеста в литературе. Сегодняшнему российскому читателю важно примерить себя к тогдашнему состоянию писателя, если читатель одного возраста с ним. Или, если он молод, попытаться понять своих отцов.

Ю. Д. Думаю, истоки были прозаичней. Семь лет я проработал в московской газете. Одни журналисты делали стремительную карьеру, другие пьянствовали прямо в редакции. Я стремился описать технологию сотворения великой лжи, дьявольскую кухню, тайны кремлевского двора, куда мне довелось заглядывать. После Чехословакии 68-го в Москве стали давить интеллигенцию, литературу, печать, искусство, театр, — испугались, что возможен рецидив. Мы тогда много говорили, что предстоят тяжелые годы не только для чехов, но и для всего «лагеря».

Сейчас это забылось, но признаем очевидный факт: власть тогда победила, рецидив отодвинулся на двадцать лет — на целое поколение! Россия, все мы потеряли двадцать лет свободы, культуры, цивилизации, жили в норах, как крысы, по выражению генерала Григоренко. Как это получилось, почему? Думалось, если не напишу, забудется, уйдет. Собрание правды по круплицам вдруг стало важнее всего в жизни.

В. С. Эта раскованность пугала некоторых первых читателей рукописи.

Ю. Д. Советовали смягчить, убрать сексуальные сцены. Но задача жизни моей была точно отразить время завинчивания последних гаек. Отсюда и определение временных рамок романа: 23 февраля — 30 апреля 1969 года: 67 дней московской духовной, журналистской, цеховской, кагебешной, обывательской жизни, политической и интимной, внешней и подводной, даже с элементами психоанализа, словом, все, что удалось запечатлеть летописцу. Эти 67 дней чрезвычайно важны для русской и всемирной истории: с них началась двадцатилетняя агония многоголового змея. Период этот до сих пор недооценивается ни западными, ни, тем более, российскими историками и политологами.

В. С. Чешские события пронизывают весь роман, даже если не упоминаются. Они — лакмусовая бумажка порядочности, человечности, сопротивляемости обволакивающему злу. В «Ангелах на кончике иглы» ощущается не только конец надежд на либерализацию сверху, но и конец целого периода в жизни общества, начало новой эры — эры маразма. Именно тогда верхи почти открыто стали проповедовать принцип «после нас — хоть потоп». На их век, считали, хватит и казны государственной, и диссидентов для обмена, и нефти, и народного безмолвия. Ложь стала откровенной, циничной. Нас ничем не удивишь, но в «Ангелах» раскрываются такие детали изготовления печатной лжи, что...

Ю. Д. Не сказал бы, что в брежневское время ложь стала откровеннее и циничней. Не знаю, удалось ли, но я хотел показать, что ложь была в основе того, что родилось в октябре 1917-го. Ложью были пропитаны первые слова новой структуры. Обещали мир — дали четыре года кровавой Гражданской

войны. Обещали хлеб и землю — отобрали последнее. Кто был ничем и кто был всем — стали одинаковыми рабами.

В. С. До Октября лгали, чтобы захватить власть, после — чтобы ее удержать. Вспоминаются слова Шалапина о «сквозной лживости во всем». «Ангелы» — это роман о великой лжи. Все врут всем: родители детям, дети родителям, мужья и жены — друг другу, также начальники и подчиненные. Врут учителя и учебники. Целые академические институты, кафедры общественных наук в тысячах вузов созданы специально, чтобы обосновывать и распространять вранье. Государство обманывает граждан, те отвечают ему тем же. Врут философы и таксисты, врут чекисты и экономисты, и, конечно, это делают журналисты. Ложь не могла не проникнуть в души, стала естественным состоянием общества.

Ю. Д. Нынче утверждают, что большевистский агитпроп действовал по методу фашистского: врать надо глобально, тогда поверят. Мне кажется, надо еще изучить, за кем тут приоритет, кто у кого учился. Но дело не только в дозах лжи. У советского человека не было возможности сравнивать. Как утверждают индийские мудрецы: человек, который не понимает, что он видит синее, его не видит.

В. С. В романе эту мудрость произносит старый партийный журналист Яков Раппопорт.

Ю. Д. Важно было проследить процесс создания лжи. Главный редактор газеты «Трудовая правда» Макарецов понимает: «То, что происходило в жизни, могло стихийно меняться. То, о чем писала газета, менялось только по указаниям». Регламентировалось все: о ком не писать, кого и как облить грязью, какую статью должен подписать русский, а какую грузин или еврей, что необходимо вспомнить в мемуарах, а что забыть, кого называть «т.», кого «тов.», а кого «товарищ», каков очередной почин и кто будет инициатором. Отсюда лучшими подручными партии были такие журналисты, как Раппопорт, который выражал мысли передовых рабочих и партработников, доярок и свинок, лауреатов и депутатов, военачальников и директоров заводов, писателей и композиторов. «По указанию сверху я выдумываю прошлое, высасываю из прошлого псевдогероев и псевдозадачи современности, вроде субботника, а потом сам

же изображаю всенародное ликование. На этом липовом фундаменте я обещаю прочное будущее...»

Еще на один фундамент указывает Ягубов, заместитель главного редактора, назначенный на эту должность органами: «Что бы ни произошло во вселенной, подписчик должен прочитать, что у нас в стране все в порядке».

В. С. Как не вспомнить фразу Наполеона из старого анекдота, что будь у него газета «Правда», мир никогда не узнал бы о его поражении при Ватерлоо. Современному думающему россиянину важно понять, что одним из методов, при помощи которых его держали за болвана, была предельная упрощенность проповедовавшихся прессой мыслей. Никакого многоцветья мнений: красное — черное, мы — они, друзья — враги, никаких сомнений: все, что делает и предлагает партия — хорошо, все, против чего она выступает — плохо.

Ю. Д. Раппопорт так и говорит: «Газетная философия должна быть доступна дуракам».

В. С. Он, между прочим, не является в этом вопросе первооткрывателем. Тут пальма первенства принадлежит Ульянову-Ленину, который в беседе с Горьким объяснил (очерк «Ленин»): «Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто».

Ю. Д. Куда уж проще! И это презрение к народу подносилось в школьных и университетских курсах как пример гениальности вождя и его пламенной любви к русскому народу.

В. С. Думаю, формула товарищей из агитпропа и д-ра Геббельса «врите больше, тогда поверят» имела существенный изъян. Ложь, как раствор, может быть перенасыщенной, и тогда она начинает работать против самого лжеца. Раппопорт и некоторые другие персонажи романа с серьезными лицами доводят до абсурда официальную идеологию, делая таким образом доброе дело. «Твердя изо дня в день всю эту чушь о светлых идеалах, — бросает Раппопорт, — я изо всех сил тяну их в омут. Честность только тормозит».

Ю. Д. Но такой «сознательный конформизм» создает удобную лазейку для тех, кто верой и правдой служил системе. Любой из них сегодня может сказать: «А я вовсе не подсвистывал режиму, я его освистывал таким вот своеобразным мане-

ром». Тогда самыми мудрыми диссидентами становятся журналисты «Правды», бабаевские, кочетовы и даже писатель № 1 со своей «Малой землей», включенной в школьные программы по изящной словесности.

В. С. В «Ангелах» доказывается, что государственная ложь была особенно важна, когда прикрывала насилие: ужасы «военного коммунизма», ГУЛАГа, Венгрию 56-го и Чехословакию 68-го. При всех диссидентских замыслах отдельных сотрудников газета «Трудовая правда» была фабрикой лжи. Главный ее редактор Макарцев старается быть чистоплотным, но в конечном-то счете он и люди с Лубянки делали одно дело. «Братскую интернациональную помощь» Афганистану оказывали уже после написания романа, а методика вполне укладывалась в логику предыдущих кампаний. Роман создавался до того, как стала достоянием гласности коррупция кланов — партийных, гебистских, милицейских, до разоблачения их уголовных махинаций. Что это — интуиция художника или вам были известны какие-то факты?

Ю. Д. Кое-что просачивалось... Интуиция имела под собой информационную основу. Один из еще не разоблаченных мифов — будто перерождение большевиков, сращение их с уголовным миром началось при Брежневе. А ведь известны отдельные этапы: ограбление банков большевиками, террор как основной инструмент политики партии, лозунг «Грабь награбленное!». Помните, Горький писал в первые месяцы революции о представителях советской власти: «Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки, винтовки, грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать...» Вот в чем ленинизм оказался поистине всемогущим учением. Сегодняшние остатки той же партии занимаются тем же.

В. С. Наступила «беда завтрашнего дня».

Ю. Д. То есть?

В. С. Цитирую вождя партии. Когда Ленин мечтал о революции, он вслед за Бакуниным и Нечаевым призывал «сознательный пролетариат» брать в союзники криминальный элемент, рассчитывая, что пролетариат в конце концов «просветит и облагородит» уголовников. Однако просветительская деятель-

ность воров и бандитов оказалась куда более действенной. А поскольку компании Ленина было важнее всего захватить власть, образовался симбиоз идеалистов-уголовников. Ленин легко переложил проблему облагораживания уголовников на плечи будущих поколений, сказав: «Это беда завтрашнего дня». Бациллы нечаевщины в конце концов поразили все клетки системы. Роман — отражение этой картины. Сегодня полуживые геронтократы уступили место более образованным и энергичным. Но разве не такая же политика сегодняшнего правительства России: будущего как бы не существует, лишь бы продержаться еще день, месяц, одну зиму... Как и раньше, продают за бесценок танки и самолеты тем, кому они нужны для расширения гегемонии на север, то есть вооружают своих врагов.

Ю. Д. Конечно, процесс вырождения власти меня интересовал в деталях, но я писал роман, чтобы показать, кто и как дергает кукол за ниточки, даже высокопоставленных кукол. Так появилась фигура, еще более власть имущая, чем Генеральный Секретарь, и лицо невыдуманное, хотя имя в романе изменено. Это Генеральный импотентолог (а попросту личный уролог), который влияет на Генсека, так сказать, на физиологическом уровне и имеет кого под него в нужный момент подстелить — не даром, конечно, но, конечно, и не за деньги, а — за власть. Должность анекдотична, а тем более идея вставить эту должность в устав партии. На самом же деле уролог Сизиф Сагайдак — художественный тип той эпохи. В нем нашла свое воплощение дряхлая, не способная на созидание система.

В. С. Появись «Ангелы на кончике иглы» в конце семидесятых, когда были созданы, автора наверняка обвинили бы в оглуплении «человека с густыми бровями», в гротескности, нереальности образа. Но сегодня, когда стало больше известно о нравственном, да и просто умственном уровне тех, чью мудрость воспевали поэты, стало ясно, как близка оказалась художественная правда к реальности, даже в тех, кажущихся пародийными сценах, где Брежнев подсчитывает количество орденов у себя и на портрете у Сталина, наслаждаясь своим преимуществом, или, упиваясь своей вседозволенностью, ночью пьет с охранниками портвейн и мочится с моста в Москву-реку.

Ю. Д. Когда роман читался в Самиздате, меня упрекали в том, что я не назвал Генсека настоящим именем. Мол, состо-рожничал, случись что, с меня взятки гладки, мало ли людей с густыми бровями.

В. С. «Случись что», не спасли бы никакие фиговые листочки. Литературоведы с Лубянки не стали бы даже разбираться. Статей УК достаточно — клей любую или все оптом. В от-сутствии прямых имен в романе мне видится художественный прием, полный глубокого социального смысла, указывающий на ту самую анонимность власти, о которой мы говорили. Именно поэтому нет имени и у «худощавого товарища, предпочитающего быть в тени», хотя всем ясно, что это Суслов. Когда пи-сателю по тем или иным причинам нежелательно упоминать конкретное историческое лицо под настоящим именем, он использует всем известную черту внешности, профессию, наци-ональность. Например, «человек с лицом татарина» в «Климе Самгине» — Савва Морозов. Вы же, не знаю, сознательно или нет, использовали, пожалуй, впервые прием анонимности пер-сонажа для показа анонимности власти. Этим я объясняю и от-сутствие у них анкет и биографий в отличие от других героев (тоже, между прочим, новый прием), значит, на месте Брежне-ва мог быть любой другой, он — марионетка системы, твердо усвоившая правила игры и именно поэтому так долго сидящая. Власть эта импотентна, вот почему необходим уже упоминав-шийся Генеральный импотентолог. Парадоксально другое: ря-дом с этими героями ввязан в канву повествования вполне ист-орический персонаж — маркиз де Кюстин, и следопыты из КГБ начинают разыскивать его, считая, что под этим именем скрывается диссидентствующий автор.

Ю. Д. Слышал от критиков, что главы о Кюстине не вписы-ваются в архитектуру романа и понадобились только для вне-сения детективного элемента...

В. С. А я считаю, что живой Кюстин не только укрепляет архитектуру, совмещая две действительности и рождая третью — какого-то ирреального мира, в преддверии которого все другие персонажи пытаются создать видимость жизни. Благодаря мар-кизу у читателя создается ощущение грядущего апокалипсиса «в одной, отдельно взятой стране». Кюстин — участник всех

событий, действующее лицо всех сцен — иногда как комментатор, иногда — прорицатель, зачастую — свидетель обвинения и всегда — мудрый и чуткий диагност. Почему вы не упомянули о том, что путешествие в Россию Кюстин, аристократ и монархист, совершил с целью доказать преимущества абсолютистской формы правления?

Ю. Д. Всем и так понятен глубокий смысл его обращения к жителям Запада: «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, какой бы ни был принят там образ правления. Если ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию!»

В. С. Об исторических корнях большевизма можно бы сказать подробнее: ведь считал же Достоевский, что бесы, нечаевщина, все, что вылилось потом в то, во что вылилось, — расплата за отказ от чисто русского, самобытного пути развития, что их питательная среда — западный либерализм, западные идеи. Автор мог, используя книгу Кюстина, помочь читателю убедиться в обратном: российский (в том числе большевистский) деспотизм — явление отечественное, порожденное всей российской историей, отказом от общеевропейского пути развития.

Ю. Д. Нельзя объять необъятное. И потом, это все-таки роман, не публицистика.

В. С. Комментировать подsunутую самиздатчиками книгу «Россия в 1839» мог бы не только главный редактор газеты Макарецов, человек с высшим, но без элементарного образования, но и кто-то другой, хотя бы тот же Раппопорт, который, кстати сказать, уже читал книгу Кюстина. Уж он бы и о корнях советских психушек нашел возможность сказать, — ведь Кюстин целую главу «сумасшедшему» Чаадаеву посвятил.

Ю. Д. А он ее и комментирует, если глубже всмотритесь, только без цитат! Присутствие живого маркиза де Кюстина в романе потому так важно, что рассматривает сиюминутные процессы, которые он видел как исторические, можно сказать, вечные для России. На мой взгляд, самую уничтожающую оценку писательского труда дал не кто иной, как Ленин, назвав

«Мать» Горького «очень своевременной книгой», то есть книгой на определенное время. Можете представить подобную оценку «Гамлета», «Фауста» или «Братьев Карамазовых»?

В. С. Выскажусь определенно насчет вашего сетования по поводу опоздания романа на родину. Что касается «Ангелов на кончике иглы», то в сегодняшних условиях, когда вроде бы все перевернулось, но укладываться никак не хочет, роман стал даже более важен, чем пятнадцать лет назад. Имею в виду изображение человеческого материала, который не изменяется ни по президентским указам, ни в зависимости от того, чьи войска ночью вошли в город. Старая идеология рухнула, а массовая психология, хоть тресни, меняется медленно.

Ю. Д. Конечно, новой власти приходится иметь дело со старым человеческим материалом, по выражению Ленина. Да и сама власть сделана из того же варева. Диссидентствующий журналист Ивлев, герой романа, сегодня, между прочим, сидит в министерском кресле (не хочу называть его фамилию).

В. С. Именно это я и хотел сказать: серьезному читателю в России важно знать, что за люди пришли ими управлять, каково их прошлое.

Ю. Д. Еще более важно, на мой взгляд, то, что часть героев «Ангелов», занимающих посты и преуспевающих при дряхлеющем режиме, внутренне готовы к переменам. Они все — больше или меньше — критически настроены, недовольны существующим положением. На героические поступки они не способны, но разреши им — хотели бы многое поменять. Меня упрекнул один читатель за то, что, как он выразился, напуганный на всю жизнь Раппопорт отваживается в редакции перед студентами-практикантами, в общем-то ему почти незнакомыми, нести явную антисоветчину. Но вспомним, кто тогда не нес ее?! А антисоветские анекдоты: одна половина общества рассказывала, другая с удовольствием слушала.

В. С. Тут есть о чем спорить. Затронут важнейший для страны вопрос: было ли общество готово к переменам?

Ю. Д. Важно, какое это общество, каков уровень планки его нравственности, насколько глубокий и натурален демократизм, каковы меры маниловщины и обломовщины, насколько граждане, готовые к переменам, способны противостоять более спло-

ченным, более организованным, более мимикричным силам старой системы. В «Ангелах» не случайно почти нет «дейтелей» — традиционных фигур русской литературы полутора веков. Их почти не отыщешь в жизни, они закончились в лагерях. Критиковать, высмеивать, освистывать — куда легче, чем создавать. Суждены нам благие порывы... Нет, России нужны люди иного психологического склада, иной нравственной конституции. И ведь мы пока говорим только о так называемом культурном слое, который составляет десятую часть по отношению к населению страны.

В. С. А остальные девять десятых? Я имею в виду очень важного персонажа вашей книги, персонажа-невидимку, собирательный образ Читателя газеты «Трудовая правда».

Ю. Д. Не забывайте, что со времени окончания романа прошло много лет. Да каких! Персонаж этот не мог не измениться!

В. С. Читатель «по роману» — это новая порода людей, которую (тут перед агитпропом шапки долой) все-таки удалось вывести. Читатель этот верит в обволакивающую его со всех сторон ложь. Верит, что его страна — самая миролюбивая, самая передовая в области науки и искусства, самая гуманная и, конечно же, самая сильная. Верит, что русский народ — самый великий, что КПСС — ум, честь и т. д., что ему, читателю «Трудовой правды», выпало величайшее счастье родиться и жить именно в этой стране. Ложь возвышает. Правда не только неприятна, она — страшит. Читатель этот желает, чтобы ему сотый раз крутили «Свинарку и пастуха» или «Кубанских казаков» и отвергает Тарковского. Юлиана Семенова или Чаковского ему спокойнее перечитать, чем взять Солженицына или ваше «Вознесение Павлика Морозова», — я сам был свидетелем, с каким негодованием была встречена эта книга. Такой читатель хочет, чтобы его обманывали. Он не только не унижен своим положением, наоборот: он счастлив в своем рабстве. И если уж мы говорим о значении издания «Ангелов» в России сегодня, то оно видится мне и в том, что такой читатель может оглянуться на себя вчерашнего и что-то почувствовать: недоумение, возмущение, гнев.

Ю. Д. Многое изменилось, но не забудем, что перемены шли сверху. Стал ли народ другим? На защиту новоиспеченного

Белого дома во время августовского путча вышли десятки тысяч человек...

В. С. А окажись путчисты на свободе, их вышли бы приветствовать сотни тысяч. Согласен: изменений в народе не могло не произойти. Вопрос только — каким он стал теперь? Я не отрицаю, что тому массовому сознанию, в основе которого со времен татаро-монгольского ига оставалось убеждение в законности произвола, нанесен удар. Но сомневаюсь, произошла ли демократизация общественного сознания. На мой взгляд, на место догмата слепой веры пришел догмат слепого неверия — ни во что и никому. Прибавьте к этому усталость, апатию, зависть, обозленность, шараханье из стороны в сторону, — все те качества, которые мы в зачатье видим в героях «Ангелов на кончике иглы». А ведь они в большинстве — интеллигенция. Она устала от бремени радетельницы нужд народа, сеятеля разумного, доброго, вечного, и уходит — кто в бизнес, кто в религию, кто в эмиграцию, постоянную или полупостоянную.

Ю. Д. В этом нет ничего плохого. Может, интеллигенция займется, наконец, своим делом: будет учить грамоте и культуре, а не бомбометанию, лечить от физических, а не от политических недугов, создавать научные, а не партийные школы, и самоутверждение на кухне за бутылкой перестанет быть ее главным способом самовыражения. Государство перестанет содержать бездарных, но идейно выдержанных. То есть интеллигенция будет заниматься тем, чем она давно уже занимается во всем цивилизованном мире.

В. С. Но свято место пусто не бывает. Этим могут легко воспользоваться новоявленные демагоги, снова пообещав тишину и порядок. Тишина будет кладбищенской, а порядок тот самый, который Гитлер назвал «новым», а Сталин «самым демократическим». Один из главных героев — старый журналистский волк Яков Раппопорт рассчитывал только на чудо. «А что, если бы произошло невероятное?» — спрашивает Ивлев. (То есть произошло бы чудо, и режим пал.) — «Интересно! Через сколько лет — через пятьдесят или пятьсот?» — парирует собеседник. Видит ли автор «Ангелов» свет в конце тоннеля?

Ю. Д. Мне трудно ответить на этот вопрос. Чем больше мы узнаем о той эпохе, тем более очевидно, что называть ее за-

стойной неверно. В новейших американских исследованиях природы романа говорится, что в основе романа лежит скандал. Вспомним такие несходные вещи, как «Лолита» и «Бесы», и будет ясно, о чем речь. В «Ангелах» скандалов сразу несколько: политический, семейный, даже физиологический. В романе сцеплены полярные точки зрения, и, разумеется, автор за героев не ответчик, он наблюдатель, хотя и не холодный.

Может показаться странным, но надежды в романе связаны и с образами лютых чекистов, например, заместителя главного редактора Ягубова. Меня упрекали в том, что сцена, в которой Андропов (в романе он Кегельбанов) в августе 1968 года поручает Ягубову написать текст обращения группы чехов с просьбой о помощи, неправдоподобна, что для таких заданий бывший сталинский официант никак не подходит. Но в том-то и дело, что на других, преданных системе не за страх, а за совесть, уже тогда был дефицит. Приходилось во всем опираться на лубянковские кадры, — какие ни есть, но свои. Вместо аргументов — танки, вместо убежденных защитников — ягубовы. Вот в чем виделся проблеск надежды на перемены. А то, что дети правителей спивались, становились уголовниками, пытались покончить с собой (и в жизни, и у меня в романе) — разве в этом не видится надежда на развал системы?

В. С. Критики называют «Ангелов на кончике иглы» романом историческим. Для меня же он не только роман-хроника, но и роман-спор: Дружников-художник все время спорит с Дружниковым-диссидентом. Да, есть две свободы: внешняя и свобода в душе. Очень актуально упомянутое вами предупреждение Герцена: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Дай Бог, чтобы я оказался посрамленным в своем пессимизме, и «Ангелы» скорей стали историческим романом о той российской жизни, которая не повторится.

ЛИТЕРАТУРА В ЭМИГРАЦИИ: ИЗ ВЧЕРА В ЗАВТРА

Ответы на вопросы Вольфганга Казака

«Вестник», Балтимор, 1995, № 6

Билет в одну сторону Александра Солженицына, проведенного в Швейцарии и США почти два десятилетия, оживил и изменил тон дискуссий о судьбе русского писателя в эмиграции, ведущихся по обе стороны океана. Профессор Вольфганг Казак, директор Славянского института Кёльнского университета — в прошлом дипломат, работавший в Германском посольстве в Москве. Он эксперт по современной русской литературе, автор «Словаря русской литературы с 1917 года», изданного теперь и в России. Перу Казака принадлежит несколько книг и более трехсот статей о русской литературе.

Как живут и работают на Западе русские писатели? Достаточно ли литературная свобода в нынешней несоветской России? Что представляют собой теперь взаимоотношения писателя-эмигранта с редакциями и издательствами в метрополии? Есть будущее у эмигрантской литературы или она теперь умирает и правы российские критики? Вот круг вопросов, занимающих немецкого слависта. Юрий Дружников отвечает на вопросы профессора Казака.

* * *

— Как получилось, что к слову «писатель» у вас прибавилось слово «эмигрант»? Ведь ваш случай особый...

— За одни диссидентские дела группу чересчур шумных литераторов одним списком в 1978 году выкинули из Союза писателей, но коллег моих сразу выпустили за границу, а со мной изменили тактику. Не дали визы, не издавали, мстили за публикации за границей (били стекла, обворовывали квартиру,

беря только рукописи, на допросах грозили лагерем и психушкой). Коллеги-эмигранты основательно осваивались на Западе, а я значительно тише действовал в Москве: открыл творческую мастерскую для писателей, потом Литературный театр вдвоем с Савелием Крамаровым, потом маленькое независимое издательство «Золотой петушок», — все разгонялось известным учреждением. Лишь в 1987 году, после скандала с выставкой «10 лет изгнания писателя из советской литературы» и письмом Горбачеву от 64 конгрессменов, меня выпустили. В начале перестройки, когда эмигранты, соскучившиеся по России, ждали момента, чтобы поехать на родину, я только вырвался на Запад. В общем, встреча Счастливецца с несчастливцевыми (или наоборот).

Когда отменялась цензура и уже начинали печатать эмигрантов, «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», книга, изданная до этого в европейских странах, трижды была запрещена. При гласности была создана идеологическая комиссия, объявившая книгу вредной, после чего опубликовали по всей стране десятки статей о том, что я оклеветал советского героя номер 001. Роман «Ангелы на кончике иглы», изданный в Нью-Йорке, в Москве вышел лишь после августовского переворота 1991 года. Словом, я выехал на десять лет позже и продолжал оставаться там в черных списках, несмотря на либерализацию.

— Фактор очень важный в психологическом, в эмоциональном и в творческом аспектах. Бываете в России? Как часто? Как долго гостите там?

— Важный с точки зрения ностальгии, прощения, то есть моих — хоть это слегка комично звучит — личных взаимоотношений с Россией. Езжу на родину регулярно, раз-два в год, но не больше чем на три недели. Дольше — невыносимо.

— Останавливаетесь у родственников? у друзей?

— В семье дочери. Она хореограф, узкий специалист по движению на сцене в драмтеатре, преподает в Театральном училище имени Щукина, ставит спектакли в разных театрах, сейчас во Франции и Бельгии. Для внучки у меня вышел в Москве детский юмористический роман «Каникулы по-человечески» с великолепными рисунками Спартака Калачева. Они приезжают регулярно, но эмигрировать не хотят. Теперь, пожалуй, и не надо.

— В России выступаете?



Юрий Дружников. Шарж художника М. Беломлинского из газеты
«Новое русское слово», Нью-Йорк

— Приглашают то с лекциями, то для беседы. Но иногда ждут, что вы скажете то, что они хотят услышать, — старая песня.

— Какие заметны перемены в литературной жизни: ослабевает интерес или наоборот?

— Перемены резкие и трудно прогнозируемые, в том числе и с выходом книг. Думаю, что период взятия из эмиграционного багажа чего попало прошел. А в моем случае, скоро там начнется и критика.

— Почему?

— Ведь опять противоречу принятому мнению: там переиздан «Узник России» и сейчас выходит вторым изданием вместе с «Досье беглеца» — новая концепция биографии Пушкина. Доказываю, что великий патриот был потенциальным эмигрантом, отказником, как мы, грешные, хотел бежать из России и, главное, никогда в нее не возвращаться. Пушкин — национальная святыня, последняя патриотическая опора. Монархическая газета «Наша страна» в Аргентине назвала недавно статью обо мне «Ненавистник России». А если серьезно — ведь это не я грешный, а великий поэт называл Русь проклятой, писал, что ненавидит свое отечество с головы до ног. Духовно Пушкин ближе нам, эмигрантам, чем оставшимся. Впрочем, сейчас все смешалось. Уважаемый мною критик Лев Аннинский заявил в журнале «Литературная учеба»: «Да ведь мы ВСЕ — несколько эмигранты». Это он сам так выделил слово «все». Не вся интеллигенция уезжает, но вся живет в скептическом состоянии духа. Один старый писатель в Москве на мой вопрос, не собирается ли он на Запад, ответил: «А зачем мне уезжать, мне и здесь плохо».

— Какое влияние оказала долгая разлука на взаимоотношения с родными, друзьями, знакомыми или с незнакомыми людьми в России? Что вы отмечаете в беседах: неизменную близость? отчуждение? зависть? непонимание собеседниками жизненных проблем на Западе? упрек в том, что вы не понимаете теперь проблемы на родине, что вы больше не свой человек? Понимаю, что можно часами беседовать об этом, но все же...

— Разлука не была долгой, и первый раз встречало так же много людей, как когда-то провожало. Контакты с друзьями остаются, поскольку налажена связь не по почте. Конечно, есть и непонимание, и зависть, и потребление: дай, купи, пришли. Один главный редактор попросил:

— Достань нам двести пятьдесят тысяч долларов.

— Зачем? — испуганно спросил я.

— А на развитие демократии...

Мы даем по силам, покупаем, шлем, помогаем, в том числе незнакомым людям. В основе хорошие отношения не иссякают, даже завязываются новые. «Своим человеком» быть, конечно, трудно: Россия «своих» любит только после смерти, а эмиграция — это Зазеркалье, и веками оно рассматривалась как чужбина, почти как смерть. Булгаков, говоря о своем демоническом Воланде, все время подчеркивает, что он иностранец.

— Что происходит, на ваш взгляд, в газетах, журналах?

— Перепечатывается с Запада уйма. Говорю о том, что попало в руки, в основном случайно. Но по-прежнему варварскими методами: режут, меняют названия и, что постыдно, смысл. Издательская культура упала до отметки 1920 года. Имею в виду не плохую бумагу, а плохой подход.

Редакторам там доверять пока нельзя. Большинство из них старые пираты. В толстых журналах сидят пожилые эксперты, работающие по принципу Карела Чапека. У него критик говорит писателю: «Вы должны писать так, как писал бы я, если бы умел». Цензуры и идеологии старой нет, но традиции «самого острого оружия» живы. Авторы делят на своих и врагов, печатают только мнения, которые разделяют в данный момент сами. Начальство их по-прежнему гипнотизирует. К сожалению, проблема авторских прав стала еще хуже, чем до распада. Продают в собственность заводы и землю, а продукцию чужого ума считают своей, будто это грибы из леса.

— Значит, и теперь предпочитаете публиковаться на Западе?

— За небольшими исключениями все, что там печатается, стараюсь опубликовать на Западе. В издательство туда идет компьютерный набор, что создает уверенность: не будет самовольных изменений в тексте. Как вы понимаете, для бывшего советского писателя это вопрос болезненный.

— Понимаю, что возвращение писателя — все еще больная тема, но спрошу: почему у вас нет намерения вернуться? Причины политические? экономические? семейные?

— Действительно, намерения такого нет и вряд ли будет. Ни семейные, ни экономические, ни даже политические при-

чины основной роли не играют. Не важен и фактор ностальгии. «Люблю Россию я, но странною любовью», как сформулировал Лермонтов. По взглядам я, скорее всего, космополит, а главное, уверен: писать лучше, находясь вдалеке — как исторически, так и географически. Лучшие произведения Карамзина, Гоголя, Тютчева, Тургенева, Достоевского, Куприна, Бунина, Зайцева и многих других написаны за границей. Пушкин не стал всемирной величиной (мировое значение Пушкина — в общем-то советский миф), потому что его не выпустили в Европу. Это, кстати, не моя мысль, я слегка модернизирую Жуковского. Что русский писатель отрывается от среды — это стереотип пропаганды, то, что я называю овировским мышлением. Никогда мне так плодотворно не работалось, как в Америке, хотя в России много лет не преподавал, а только писал. Лев Толстой говорил, что он узнает новости от извозчиков на улице, но теперь для этого есть радио и телевидение, а поговорить с московскими таксистами, впрочем, как и с нью-йоркскими, достаточно, когда наезжаешь. В России свобода все еще групповая, зависит от обстоятельств и мнений, свобода функциональная, кастовая.

— Еще один болезненный вопрос: в какой культуре живут ваши дети?

— У дочери в Москве сносный английский, к которому я ее приобщил с малолетства, немного французского. Сын — студент Станфорда, говорит на пяти языках.

— Сколько ему было, когда вы эмигрировали?

— Четырнадцать, так что по-русски он пишет так же грамотно, как по-английски. Он мой второй читатель после жены. Правда, он теперь читает больше на английском и французском.

— Другой чувствительный момент. Не раз слышу от русских деятелей культуры в Германии, что духовно они чувствуют себя в русском гетто. Какие у вас связи с культурой страны пребывания? С американской аудиторией? Скажем, выступаете перед публикой?

— Если речь об университете, то шесть лет я читаю лекции по истории русской литературы и цивилизации, в душе надеясь обогнать Набокова в глубине и оригинальности. Помимо общих курсов по прозе и поэзии двух веков, это «История русской цензуры», «Русская детская литература», «Историография

пушкинистики» (не биография, не творчество, а история изучения Пушкина, — курс, который не читается, кажется, больше нигде в мире, включая российские университеты). Но, может быть, вы спрашиваете про общую аудиторию? В США это, например, обед с писательницами, для которых вы, их гость, вылезаете на трибуну между вторым блюдом и десертом. Бывает такое частенько. Или, если русскоязычный читатель, то небольшие аудитории в центрах русской культуры. Неправда, что эмиграция вообще русских книг не читает. Есть читатели, есть русские библиотеки. А в массового читателя мне что-то не верится: мой читатель — человек интеллигентный, эдакий добрый скептик, а таких вообще не очень много в мире, но тем они дороже. В этом смысле у нас с издателями и тут, и в России не совсем совпадают задачи: издатели хотят, чтобы было больше покупателей, а я хочу, чтобы меня прочитал мой читатель. От таких и письма получаю, как было до эмиграции.

— Стала ли актуальная жизнь на Западе одной из ваших тем?

— Только в определенном контексте: если это связано с русскими проблемами. Но ведь еще в России американская тема меня интересовала точно в таком же ракурсе. В американской славистике литература русской эмиграции изучается и обсуждается, как и вы это делаете в Европе.

— А чувство родины, столько раз описанное русскими классиками? Между прочим, у вас есть советский паспорт?

— Тогда всех лишали советского гражданства, и паспорт отбирали. Сейчас там жива демагогия, как раньше: мол, земля, родина, Россия не виноваты, а виноваты система, партия, чиновники. Но система, партия и прочее — это и была та земля, та родина, где мы родились и жили, другой мы не видели. Формула «А сало русское едят» (из басни Михалкова), символизировавшая патриотизм, глупа. Кстати, эта формула была введена в оборот вскоре после того, как Россию спасла от смерти американская тушенка. Продукты давно перемещаются по всему миру. К тому же сало вредно для здоровья — вот пилюля пропаганде!

Многие люди, творившие гадости, сидят там если не на тех же, так на аналогичных местах. Писатели-палачи и жертвы сегодня оказываются плечом к плечу на телевстречах и за редак-

ционными столами. При допросе на Лубянке в 84-м мне «предъявляли рецензии» на публикации моей прозы за границей. Рецензии доказывали, что я антисоветчик и пора меня сажать. Подписи были: «Член Союза писателей» (без имени). Кто именно писал на всех нас эти клеветоны? Ведь исключали, сажали и высылали на основе этих сочинений. Разве можно было такое представить себе у вас в Германии после войны?

Печально, но факт: вернувшегося домой Солженицына, как и двадцать лет назад, окружают те же топтуны, только они польсели да отрастили животы. Раньше от него защищали народ, а теперь его от народа, — вот и вся разница. Они — наша любимая родина? Зла не держу, но и температура моей любви все еще не выше, чем у человека после мучительного развода. Об эмиграции все еще не сказано достойное покаянное слово, слово извинения за многолетний обман, массовые публичные оскорбления. А благодарность за сохранение духовных ценностей, которые там уничтожили бы? Родина этого не делает, — тем хуже для ее нравственного сознания. Иное дело культура, язык, умственные сокровища, — с ними эмиграция никогда не разводилась, и это свято.

— Какое у вас гражданство?

— Я гражданин США, то есть американец. Обычно пишу в документах: русский американец, а для читателей и студентов просто русский. Но в глубинной сути мое родство, и близость, и общие интересы — с интеллигентными американцами, немцами, австралийцами, русскими, а не с русскими или американскими простаками, у которых духовная жизнь определяется размером телеэкрана. Не считите это за снобизм.

— Существовать за счет литературной работы на Западе, а теперь и в России, только немногим возможно. А как вы?

— По статусу Калифорнийского университета профессор читает лекции 30 недель в год, а 22 недели должен заниматься либо исследованиями (скажем, археологией или литературоведением), либо творчеством (ставить спектакли, сочинять симфонии или, как наш университетский коллега Нобелевский лауреат Чеслав Милаш, писать стихи). Предполагается, что тот, кто творчески сам не работает, не может и хорошо учить других. Нагрузка тяжелая, но профессиональное творчество, как видите, поощряется, хотя и не напрямую.

— Считаете вы себя частью единой русской литературы или еще ее эмигрантской ветви?

— Не «или», по-моему, а «и». Не «еще», а в принципе. Вне всяких сомнений, эмигрантские произведения — это крупица русской культуры. Хорошие или плохие, они в ней останутся как свидетельства нашего времени и нашего миропонимания. Но в подтексте вашего вопроса спор: «Одна или две русских литературы», — помнится, была такая конференция в Женеве в 78-м, вы делали доклад. А спор продолжается... Эмигрантская ветвь, по-моему, необходима для России, ибо вот уже пятьсот лет со времен Курбского, когда на родине плохо, рукописи и даже самих писателей можно спасти лишь на Западе. XX век только подтвердил эту традицию. Сегодня сажены, спасенные эмигрантами, возвращаются на родину, но что будет завтра? Если мы ответственны за судьбы русской культуры, надо быть готовыми к худшему. Здесь надо хранить то, что написано там. Если опять диктатура, пускай не идеологическая, а циничная военная, пусть не надолго, — все равно с ней придут обыски, аресты, чистки, сжигание бумаг, архивов, книг. За день можно уничтожить то, что пишется десятилетиями, — опыт есть. Если диктатура, то следом Самизат, а здесь опять расцветет Тамиздат. Кто из нас поручится за надежность происходящих там перемен?

— А читатели и критики в России относят ваши книги к единой русской литературе или все-таки к зарубежной?

— По-разному. Это зависит от того, к новому или старому поколению относится читатель или критик. Старые особо подчеркивают, что автор живет в Америке, эмигрант, разрешенный, но чужак. Для молодых это не имеет значения, они смотрят проще. Для них барьеры преодолены, хотя, возможно, они чересчур оптимистичны. Вообще, это вопрос сложный. Тема эмиграции сейчас стала более популярна у авторов, живущих в России, чем на Западе. Она была запретна, а теперь в Москве каждый, проведя пару дней на Брайтон-Бич, чего-нибудь сочиняет про Америку. Одна за другой выходят кинокартины и пьесы безмерной наивности о жизни за кордоном. А писатели в эмиграции изучают разные аспекты старой и новой России. Может, и хорошо. В ботанике это называется перекрестное опыление.

МИФ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ

Диалог с критиком В. Свирским

«Панорама», Лос-Анджелес, 1993, № 673

В Московском университетском издательстве вышла книга Юрия Дружникова «Узник России». Почему и как родилась биография Пушкина с таким названием? На эту тему литературный критик В. Свирский беседует с Юрием Дружниковым.

* * *

— В Большом театре муж трогает за локоть жену: «Пока ты спала, Ленский Онегину послал вызов». — «Ну и что, он едет?..» Это анекдот. А серьезно: ведь ваш узник России — это Пушкин-отказник?

— Но Онегин действительно собирался отправиться за границу, и не один! Автор думал взять своего героя с собой:

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны.

Вполне возможно, Пушкин хотел вывезти рукопись «Евгения Онегина», чтобы опубликовать на Западе. И даже вызова Пушкин ждал (что как бы невзначай опускалось в биографиях). Приятель поэта Яковлев писал из Парижа, конечно же, для конспирации на третьего человека: «Он (Пушкин) чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него?» Отбросив официальный камуфляж о поэте-патриоте, сочинявшийся полтора столетия, я пытаюсь взглянуть на реального Пушкина, близкого и понятного нам, эмигрантам из России.

— Ага, значит, субъективный момент! Пятнадцать лет вы были там в черных списках. Теперь выходит книга за книгой.

Читатель знал вас как историка и прозаика — летописца советской системы. И вот — обращение к XIX веку...

— ...в поисках ответа на вопросы, которые волнуют нас сегодня. Пушкин интересовал меня давно, материал к «Узнику России» собирался три десятилетия в Москве, Питере, Одессе, Кишиневе. Но осуществиться книга смогла только на Западе. Ведь и в «Вознесении Павлика Морозова», и в «Узнике России», сердцевина замысла — раскапывание корней официальных государственных мифов. Причем не только советских, а вообще российских. Казалось бы, разных, но, как ни странно, имеющих одни истоки и схожие цели. Уход от современности дает возможность историку литературы нагляднее высветить век нынешний, понять явления, коим мы свидетели.

— Где же сыщется сегодня в России читатель на книгу о Пушкине? Книжный рынок заполнили детективы, женские прелести на обложках заслонили портреты классиков. И самого поэта не читают, не говоря уж о литературоведческих работах. Вы недавно вернулись из России, были встречи с читателями, лекция в университете. В каком там состоянии «народная тропа» к Пушкину, не зарастает ли?

— Вот и коснулись мифа, а может, сразу нескольких. О «самой читающей стране». Под это понятие удобней всего подвести Китай недавнего времени, когда миллиард граждан зубрил цитатник Мао. Что касается Пушкина, убежден: после каши с гвоздями, которой с малолетства кормила школа, после пройденного по программе Пушкина мало у кого появлялось желание раскрыть его томик. Тропа не заросла, ее даже расширили. Помню экскурсионный поток в Михайловское — через заповедник по восемь человек в ряд, по бокам дружинники с красными повязками, чтобы пушкинолюбы не топтали лес. Если делаешь шаг в сторону, окрик, — разве что не стреляли. А в результате отвели тропу от настоящего Пушкина, сделали его полезным для агитпропа.

— Но была и обратная реакция у читателя: узнать настоящего поэта.

— Официальное литературоведение переименовало «Дон-жуанский список Пушкина» в «Адресаты лирики поэта», а читатель искал правды, — запретный плод сладок. Мифологиза-

ция началась задолго до семнадцатого года, пожалуй, еще при жизни поэта. Было два пика: 1880-й — когда поставили памятник в Москве, и 1937-й, во время которого заявили, что Пушкин «наш, советский». Кто только не использовал имя его в своих целях (чаще не литературных): христиане, атеисты, монархисты, демократы, идеалисты. Большевики сделали его историческим материалистом. И все поучали его, чего он «недопонял», чтобы быть полностью преданным их тусклым идеям.

— Я не особенно ценю мнение о Пушкине его одноклассника барона Корфа. В нем сквозит высокомерие государственного мужа к литераторам, да и зависть, но Корф прав, замечая, что «тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы». Отважился пушкинист Петр Губер — его не издавали с 1923-го. Надолго забыли про Тынянова. Рискнул Вересаев — ему заткнули рот на десятилетия, а книгу «Пушкин в жизни» кто только ни резал. Решился Андрей Синявский — какую волну негодования в России вызвали «Прогулки с Пушкиным»! Как посмел зек шутить над святым поэтом! Вы тоже стремитесь исследовать жизнь поэта. Не страшно?

— Не хотелось, чтобы кто-то посчитал мою работу попыткой поставить под сомнение значение Пушкина для русской цивилизации, особенно сейчас, когда, кажется, только он и остался на культурном кладбище России неразгромленным, он один поддержка и опора, национальное достояние. Он был невыездным, а Академическое собрание сочинений его — невывозное: таможня не пропускает. Но ведь это был живой, противоречивый, как все мы, человек.

Кто занимался фотографией, — знает, какой уродливый портрет получается, если снять, встав на колени. Пушкиноведение давно снимает бога Пушкина из этой позиции. Очищение от лжи не может унижить поэта, наоборот, укрепляет его ценность. Отсюда и интерес массового читателя сегодня — к сокрытой от него правде. Стыдно ли России, что великий Пушкин был картежник, человек злопамятный и мстительный, дуэлянт, неугомонный бабник и завсегдатай борделей? Следует ли из этого, что читатель этих подробностей знать не имеет права? Стыд-

но ли, что поэт бранил последними словами Россию и говорил, что не даст за нее ломаного гроша?

— Тем более такая пикантная тема: Пушкин хочет эмигрировать. Нынче огромные массы людей в России готовы бежать куда угодно, хоть на остров Огненная Земля, лишь бы впустили. И проблема, как вы доказываете, важная для Пушкина, из литературоведческой становится полезной практически. Ведь «Узник России» — книга о вечном бегстве интеллигенции из России, о сутевых причинах утечки мозгов. Имеется столько доступных, издававшихся документов, подтверждающих стремление великого поэта покинуть родину. Почему же этой темы почти не касались исследователи?

— Существовало табу. Полтора века разные власти приноравливали Пушкина к себе, но всем им нужен был поэт-государственник, а значит, патриот. А что остается от такого образа, если выясняется, что Пушкин всю сознательную жизнь стремился любым путем во что бы то ни стало вырваться на Запад? С позиции традиционного «ленивого» патриотизма это предательство. Что за уникальная страна, в которой глава тайной полиции требует от поэта «всякий раз испрашивать разрешения», чтоб съездить в соседний город? Чем отличается правительство Николая Павловича от правительства Иосифа Виссарионовича и его наследников? Да только размахом: тогда держали некоторых, а все прочие подданные империи свободно уезжали и приезжали. А после — лишь некоторым случайно удавалось выскользнуть. Пушкин просто съездил бы, вернулся, обогатив свой ум впечатлениями, что принесло бы несомненную пользу отечественной литературе, поехал бы опять. Он стал бы мягче, меньше бы ругал родину, и царя в том числе. Не выпуская поэта, создали духовный дефицит, ненависть к родине-тюрьме, политическую оппозицию.

Смысл настоящей литературы в том, что она всегда в эмиграции. Писатель должен отдалиться от описываемого им, чтобы увидеть свою жизнь и жизнь своих современников со стороны. Если он этого не делает, то он может стать конформистом. Пушкин сделаться конформистом пытался, но соревноваться с мастерами сервилестики ему было не под силу. Не вина, но беда Пушкина, его трагедия.

— Литературоведов обвинять грешно: они вынуждены были подыгрывать, бросать куски в пасть мифа.

— Пушкинистов сажали не менее исправно, чем прочих. В десятках работ освещены политические, исторические, философские, даже экономические воззрения Пушкина. Есть работа, в которой доказывается, что «Евгений Онегин» помог Марксу изучить экономику России (правда, неизвестно, читал ли Маркс Пушкина). Мы знаем, сколько раз поэт стрелялся, какой длины отращивал ногти, а одна из важнейших сторон его жизни, а значит, и творчества: стремление «взять тихонько трость и шляпу» и «никогда в проклятую Русь» не возвращаться (его слова), — эта тема осталась за бортом пушкинистики. Я ее подобрал. Понятно, что я проводил независимое и тайное расследование, как и в случае с Павликом Морозовым, только вместо живых свидетелей показания давали документы.

— Тайное?

— Потому что изгоя, отказника, исключенного из Союза писателей, в архив Пушкинского дома в Ленинграде — Институт русской литературы — на порог не пустили. Пришлось работать под чужим именем, пользоваться услугами друзей. Материалов о Пушкине — потенциальном эмигранте собралось много. Тут и письма, и воспоминания современников — друзей и врагов, и официальная и частная переписка чиновников всех рангов, включая самые высокие, и документы Третьего отделения тайной Его Величества канцелярии, и полезные крохи в трудах предшествующих поколений пушкинистов. Моя задача состояла в постройке новой концепции того, что в Америке называется *psychobiography* — психологической биографии поэта. Надо было преодолеть стереотип, попытаться подняться с колен, события, мотивы поведения, творческие замыслы поэта истолковать с другой позиции. Не мне судить, как это удалось.

— Вернусь к начатой мысли. У меня представление, что к теме «невьездного Пушкина» подошел «невьездной Дружников». Пушкиным вы занимались, будучи отказником более десяти лет. Автор отдает герою из XIX века частицу своих чувств, мыслей, переживаний. В компании с невьездным Пушкиным легче переносить тяготы жизни в России брежневско-андроповской. Не кажется ли вам, что личный момент может



*Карикатура на Дружникова американского художника Ника Мамарила,
(Лас-Вегас, 1998)*

наложить нежелательный отпечаток на тональность книги? Имею в виду безапелляционность некоторых суждений и особенно аллюзии, в том числе лексические, некоторое смещение акцентов. Ведь на самом деле никто Пушкина отказником не называл, не было такого слова!

— Жуковский сразу после смерти Пушкина обвинил Бенкендорфа в том, что тот не дал Пушкину увидеть границу. А сколько раз ему официально отказывали! Отказы существовали, именно так и назывались. Писатель всегда субъективен; желает он или нет, он присутствует в персонажах своих произведений, наделяет их своей любовью, своей ненавистью, своей болью. Всё это, как утверждал Уитмен, не может не сказаться даже в его умолчаниях, даже в том, чего он не напишет.

Конечно, есть опасность перебора, которой мне, возможно, не удалось избежать. Но я скептик сам и пишу для скептического читателя. А скептик, по выражению Бердяева, есть западный в России тип, то есть всегда немножко внутренний эмигрант. Что касается русских читателей за пределами метрополии, то среди них едва ли не каждый второй — сам был отказником и боролся с системой за выезд. Такой читатель поймет мое состояние и состояние Пушкина — единомышленника людей, сидевших на цепи еще недавно. «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Сколько было таких ученых котов...

— Меня смущает некоторое смещение акцентов. Какое значение вы вкладываете в понятие «покинуть Россию»? Что и когда входило в намерения Пушкина? Съездить за границу, как обычно ездили русские дворяне? Поехать по своей дипломатической службе? Уехать совсем, остаться в Париже или Риме, а то и «под небом Африки моей»? Или — бежать, исчерпав все легальные возможности? Так вот, мне кажется, смещение происходит именно в сторону последнего. Вы рассматриваете все варианты планов побега поэта за границу из Кишинева и Одессы, называете десятки людей, втянутых в осуществление этих планов, объясняете причины, по которым они сорвались. Фактически впервые в пушкинистике рассматривается вариант побега с цыганским табором или через Грецию.

— Но именно это «смещение», как вы выражаетесь, и было моей целью. Пушкин пытается бежать за границу из Михайловского, из Москвы и Петербурга, наконец, через Кавказ, из Арзрума в Турцию. Пушкин сам то и дело называет себя то изгнанником, то беглецом, а нет ни одной книги, исследующей этот таинственный порыв к Западу великого поэта, стремление, проходящее через всю его жизнь. Написанное им, представляется мне, нельзя понять без этой его сверхзадачи. Вот я и сконцентрировал усилия именно на попытках бегства на Запад. Остальное, общеизвестное, использовано лишь в той мере, в какой это помогало главной задаче.

— Интересно, что вы обращаете внимание читателя на возможность иного взгляда на уже известное, то и дело спорите с источниками, даже лично с Пушкиным, если кажется, что он не хотел или не мог сказать правду. Он-то ведь тоже по ясным причинам многое скрывал. Мы все это делали, когда собирались «в чуждые страны».

— Многое и сейчас остается неясным. Уже упомянутый Яковлев, приятель Пушкина, писал из Парижа, посылая «анонимное» приглашение: «Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут». Разве это не напоминает наши шифровальные игры совсем недавнего времени? «Небольшое приглашение» — вызов. «Анонимное»? А многие ли из нас знали, кто нас приглашал на постоянное жительство? «Пожаловать, куда зовут» — тоже для Пушкина ясней ясного: договорились они обо всем еще до отъезда Яковлева. «Дойдет ли?» — тоже понятная забота, почта перлюстрировалась, нежелательные письма исчезали. Но далее в письме текст расшифровать пока не удастся: «Кто занял два опустевшие места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто держит известные его предложения и внемлет погребальному звуку, производимому его засученною рукою по ломберному столу?» Конец текста, предназначенного для одного Пушкина, связан с карточной игрой. А сам текст, конечно же, о помощи поэту в бегстве из России. С такими загадками я сталкивался то и дело.

— Столько раз Пушкин хотел бежать, такие ловкие планы строил, так старательно готовился, а когда дело доходило до

осуществления, каждый раз что-то мешало. Почему ни один из планов не было осуществлен? Сочетание случайностей? Рок — не знаю, злой или добрый?

— Я старался тщательно проанализировать причины, которые мешали его побегам, или, если хотите, эмиграции (ибо возврат из-за границы после побега означал не ссылку к родителям в Михайловское, а отправку в кандалах в Сибирь). Это ошибки или измена помощников, изменение ситуации или политики, а также *cherchez la femme* — ищите женщину.

— Книга породила у меня такую мысль: а были ли вообще серьезными попытки Пушкина бежать из России? Вот поэт собирается бежать из Михайловского в качестве слуги своего приятеля Вульфа. «Дошло бы у нас до исполнения этого юношеского проекта, не знаю, — вспоминал после Вульф. — Я думаю, что все кончилось бы на словах...» Причину несостоявшихся побегов, мне кажется, надо искать в самом Пушкине — человеке чувства, сиюминутного настроения, в непростых свойствах его души, постоянных противоречиях между смелыми декларациями и осторожными поступками. Вы точно подметили в книге легковесный либерализм молодого поэта. Такими же легковесными были, мне кажется, и все (или почти все) его намерения бежать. Кроме того, в Пушкине уже на Юге начинает проявляться то, что он назовет голосом «строгой необходимости земной». Когда он поехал было в декабре 1825 года из Михайловского в Петербург, этот голос шепнул ему: «Вернись!», а то угодил бы в самое пекло восстания.

— Теперь я упрекну вас в излишней категоричности суждений. Хорошо, что мы затронули этот вопрос, он важный. В только что законченной книге «Досье беглеца» довольно подробно останавливаюсь на «голосе осторожности» у поэта. Но это не всё. Сколько раз в своих произведениях поэт прощался со своей страной! Казалось бы, простился, так уезжай. Ан нет. Так чего ж, спрашивается, было прощаться? Но в том-то и дело, что творческое воображение любого поэта, а Пушкина особенно — опережает, а иногда и заменяет непосредственные поступки. Возможно, Пушкин, с его потрясающей способностью предчувствовать, предвидел ситуацию на ход или на два дальше своего окружения и поэтому мог раньше остановиться. Он

как бы уже эмигрировал в душе, и лишь брренное тело еще не перенеслось через границу. Некоторые попытки — сюжеты для детективных романов, правда, без убийств, но со шпионами и до того запутанные, что сам беглец не мог контролировать ситуацию. Затем попытки выбраться из Москвы и Петербурга, новые отказы и тайное планирование поездки на Кавказ, о которой знали, однако, многие, и прежде всех доносчики. Наконец, поездка в Арзрум — странное, до сих пор не объясненное путешествие Пушкина. Есть доказательства, что поэт хотел бежать в Турцию, добраться до одного из турецких черноморских портов и оттуда — в Италию и Францию.

— В письме из Михайловского Пушкин писал Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если Царь даст мне свободу, то я и месяца не останусь...» Интересно будет прочитать книгу и узнать, уехал все-таки Пушкин за границу или нет.

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПУШКИНЫМ И ПАВЛИКОМ МОРОЗОВЫМ?

*С Юрием Дружниковым беседует
обозреватель «Литературной газеты» Павел Басинский*

«Литературная газета», 3 сентября 1997

— Юрий Ильич, современный русский читатель знает вашу скандально известную книгу «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», вызвавшую в свое время шквал как положительных, так и негодующих откликов со стороны защитников этого, одного из самых ранних официальных советских мифов. Тем не менее — несколько слов о себе. Как вы оказались вне России?

— То была давнишняя и весьма скромная попытка докопаться до дна в болоте всем известной лжи. Трехсотстраничная рукопись «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» с восьмьюдесятью фотографиями гуляла в Самиздате, а вышла в советское время в Лондоне. Глава за главой пошли по радио «Свобода». Поток писем обрушился на Москву, большей частью от учителей: петь дальше песни о герое-пионере или не петь? Власти отреагировали: сотни две статей, меня гвоздящих, пробарабанили по стране. Рекорд побил «Вечерний Киев», где на первой полосе сообщалось, что Дружников сам доносчик, ибо донес читателям на Павлика Морозова. Один московский журнал вызвал меня в суд за оскорбление чести героя, но тут идеология рухнула.

А вообще-то неприятности мои начались, когда на совещании детских драматургов в Ростове-на-Дону, я задал вопрос: почему памятники Сталину снесены, а Морозову стоят, и прилично ли нам воспитывать преданность на примере предательства? Вскоре меня в очередной раз пригласили в известное учреждение и предложили не лезть не в свое дело. Ну, когда запрещают, очень хочется узнать, почему. Между тем появилась статья в «Известиях», что в рассказах я искажаю образы совет-

ских людей, запретили комедию «Учитель влюбился» (сейчас она опять пошла), передачу «Взрослым о детях» на радио. Меня вытолкнули печататься на Западе, а потом на допросе объяснили, что я живу в свободной стране и мне предоставят свободный выбор, куда хочу: в лагерь или в психушку. Спустился я по Кузнецкому мосту к Центральному телеграфу и позвонил в Нью-Йорк. Бернард Маламуд, Курт Воннегут, Элия Визель в Американском ПЕН-клубе включились в мою защиту (сейчас я так же спасаю писателей в других странах). Остался выезд, но власти мне отомстили: десять лет не выпускали. Они ошиблись, не посадив или не убив меня бутылкой в подъезде: я много написал за десять лет немоты в Москве. Но они победили, на пятнадцать лет полностью изъяв мое имя из литературного употребления на родине.

В августе 91-го, уже с американским паспортом, я попытался проскочить в Москву к известным событиям, но в консульстве мне не дали визы. А в прошлом году, когда финская кинокомпания снимала в Москве и Сибири фильм по книге «Доносчик 001», на фото в «Московском комсомольце» я увидел себя, стоящим на постаменте Павлику Морозову, и писалось, что я свалил монумент. Это преувеличение.

Реальность такова, что книга живых свидетельств по делу пионера-героя № 1, опубликованная на разных языках, в России впервые напечатана только в 1995 году, а полное научное издание (с источниками, включая личные архивы, добытые мной секретные документы ОГПУ и пр.) по сей день существует на английском, хотя я отказался продать американскому издательству «русский копирайт». Документальный фильм идет в Германии, Финляндии, Англии, Голландии, но не в Москве.

— Ваша книга «Русские мифы» издана в Нью-Йорке на русском языке с пугающей черной обложкой и портретом Пушкина, боязливо озирающегося... на Сталина, который не торопясь, «классически» прикуривает трубку (коллаж Вагрича Бахчаняна). На сей раз жертвами вашего мифоборчества стали русские писатели: Пушкин, Гоголь, Куприн, Хлебников, Юрий Трифонов... В России книга еще не издана,* но частично опублико-

* «Русские мифы» опубликованы издательством «Пушкинский Фонд», Спб., 1999.

вана газетами и журналами. Есть и отклики — Лев Аннинский в «Дружбе народов». Откуда такая страсть к разоблачению мифов? Что это — ампула, призвание или, простите за нескромный вопрос, эмигрантское хобби? Грубо говоря: вы писали это для Америки или для России? Спрашиваю это оттого, что в процессе чтения не раз ловил себя на ощущении, что книга писана как бы не для меня, сейчас живущего в России, а... Для кого?

— «Жертвами» — перебор. Это чтимые мной писатели. Но по пути от школьной парты до профессорской кафедры слышал о них, к сожалению, немало конъюнктурного вранья. Сегодня традиционный русский подход к литературе как средству познания вечных вопросов бытия сохраняется, но писатель — глашатай всеобщей истины, духовный лидер, которого надо слушать, разинув рот, гуру, подпитывающий энергией дух читателей, — воспринимается с трудом. Западный подход: любой писатель пишет правду, как он (он лично!) ее понимает — не меньше, но и не больше.

То, что критики называют моим разоблачением мифов, в действительности лишь попытка разгрести наслоения, будь то о Павлике Морозове, Сталине-пушкинисте и поэте, Пушкине-любовнике, Гоголе как друге и соратнике Пушкина или Трифонове-инакомыслящем. Да и название книги — «Русские мифы» — условно, не то, что, скажем, древние мифы. Уточню: понять субъективно, сделать шагжок к истине, ибо истина непостижима для целых народов, что уж говорить о литераторе-единичнике.

Пишу я не для России, Америки или Австралии, а сначала — для себя. Ампула, страсть — в любопытстве, а не в разоблачении; призвание — в поиске, как у старателя, ищущего крупницу золота в породе. Кстати, я и золотишко мою изредка, ибо живу в часе езды от района «золотой лихорадки», мою без удач, но процесс захватывает. Добавлю еще афоризм Хуана Рамона Хименеса, такого же эмигранта, как я, которого приютили США: «Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек». Без сего правила, на мой взгляд, лучше не быть писателем. Я медленно копаю до исходного документа, а нет его — до свидетельств очевидцев. Даже чистая моя проза, скажем, роман о

московских журналистах «Ангелы на кончике иглы», есть исследование или расследование (двенадцать томов черновых записей — показания прототипов героев). Копаю слоями: сперва просто как любознательный читатель, потом как историк, литературовед, наконец, как писатель, то есть с эмоциями. Помогает, конечно, и многолетний журналистский опыт взятия материала.

Настоящее писательство всегда, от древних авторов, — хобби, ибо хобби есть цель, а зарабатывание денег — лишь средство осуществления хобби. Потом находятся читатели — единомышленники, противники или просто любопытные (а редакторы и издатели, в сущности, те же читатели, только с грузом ответственности перед другими читателями), и коль интересно, это издается.

— Честно говоря, сама по себе идея мифоборчества мне не кажется плодотворной. Миф — только вершина айсберга, под которой скрывается нечто более грандиозное. Сейчас это называют, на мой слух, неприличным словом «менталитет», но мне-то это представляется неким знаком, «тавро» каждой эпохи, по которым мы только и способны их различать. Например, я знаю не только из книг, но и со слов очевидцев, с каким неподдельным энтузиазмом студенты Литературного института конца 30-х годов шли добровольцами на Финский фронт (среди них поэт Отрад, Луконин, Наровчатов, Копштейн — первый и последний, кстати, там и погибли). С точки зрения нынешнего менталитета, они были просто наивными заложниками сталинского мифа о каких-то «белофиннах» (на самом-то деле — жителях своей страны, сражавшихся против советской интервенции). И можно представить писателя, похожего на Юрия Дружникова, который бы от этого мифа не оставил камня на камне. Но вот беда... те ребята этой «правды» никогда не узнают. Они навеки так и останутся коллективным и глубоко мифологическим образом «отступающих в вечность солдат», говоря словами эмигрантского поэта Георгия Иванова. И мне, по правде сказать, почти безразлично, кто эти «солдаты»: белые или красные и даже, как это ни страшно звучит, — красные или коричневые. На недавней выставке «Москва — Берлин» в Пушкинском музее я полчаса простоял перед картиной какого-то немецкого художника времен Второй мировой войны. На ней

изображен фашистский солдатик на побывке среди деревенской ребятни. Он что-то такое показывает им ладонью в воздухе — наверное, боевой немецкий самолет, который один сбивает десять русских. Лица детишек светятся от восторга...

Мой дед погиб на той войне. И перед картиной Ларионова «Письмо с фронта» я простоял несколько более и — с иным чувством. И все-таки не могу не признать, что немецкая картина меня тоже захватила! Вот всё про себя понимаю, а стою и переживаю за этих немчиков, как идиот! Вы считаете, что я тоже — жертва мифа?

— Откуда вам известно, что ушедшие в вечность правду не узнают? Но если это и так, мы-то обязаны ее знать, ну хотя бы для того, чтобы не начать войну с белофиннами снова. Иллюзии, как листья осенью, падают; я собираю листья. Мне близко ваше состояние терпимости, сострадания, понимания того, что по обе стороны границы — люди; философия, даже временная, вроде «сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», опасна, и сейчас еще расплываемся. Но тем важнее холодным рассудком отделять в прошлом факты от чувств, ибо личная ответственность, сегодня столь важная в мире, включает понимание того, кто был кто. Для меня разница между белыми, красными и коричневыми остается. Мертвые сраму не имут, но пока я жив, я хочу понимать, с кем я и ради чего. Ошибки прошлого помогают разбираться в себе, в окружении, даже в литературе. Читатель вправе строго спросить: какая связь между книгами этого автора, меж Павликом Морозовым и Пушкиным? А это крайности русского духа: бездна падения и бездна величия. Одна деталь, для примера. Как известно, есть несколько толкований пушкинского стихотворения «Анчар», но суть стиха проста: владыка послал раба за ядом, и тот его принес. Работая над книгой о Пушкине «Узник России. По следам неизвестного Пушкина» (книга переиздана в Москве, в издательстве «Изограф»), я обратил внимание, что по датам написания «Анчар» совпадает с попыткой завербовать самого Пушкина в тайные сотрудники Третьего отделения. Так родилось еще одно толкование этого стихотворения, а это маленькое открытие охватило и поэму «Полтава», — ведь и ее тема — «донос на гетмана-

злодея царю Петру от Кочубея». Посмотрите даты: написано Пушкиным в те же дни!

Мой дед тоже погиб. Был инженером на ртутном руднике в Никитовке, в семнадцатом сброшен рабочими в шахту; бабу с двумя маленькими дочерьми выгнали из дома, а дом сожгли. Бабушка боялась это рассказывать, в анкетах писала, что ее муж погиб в Октябрьскую революцию, защищая советскую власть. Вот водораздел между иллюзией и неприятной правдой. Какая история предпочтительней? Я никого не осуждаю за наивную веру в несостоятельные идеи, тем более людей погибших. Наверное, вы правы, это менталитет, такие тавро можно найти в любую эпоху. Мы все жертвы мифов, но так же, как одни хотят заблуждаться, другие хотят понять суть заблуждений.

— Вернемся к нашим писателям. Ваша книга, бесспорно, написана талантливо и местами захватывает, несмотря на, повторяю, не близкий мне разоблачительный тон. В ваших способностях энергичного и дотошного исследователя не приходится сомневаться. Особенно запоминаются «Куприн», «Хлебников» и «Трифонов». Очерк о могиле Хлебникова оставляет впечатление шока. Скажите, вы действительно можете доказать, что на Новодевичьем кладбище лежит не Велимир, а некто, не имеющий к нему отношения?

— Доказать, что на Новодевичьем кладбище лежит не Велимир Хлебников, можно, как и в случае с Николаем Вторым. Хлебников бежал в деревню Санталово, под Новгород, из Москвы от голода и бездомности в 1922-м. Вскоре его схоронили на погосте Ручьи. Провожавших было шестеро, среди них художник Петр Митурич, — в архиве есть его записи о могиле и рисунки. Я опросил всех свидетелей. Они утверждают, что в августе 60-го, когда сын сестры Хлебникова, добившись места на вельможном кладбище, приехал за прахом, он ошибся и раскопал соседнюю могилу, а настоящая цела. На камне Новодевичьего должна быть надпись: «Здесь не покоится Велимир Хлебников». В могиле лежит неизвестный, которому подвалила такая честь.

Академия наук в свое время тайно вскрывала могилу Пушкина: остатки камер-юнкерского мундира сохранились, даже волосы на черепе, — сомнений нет. Но у меня есть сильное

подозрение, что в могиле Грибоедова с Ниной Чавчавадзе в Тбилиси покоится не автор «Горя от ума», а другой человек, исламский фанатик, возможно даже убийца поэта, и это пока не удалось проверить. В задачу писателя не входит эксгумация, я собираю вербальные доказательства, доступные кустарю-одиночке.

Еще пример моих исканий, опять о Морозове. Доказываю в книге, что мальчик донес на отца потому, что тот бросил мать, а верность идеям Ленина ни при чем. Слаборазвитый Павлик о коммунизме не ведал. Он был убит не дедом и двоюродным братом, а сотрудниками ОГПУ, чтобы обвинить кулаков (которых в деревне не было) в терроре против представителя советской власти. Для этого Павлика сделали после смерти пионером, каковым он точно не был. У меня записаны также свидетельства очевидцев, что позднее, заметая следы сталинских (и своих) преступлений, кагебешники ночью, при свете фар, раскопали могилу, останки двух братьев Морозовых перемешали в одном ящике, перевезли на другое место и залили двухметровым слоем жидкого бетона. Один череп в спешке потеряли, им школьники играли в футбол. Эксгумация невозможна, а все равно у меня в «Доносчике 001» десяток свидетелей доказывают: расстрелянные за убийство не убивали. Впрочем, я, по всей вероятности, нашел убийц.

— Что касается очерка о возвращении в Россию Куприна в 1937 году («Куприн в дегте и патоке»), то замечательна эта сцена, когда старый писатель в Голицыно кричит командиру роты встречавших его, как на параде, солдат: «Здравия желаю, господин унтер-офицер!» — «Он не господин, а товарищ командир», — подсказали Куприну компетентные сопровождающие». Такого «нарочно не придумаешь!» Вы считаете, что Куприн был до такой степени невменяем, что ничего не понимал из того, что происходит вокруг? Или все-таки играл, с некоторой даже издевкой? Сами же пишете, что на вопрос представителя «Комсомольской правды»: «Как вам нравится новая советская родина?» — Куприн ответил: «Ммм... Здесь пышечки к чаю дают». Да-да, пышечки и стакан винишка... Для жизнелюбца Куприна, который знал, конечно, что смертельно болен, это вино и пышечки были куда значительней политической борьбы и прочего. Вы-то пишете об этом в саркастическом тоне: вот, мол, до

чего оболванили русского писателя! А мне-то кажется, что Куприн в самом высшем смысле был прав... как прав всякий человек, одной ногой стоящий в могиле. Вот плевать ему было уже на все эти «белые» и «красные» правды и кривды! Просто помирать не хотелось в Париже... Не согласны?

— Не могу согласиться из-за обилия собранных мною свидетельств. Много мне рассказали старые парижские эмигранты, в том числе Андрей Седых, литсекретарь Бунина. Когда человек любит кошечку больше дочери, отбирает у школьников тетрадки по геометрии, чтобы перерисовывать треугольники, и хвалит партию и Сталина за то, что пышечки к чаю дают, — это деменция, или, проще, приобретенное слабоумие.

Куприна не оболванили, хотя подпаивали. Классик нужен был системе больше, чем Горький и, тем более, Алексей Толстой, и НКВД ловко использовал болезнь. Жене обещали спасти Куприна от рака в советском санатории, а уже были метастазы. Завещания, составленного адвокатом до выезда из Парижа, нет, но можно ли доверять советским публикациям тридцатых годов, где журналисты провозглашают настойчивое желание старика умереть на родине? Его, потерявшего рассудок, донимали боли, и он даже читать толком не мог. Оставшись одна, вдова Куприна повесилась.

— Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление оставляет ваш рассказ о Юрии Трифонове. По некоторым сведениям, его отказались печатать все российские издания, в которые он посылался. Это правда?

— Правда, хотя на Западе очерк «Судьба Трифонова, или Хороший писатель в плохое время» перепечатывался несколько раз, и я делал доклад на американской конференции славистов в Техасе.

— По вашей версии, Трифонов — писатель исключительно советский. Это миф, созданный либеральной интеллигенцией и — отчасти — зарубежной славистикой. Миф о писателе, боровшемся с режимом, говорившем правду вопреки обстоятельствам. По вашей версии, Трифонов всю жизнь трусил, приспосабливался... Особенно шокирует ваша версия о том, будто Трифонова, как и многих сиятельных графоманов, создали квалифицированные редакторы «Нового мира» и советских изда-

тельств. Будто сегодня сложно определить, что в его вещах «от Трифонова» и что от мастеров работать красными чернилами и ножницами. Гм-м-м... Не знаю, насколько основательны эти подозрения...

— Полемика идет. В Бельгии вышла книга на английском, утверждающая, что Трифонов есть Лев Толстой. Писем много: от «я сам так же о Трифонове думаю» до «если бы Трифонов был Пушкиным, он бы вызвал вас на дуэль». Водораздел проходит по возрасту: старому поколению Трифонов — единомышленник, помощник в выживании; среднее считает его коллаборационистом с фигой в кармане и скучным, младшее — не читает вообще. Трифонов сам рассказывает, как месяцами, от первого слова до последнего, шла коллективная работа над его рукописями — полистайте его «Записки соседа» в полной версии. Вариантов рукописей было много, он сам переписывал под диктовку, без красных чернил. Раз в жизни я подобную операцию выдержал в Москве в начале семидесятых: вместо романа вышла половина, оригинал пропал во время эмиграции, и я этот роман даже не включаю в выходящее сейчас в США собрание сочинений.

— На меня эта часть вашей книги оказала странное воздействие. Быть может, прямо противоположное тому, которое замышлялось. Я... бросился перечитывать «Время и место», «Дом на набережной», даже «Студентов»... Для меня Трифонов — не пустой звук, вне зависимости от временной конъюнктуры, которая, кстати, к нему сегодня не слишком благосклонна: его практически не переиздают, о нем ничего не пишут... А тут еще ваша, признаю, весьма убедительная версия о писателе, который, сам того не желая, оказался чуть ли не в диссидентах, тяготился этим, нервничал, потому что хотел только одного: благополучной жизни. И знаете, вы меня почти убедили! Мне тоже всегда казалось, что Трифонов-диссидент (пусть даже внутренний) — это миф, который был необходим либеральной интеллигенции, жившей здесь, но постоянно державшей кукиш в кармане. Этот миф был ей удобен, он как бы оправдывал ее собственное непоследовательное существование, весь тот раздрай с совестью, принципами и т. д. В этом смысле прямолинейный Солженицын меньше ее устраивал; большинство ин-

теллигенции, хваля на словах, втайне его не любило — за жесткость, за диктат правды, за учительство. Трифонов оказался более «своим».

Но видите ли в чем дело... За разоблачением мифа о Трифонове вы, мне кажется, проскочили мимо писателя Трифонова. То есть вы постоянно оговариваетесь: Трифонов, мол, писатель большой... Но — советский... Художник значительный... Но — конформист... И выходит, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. Это напоминает мне давнюю и так же блистательно написанную статью вашего оппонента в «Дружбе народов» Льва Аннинского о Фете. Он ее тоже построил методом парадоксальной оппозиции: Фет — великий лирик и Фет — кондовый консерватор, самодур-крепостник, искатель щедрот и милостей при дворе его императорского величества. И, как и вы, артистично разводил руками: бывает же, мол, такое! Вы: «По всей логике тогдашней советской жизни Юрий Трифонов как писатель никак не мог, не должен был состояться...» Отчего же не мог и не должен? Это так же неочевидно, как и то, что «по всей логике» идеологических взглядов Фета он не мог и не должен был состояться как великий, тончайший лирик. Фетовская поэтическая глубина была естественным следствием его, в том числе и политических, взглядов, которые предполагали максимальное сохранение в России состояния органического покоя, не нарушаемого ничем, никакими революционными сдвигами. «Учись у них, у дуба, у березы...» — то есть терпению, стойкости, неколебимости...

Конечно, Трифонов — писатель другого сознания и другой эпохи; прямые аналогии тут опасны. Но не кажется ли вам, что психологическая глубина трифоновских вещей в какой-то степени была следствием той тщательно оберегаемой им «автономии», в том числе и от радикально диссидентских кругов, которую вы объясняете его трусостью, конформизмом. Ну, не хотел он в Америке кричать о страданиях русской интеллигенции под коммунистами! Не хотел вместе с американцами рыдать о правах человека! Конечно, это крайне щепетильный вопрос — о том, обязан писатель или нет поднимать голос в защиту униженных и оскорбленных. Трифонов от этого сознательно уклонялся. Ему важно было другое — художественное оправдание

своего времени. Именно оправдание, а не осуждение. Почему-то такая простая мысль не приходит тем, кто жаждет видеть в Трифонове союзника по борьбе со сталинским наследием и прочее. Для него все это было частностью, быть может. А главной была, например, тема безотцовщины, которая проходит и в «Студентах», и в «Доме на набережной». Или тема Москвы... Что ни говорите, а московские пейзажи в «Студентах» — замечательные! Снег, фонари, бульвары. Они что — тоже «под коммунистами»?

— И для меня Трифонов — не пустой звук! Сложность загадки и привлекала: реальный, в противоречиях, он мне ближе. Вы за меня ответили о Трифонове-диссиденте, Трифонове — альтернативе Солженицына, удобной и власти, и читателю. Только вот насчет парадоксальной оппозиции возражу. Я-то пишу об обратном: о парадоксальной гармонии у Юрия Трифонова, о единстве или, вашим языком, о том, что мухи попали в фарш, то есть в котлеты. Статья Льва Аннинского мне понравилась своей остроумной игрой с цитатами из Дружников. Я вижу в Фете Аннинского ту же парадоксальную гармонию, а не оппозицию. Удивляюсь только, почему в Фете он ее утвердил, а в моем портрете Трифонова осуждает.

Конечно, Трифонов — писатель советский, а какой же еще? Он родился и умер при советской власти, был членом ССП, ни строки не опубликовал без советской цензуры, публично ругал Запад и остерегался Самиздата. Как ни парадоксально, чем известней в мире он становился, тем больше осторожничал, хотя уже мог поднять голос без особого риска для себя. Он хороший советский писатель. Когда было нельзя, не был либерален (студенты травят космополита), когда можно, стал таковым в дозированной мере. Снег, фонари, бульвары мне тоже нравятся, но не в силах я рассматривать котлеты вне мух.

«По всей логике не мог состояться...» Ибо чудо, что сын репрессированного отца и матери попал в Литинститут. Вдвойне чудо, когда Федин, не читая, рекомендовал его дипломную повесть для «Нового мира», втройне чудо, что получил Сталинскую премию. Подсознательная тема безотцовщины... Я ее оставил для психоаналитиков, им бы поинтересоваться феноменом Трифонова. А вне психоанализа сын умело использовал

отца — героя Гражданской войны в качестве подпорки. Я только начал копать историю Валентина Трифонова. Если б был Божий процесс, а la Нюрнбергский, его посчитали бы одним из главных преступников — столько людей загубил кровавый прокурор. Автономия Трифонова? Какая автономия, когда он по заданию ЦК едет к западногерманским коммунистам успокаивать их возмущение по поводу борьбы с инакомыслящими в СССР? Он сам мне говорил: мол, попросили, надо. Художественное оправдание времени, говорите вы? Вот это-то и страшно, потому-то он и советский, что не осуждал, а художественно оправдывал время, которое нельзя оправдывать.

Если я должен что-то прибавить к давно опубликованному мною и изрядно обруганному, но плохо доступному для широкого российского читателя очерку «Судьба Трифонова», скажу: я аккумулирую все точки зрения. Включая, разумеется, собственную, — иначе для чего же писать? Рассматриваю со всех доступных мне сторон — и то, что он талантливый прозаик, утверждаю, а не оговариваюсь. При этом открыт любым новым углам зрения, буде таковые возникнут.

— И последний вопрос, Юрий Ильич. Читая вашу книгу, я неожиданно подумал: чем, собственно, болеет этот человек? Вам не кажется, что ваша духовная родина осталась (может, и вопреки вашим желаниям) в области тех мифов, с которыми вы сражаетесь. Не борьба ли это с самим собой?

— Для меня писательство — не борьба, не сражение и не разоблачение. Я этих слов вообще стараюсь избегать, даже устно. Мое дело — тихая сосредоточенная работа дома и в архивах разных стран. Я провел в архивах и библиотеках треть сознательной жизни. Так получилось, что части русских писателей от Гоголя, Тургенева, Достоевского до Бунина и Замyatина, да тому же Куприну, Набокову, Солженицыну, Синявскому, Копелеву пришлось подолгу работать вдали от духовной родины. Сегодня у нас есть телефон, факс, e-mail. Впрочем, если половину моих книг и сегодня остерегаются печатать в Москве и Петербурге, то кто же остается в области тех мифов? Я пишу о прошлом, думая о нынешнем, а снится мне здоровая Россия.

РОМАН КАК КАТАРСИС

*Ответы на вопросы участников Варшавской
конференции по современному роману (2000)*

«Кризис или метаморфозы: судьба романа на рубеже эпох». Варшава, 2001.

1. Переживает ли кризис американский роман сегодня и чем отличается ситуация в литературах русской, европейской, американской?

Как это видится из Америки, кризис романа есть часть кризиса печатной литературы вообще, связанного с развитием телевидения, большей мобильностью человечества и, особенно, возможностями Интернета. Но в узком смысле рискну сказать: для тех, кто этот жанр разрабатывает, кризис жанра — не так уж плохо. Кризис привлекает к себе внимание, концентрирует силы авторов и теоретиков литературы и в результате может быть преодолен. Да и вообще, много ли мы можем назвать в истории литературы жанров, которые умерли, не дав семян? Некоторые, правда, так теперь не называются, например, сага, ода или новеллетта, но они трансформировались в другие жанры и живут.

Надо сказать, что содержание английского слова *prose* — это все, включая газетные статьи, письма, даже отчеты о проделанной работе. Получается по Мольеру: все, что не стихи, то проза, а деление прозы на жанры весьма неконкретно. Определение романа «Ангелы на кончике иглы» будет в этом контексте, очевидно, *fiction* и *novel*, роман-исследование «Узник России» — *non-fiction* и *documentary novel*. В общем виде такой роман, как «Ангелы», стилизованный под документ, идет, как ни странно, от «Капитанской дочки» Пушкина, — это заметил Андрей Синявский. Во французском поле «Ангелы» остаются

романом, а вот «Узник России» называется «интеллектуальной книгой».

В Америке, а может, и шире, кризис романа не состоялся, скорее, имеет место кризис рассказа. Приди О'Генри или Бернард Маламуд в издательство, ему бы вернули дискету с новеллами — сборники считаются сейчас коммерчески невыгодными. Удел рассказчиков — печататься для гарнира «поштучно» на последних страницах журналов, подчас вовсе не литературных. Казалось, роман распался, когда Джон Чивер стал печатать отдельные рассказы про семейство Уопшотов. Но потом они вдруг соединились в хронику жизни одной семьи и стали полноценными эпическими романами. Такая же история повторяется с Джоном Апдайком.

Сходная ситуация, пожалуй, у немцев и французов. Антирассказ и антироман, рожденные школой «вещистов» Алена Роб-Грийе, в качестве экспериментов имеют место, но эпицентр сместился в сторону более глубоких попыток анализа жизни. Слово «новый» вообще опасно своим быстрым дряхлением, и «новый роман» Роб-Грийе безнадежно устарел. Видимо, не случаен успех «Французского завещания» обрусенного француза Андрея Макина. Макин талантливо соединил романтическую, почти детскую русскую повесть про мальчика Алешу — с манерой «Поисков утраченного времени» Марселя Пруста и любовными похождениями сталинского сокола господина Берия, — похождения Берии давно опубликованы в виде фальшивых дневников.

В конце XX столетия на Западе стали популярны романы в жанре «патографии». Некоторую роль тут сыграл и возобновившийся интерес к Фрейду и Юнгу. Патологическая биография Пикассо как морального монстра, нашумевший документальный роман о Джоне Ленноне и работа Пола Джонсона «Интеллектуалы», в которой Лев Толстой предстает перед читателем эдаким сексуальным маньяком, что называется, берут читателя за горло.

В России имеет место не падение значения романа, но исчезновение, как я ее называю, «стадионной литературы». Разницы между поэтом, выкрикивающим стихи в микрофон перед двадцатитысячной аудиторией, и романом с разовым тиражом

три миллиона нет. Эпоха литературы как части пропагандистского аппарата тоталитарного государства кончилась. Прятавшиеся в столах добротные сделанные романы опубликованы. Пора создавать новое, но подъем, связанный с эйфорией бесцензурной и безредакторской печати, привел к суе и падению писательской культуры. Читаешь — хочется взять карандаш и у авторов, получающих премии, начать вычеркивать лишние фразы и целые страницы.

Развитие теории романа, беря все ценное в мировой литературе, все меньше делится по языкам и континентам, чего не скажешь о дроблении самой литературы по странам. Это по-прежнему национальные интересы: финансовые, этнические, политические. В США не любят ни европейских фильмов, ни романов, во Франции у американских писателей видят негибкость чувств, интеллектуальный инфантилизм и справедливо боятся «кока-кольной культуры». В России проходят граблями по книгам, изданным в других странах до введения копирайта (чтобы не платить), определяя качество романа по числу трупов в нем. Убивать своих героев самыми гнусными методами взялись сегодня и хорошие писатели.

Тенденция, которая огорчает в сегодняшней Америке, связана не с расовыми проблемами, как это было раньше в США и остается в некоторых странах, но — с размежеванием литературы и, в частности, романа, на три ветви: общая (или условно, мужская), женская и для гомосексуалистов, причем быстро растут и поощряются обществом последние две ветви. Мне приходилось не раз высказываться устно и в печати, что единственно возможная дифференциация — на литературу хорошую, посредственную и плохую. Роман для гомосексуалистов, в котором действуют положительные герои соответствующей сексуальной ориентации, окруженные врагами гетеросексуалистами, напоминает идеальное произведение социалистического реализма. Молодые писатели охотно берутся за такую тему, надеясь на благосклонное внимание издательства. Поэтому на вопрос «Как вам нравится молодая американская литература?» — отвечаю как в анекдоте: «Читать люблю, а так нет».

2. Существуют ли сегодня литературные авторитеты для американских и русских писателей, а также писателей-эмигрантов?

У американских писателей, кого знаю, авторитетов чаще нет, а если настаиваете, русскому из вежливости ответят: Толстой, или Чехов, или Достоевский (часто от незнания других), хотя в текстах вы этого не обнаружите, разве что формулу Достоевского, что, кроме счастья, человеку точно также необходимо несчастье. Человек, по Достоевскому, не делает выбора между добром и злом. Он, как поезд, все время двигается по маршруту «добро — зло» и обратно.

Герман Мелвилл, метавшийся в долгах как Достоевский, провел некоторое время в специфических условиях, даже, может, посложнее: не в остроге, как автор «Записок из Мертвого дома», а — среди людоедов. Так вот, Мелвилл считает, что в споре добра и зла победы быть не может, но у индивида есть шанс возвыситься над добром и злом. Эта философия близка Андрею Платонову. Один молодой калифорнийский писатель, анализируя роман «Ангелы на кончике иглы», написал: «Здесь добро превращается в зло, в зле прорастают цветы добра, и их снова затаптывает зло, но остается Надежда». Он имел в виду героиню романа, остающуюся в живых. Как видим, старые авторитеты живы.

Чеслав Милош, коллега по Калифорнийскому университету, сказал не так давно: «Сегодня мы все эмигранты. Все мы приходим из каких-нибудь забытых деревушек, из какого-то затерянного прошлого». И все же одно дело — эмиграция из Советского Союза в новую Россию или из социалистической Польши в капиталистическую без смены адреса, и совсем другое — реальная. Развивая эту мысль, жизнь мою можно разделить на четыре этапа.

Сперва обычная биография: жизнь, когда лучше не задумываться, ибо, если задумаешься, понимаешь, что лучше не быть писателем. Неудачник, начинающий карьеру советского писателя, с полным разочарованием. Замкнутый круг: нельзя, не годится, не подходит, не публикательно. Второй этап — внутренняя эмиграция: стремление к независимости, попытки

вырваться из сетей, из клетки, из-под колпака, Самиздат, духовное освобождение при наличии еще большей несвободы из-за гнета надзирающих инстанций, десять лет подвешенного состояния, когда в душе уже уехал, а физически раб системы и живешь без прав, без средств к существованию, изгоем общества и заложником собственных сочинений. Советские власти вели себя в точности, как чеченские террористы: они торговались с Конгрессом США о выкупе, а мне грозили психушкой и лагерем.

Третий этап — эмиграция внешняя: в Америке — полная свобода, реализация планов, выход книг, которые постепенно переиздаются в новой России, выступления по всему миру. Эпиграф этого времени — слова Томаса Манна: «Где я, там немецкая культура», только слово «немецкая» заменено на «русская». Продолжаю святое дело Набокова, посвящая американцев в русскую литературу и культуру. Мои студенты — будущие журналисты, дипломаты, переводчики, преподаватели. Сформировался я поздно, что тоже хорошо, ибо проза требует образования и жизненного опыта. У меня таких опытов три: советский, антисоветский и американский — почти гармонично уживаются вместе. Четвертый этап: снова пора недовольства, генетическое диссидентство, проявляющееся в анализе Америки и западного мира, сатира и гротеск — теперь на эмигрантском и американском материале. При этом вторая вспышка диссидентства протекает, как вторая беременность, легче и спокойнее. Мне повезло в том, что я оказался советским неудачником.

Относительно авторитетов и преемственности мой опыт в основном негативный, а если и имеет место, то опыт собирательный, от многих авторов-предшественников, а не от одного. Не очень верится в то, что Пушкин вдохнул жизнь в Гоголя (об этой мифологии я писал) или, ближе к нашему времени, например, что Ахматова благословила Бродского (о чем писать не буду). Мне понятнее признание Булата Окуджавы, что Пастернак его за поэта не признал, ничем не помог, и Булат выбивался в люди сам. Писатели в большинстве по природе эгоисты и ревнивы к чужим успехам. Как говорится, русскому писателю мало, чтобы его хвалили, ему надо, чтобы ругали других.

Знаю одного известного поэта, который годами собирал возле себя талантливую молодежь, обещая помочь напечатать первую книгу. Он умело брал у молодых свежие идеи, а на их рукописи писал в издательство тайные разносные рецензии. Не хочу называть известных имен старших коллег, но мой вход в литературу знаменовался не помощью этих писателей, а их полным равнодушием, а то и страхом подать при встрече руку изгою, исключенному из Союза писателей. Когда запретили ставить мою пьесу «Отец на час» (она была в рукописи в Министерстве культуры), драматург, который раньше написал хорошую внутреннюю рецензию, узнав, что я в черных списках, быстро запустил пьесу на мой сюжет, и она пошла в театрах.

Жизнь против течения не способствует следованию авторитетам, но портреты на стенах остаются. Для меня это французские прозаики XIX века, маркиз де Кюстин, в XX веке — целая вереница американцев. В русской метрополии да и в эмиграции, несмотря на подтачивание корней, авторитеты остаются даже среди нигилистов-постмодернистов. Сколько бы они ни говорили, что старая литература умерла, что вынуждены начинать на голом месте, они ведь выросли на старой литературе. Как болезнь: не может быть болезни без организма. Но сегодня в авторитетах такой разброс и настолько это индивидуально и переменчиво, что я бы поостерегся указывать пальцем.

Немало написано про то, что писатель в эмиграции живет в литературной провинции, а авторитеты русской писательской жизни живут в Москве. Что писатель отрывается от среды, которая его создала. По-моему, географический фактор — дело второстепенное, среда создает посредственных писателей, а настоящих создает не среда, а они сами себя, и они создают среду, а не наоборот. Иногда авторитеты только подавляют. Ну, а если они есть, то множественность авторитетов — лучше, чем один.

Польская эмиграция, как и эмиграции из других стран Европы (Франция, Англия, Испания, Ирландия, Германия), стала интегральной частью общей культурной традиции, чего никак не скажешь о России спустя десять лет после падения советской системы. Причины происходящего требуют особого ана-

лиза, но они не административные, а, сказал бы, исторические, этнические, психологические, моральные. Расхождения больше в этике, в манере жить и писать, в терпимости и нетерпимости, в видении перспективы развития, нежели в политике.

Хотя свобода высказывания в России имеет место, старые подходы живы, иногда принимают форму рецидивов. Если читаю свою публикацию в московском журнале, то ищу, что выкинуто. Трещина между писателем-эмигрантом и его материковыми (прошу прощения, но, может, точнее сказать — матерковыми?) критиками остается непреодоленной. Эмигрант и антиэмигрант весьма часто говорят на разных языках, хотя оба языка — русские. Тенденция к гегемонизму, имперское мышление («Кто главней? Он нас будет учить!» и пр.), а отсюда неприятие чужого мнения, даже злоба по отношению к писателю, живущему за границей, поиски врагов, — и сегодня (чувствую на себе) свидетельствуют о глубокой болезни культуры в России, которая только внешне, да и то не полностью, избавилась от старой моноидеологии. Это «культура бескультурия», используя выражение Умберто Эко. Между тем, вижу, как бережно сохраняется русская культура в эмиграции и как она рушится в России. Похоже, тенденция эта, по меньшей мере, в обозримом будущем сохранится. Эмигрантологии, детищу Люциана Суханека, предстоит плодотворная жизнь.

3. Как занятия историей литературы отзываются в литературной практике? Какое место в вашем увлечении жанром микроромана занимают теория и практика?

Говорят, каждая эпоха имеет свой жанр, и мне кажется, жанр нашей эпохи — микророман. Хочу подчеркнуть, что никто не установил декретом размер романа. 200 страниц вроде бы считаются в Америке наиболее коммерчески выгодными для издателя. Но есть законы жанра, традиции, видение автора, наконец, читательский спрос, которые важнее размера. Если эти аргументы принимаются, то объем может меняться. Скажем, такой вопрос: должна ли проза измениться под влиянием Интернета? Смешно сказать, в Америке я снова стал автором Самиздата, поскольку мои романы выпечатывают с Интернета и

дают читать друг другу. Читают люди, в основном, на работе, когда не видит начальник, стало быть, время на прочтение ограничено.

Мотор моего писательства не меняется с годами: удивляюсь, когда собираю материалы, радуюсь, когда приходит хорошая мысль или интересный литературный ход и хочу удивить читателя. Мне не дано выпекать свои вещи, как булки в печке. Чехов, который писал рассказ за вечер, для меня недостижим. Вообще говоря, уверен: писатель создает текст и его обязанность — совершенствовать этот текст всю жизнь. Публикация есть временное состояние авторского текста. Не понимаю писателей (в том числе классиков, при их жизни, конечно), которые переиздаются без улучшений и поправок текста. Получаются «слыхали львы за рощей» и прочее... Временный текст превращается в постоянный только после смерти автора.

Переписываю свои вещи до двадцати раз, иногда больше. Даю им отлежаться, чтобы изрядно забыть и потом видеть текст как бы заново. И вот оказалось, что некоторые рассказы вдруг начинают вести автора, они хотят увеличиваться в размере. Раздумья о теории тут трудно выделить. Технически микророманы родились из рассказов путем постепенного углубления сюжетных линий и обогащения характеров. Только потом начала вырисовываться некая концепция более мускулистого и объемного жанра, который получил название «микророман». В литературных журналах России при печати яростно заменяли «Микророман» на «Рассказ».

Источник моих текстов — жизнь человека. История есть прошлая жизнь человека, литература — ее отражение, а история литературы — отражение этого отражения. Мои литературоведческие работы все-таки прежде всего писательские, а потому более субъективны. Глядя с теоретической колокольни, они априори полемичны, и коль скоро дают пищу исследователям литературы для критики — то это здоровый симптом. Для меня нет деления: это проза чистая, а это — историко-литературная. Роман-исследование — условный жанр, если хотите, литературоведческий или филологический роман.

Эссе о литературе стоят особняком. Тайну близости микророманов и полемических эссе о литературе я долго скрывал,

ибо некоторым американским славистам кажется, что эти эссе недостаточно академичны. Но Веслава Ольбрых обнаружила и доказала сходство. По ее мнению, полемические эссе — те же микророманы (например, о жене Пушкина, об Арине Родионовне или о поисках могилы Хлебникова), только в таких микророманах литературоведческие сюжеты. Сие, конечно, шутка: никакой тайны нет. Веслава Ольбрых собирается писать об этом, что очень интересно.

Сочиняя что-то, я не в состоянии отделить теорию от практики, не хороню никакие жанры литературы, даже старые, наоборот, ищу их следы в новой литературе. Например, в недавнем эссе писал, что ода вовсе не умерла в XVIII веке, поскольку славословие царей (или вождей — все равно) в России сохранилось по сей день. Пушкинские «стансы» с выражением верноподданнических чувств Николаю Первому — это ода, еще никто не опубликовал теоретической работы об одах Ленину, Гитлеру, Сталину, а в России сегодня уже пишутся оды нынешнему президенту.

4. Вы находитесь в похожей ситуации с Умберто Эко: оба теоретики литературы, университетские профессора и писатели. Как Дружников относится к взаимоотношению: прошлое — современность?

Умберто Эко лишь на год старше. У нас обоих — позднее становление как прозаиков, хотя и по разным причинам. Он близок мне своей парадоксальностью, когда утверждает, что между советской газетой «Правда» и нынешней воскресной «Нью-Йорк таймс» в 200 страниц разницы нет: первая газета насквозь лжива, вторая слишком толста — нет смысла тратить время ни на ту, ни на другую. Эко в восторге от Интернета, но говорит, что бесполезно им пользоваться, поскольку по теме Фомы Аквинского (первое сочинение Умберто) компьютер выдает 11 тысяч ссылок, и нельзя объять необъятное.

В то же время Эко — специалист по коммуникациям и Эко — сатирический писатель, работают для двух аудиторий, хотя сам он считает, что пишет «академические романы», то есть аудитория одна. То же и у меня: литературоведческие

вещи — такая же проза, как обычная. Но на этом наши сближения заканчиваются. Увлечение Эко семиотикой (его зовут «семиотиканцем») и постмодернизмом мне чужды. Его гипотезу, что эпоха французского Просвещения была в действительности эпохой постмодернизма, принимаю только как шутку.

К историческому материалу отношусь как к реальности. Ведь он не только был, но и есть, когда пишу. Советский исторический материал отвратителен, он грязный, он мусор. Но в литературе не может быть грязных тем, жанров или стилей — весь вопрос в «как»: как это реализуется писателем. Нет грязных тем, есть грязные авторы. И их сейчас стало полно. Вспоминается история из индийской «Махабхараты». Шли к святому месту паломники. А на дороге перед ними коровьи лепешки. Ведь они идут с благочестивыми намерениями, стало быть, даже взгляд на нечистоты может эти намерения замарать. Паломники решили искупаться в реке, чтобы очиститься. А из коровьих лепешек восстает вдруг бог Индра: «Это я превратился в лепешки, несчастные! Не может быть на земле ничего ни чистого, ни нечистого!»

Инакомыслие проявляется не только в политике, но и в подходе к истории, и в сюжетах, и в жанрах, а также связано с характером писателя. Сатирическое мышление ищет слабые места и соответствующие контексты не только в окружающей жизни, но и в дальней истории. Например, если б я знал польскую историю так же, как русскую, написал бы роман о короле Сигизмунде Третьем. По-моему, произошла трагическая ошибка: поляки захватили огромные территории Московии (то есть, по российской терминологии, освободили). Они уже стоят в Тушино под Москвой. И вдруг уходят. А что, если вывернуть ситуацию наизнанку? Вот тут и завязка сюжета исторического романа.

Сюжет будет такой. Поляки идут в наступление, входят в Москву и там остаются. Шведы этому не противятся, ведь Сигизмунд — свой парень, и его сын Владислав становится русским царем. Перелом русской истории: Россия становится колонией Польши. Благодаря этому вскоре отменяется крепостное право. Позже польский сейм распространяет конституцию на все освобожденные территории. Для русских открывается

западная граница. Право начинает развиваться в России по меньшей мере на два века раньше, чем это произошло на самом деле. Не появится Российская империя, не будет декабристов, и кровавой борьбы поляков за свободу и, уж самом собой, никакого Ленина — это все не востребовалось бы. Роман этот не напишу, но, может, кто-либо из коллег возьмется за дело? Готов подарить сюжет.

Хочу сказать, что писатель волен не только интерпретировать, но и пародировать историю, и делает это не для того, чтобы исказить исторические факты, а чтобы взглянуть на них свежими глазами.

Самое интересное для меня — возможность завязать в один узел прошлое и современность. Темы висят в воздухе. Например, в «Русских мифах» это сделано с «Электрической жизнью» шутника Альбера Робиды, у которого Ленин, по-моему, списал свои идеи. Недописанным у меня лежит эссе об «Утопии» Томаса Мора. Там ведь у него и всеобщая уравниловка, и лагеря, и тайная полиция, и информанты, и «железный занавес» — все корни тоталитаризма XX века. Через четыре столетия утопия Мора реализовалась на одной шестой суши. В эссе «О человеке, который перестал смеяться через 400 лет» (оно начато давно, а сейчас заканчивается) я утверждаю, что Мор, близкий друг и единомышленник Эразма Роттердамского, писал сатиру, фарс, хохотал над потомками, которые добровольно пойдут в ссылку на остров Утопия, а марксисты приняли издевки всерьез за основы социализма и построили свое учение. Недостаток чувства юмора дорого обошелся человечеству. Где здесь у меня прошлое, где современность, а где чистое писательство, не знаю.

5. Ваш «Узник России» включается в известный цикл произведений о Пушкине Тынянова, Новикова, Леонида Гроссмана. А шире — это роман о судьбе литературы. Расскажите о третьей части трилогии — новом литературоведческом романе «Смерть изгоя».

Пожалуй, реально передо мной висели три других портрета: Набокова, Булгакова и Синявского, которых добавил бы в перечень. К первому меня не выпустили за границу, чтобы уви-

даться, второй присутствовал книгами, с третьим дружил, и он бывал у меня в Калифорнии. Набоков — с его четырехтомником, посвященным «Евгению Онегину», но охватывающим всего поэта, и книгой «Николай Гоголь»; Булгаков с пьесами о Пушкине и Мольере; Синявский — с его «Прогулками с Пушкиным», «В тени Гоголя» и статьями. В Советском Союзе происходила любопытная вещь: о чем только не писали в самиздате и за рубежом, критиковалось все на свете, но пушкинистика оставалась неприкосновенной, как и сам Пушкин. Он как бы накрыл своих биографов могучим крылом.

Тогда-то, в начале восьмидесятых, начал я собирать материалы, сперва намереваясь написать лишь о преследовании пушкинистов, но обнаружилась чудовищная картина: во что превратили поэта, делая из него, по выражению Луначарского, «учителя рабочих и крестьян». Так стал писаться мой «Узник России» и, параллельно, «Русские мифы». Никакой игры, никакой истории наизнанку не было. Центр интересов в том, чтобы узнать: а что было на самом деле и как то, что было, понимается сегодня.

Когда появились российские переиздания, многие пушкинисты старой школы были возмущены, поручали, как водится, своим аспирантам писать рецензии, подчас иезуитские. В то же время в новых статьях обнаруживаю компиляции из моих книг, без ссылок на первоисточник, конечно. Это называется прогрессом пушкинистики.

Роман-исследование «Смерть изгоя» — последняя часть трилогии о Пушкине, увиденном иначе, чем это было принято. Поэт, вернувшийся после неудачной попытки бежать из Арзрума через турецкие порты в Европу, зрелый гений, быстро катится «к закату своему», но снова думает бежать, на этот раз с женой через Польшу. В сплетении известных проблем женатого Пушкина и причинах его смерти, используя разумные элементы теории патобиографии, удалось, как мне кажется, найти новые повороты, поставить небанальные вопросы и ответить на них нетрадиционно. Одновременно это будет печальное повествование об истории пушкинистики и литературоведах, присвоивших себе право трактовать поэта и его окружение в зависимости от политической конъюнктуры.

Журнал «Новое литературное обозрение», который ругал моего «Узника России» и хвалил «Русские мифы» (хотя обе книги в одном ключе), теперь упрекает меня в том, что говорю об отсутствии так называемого «мирового значения» Пушкина и считаю, что оно выдуманно в Пушкинском доме. А я живу полтора десятилетия на Западе и утверждаю, что Пушкина знают в основном слависты, им занимающиеся. Первым русским писателем, всерьез известным в Европе, стал вовсе не Пушкин, а Иван Тургенев.

Полагаю, что книга скоро выйдет, и критики снова разделятся на два лагеря, — на примирение не надеюсь. Одна московская критикесса, стремясь побольнее обидеть, назвала меня юродивым. Горжусь таким титулом. Всю жизнь был идеалистом и занимаюсь русской словесностью по чистой любви, хотя можно было бы не копать в русских мифах, а написать по-английски нечто лолитообразное и коммерциализироваться в американской литературе. Были даже предложения. Впрочем, и Синявского называли юродивым, да и сам Пушкин писал соседке: «Вы ведь знаете, что я юродивый».

6. Если посмотреть на отдельные фрагменты романа «Ангелы на кончике иглы», можно вас заподозрить в особом тяготении к литературе абсурда. Не оказала ли на вас определенного влияния практика обериутов, в первую очередь Хармса и Шварца, западных абсурдистов? А может, также польских (Гомбрович, Виткацы)?

Прежде всего отделил бы абсурд в жизни от абсурда как приема в литературном произведении. Первый абсурд изображается вполне традиционными приемами, второй — когда художник превращает в абсурд нормальные жизненные явления ради своих целей. К этому близок модернистский сюрреализм, одно время очень популярный в Америке (вспомним Генри Миллера), рассчитанный на экстравагантность и эпатаж: вдоль рампы, без всякой связи с пьесой, проходит женщина с обнаженной грудью.

Когда писатель придумывает новую одежду произведения — его желание выделиться, выглядеть новым понятно и

оправдано. Так модница спешит надеть новую одежду. Но в постмодернистском пространстве на рубеже наших столетий эти приемы стали подражанием, да это и понятно: с постмодернистами часто происходит процесс, который Платонов назвал: «В литературу попер читатель».

Я посмеивался над мастерами постмодернизма. А недавно прочитал заявление одного из них: «Помирает литература постмодернизма, приходит новая, вменяемая литература, демонстрирующая «союз сердца и разума». Шок и провокация отменяются. На смену им приходят конструктивные ценности» («Книжное обозрение»). Тут опять шалтай-болтай: не умирает, а всегда была мертвой, чучелом, которое пытались анимировать. Не приходит новая вменяемая литература сердца и ума, а нигде не уходила. Постмодернисты сами загнали себя в тупик, а теперь, когда интерес к ним потерян и они оказались на задворках литературы, прыгают с тонущей лодки и плывут к берегу.

Абсурдность у меня в прозе — это не обязательно прием, а, так сказать, домысливание жизни, и тут важно чувство меры. Вообще-то применительно к своим вещам предпочитаю чаще пользоваться не термином «абсурд», а своим словом «парадоксизм». Парадоксальное содержание текста, мыслями и находками противоречащее общепринятому мнению. Не я первый, конечно. Любовь к «истине в ризах парадокса» отмечалась, скажем, у философа Константина Леонтьева. Добавил бы, что без поиска парадоксов в жизни, обнаружения спорных мест в писаниях старых мастеров слова — не только нет совершенствования литературы, но и просто скучно писать. Тут может быть какая угодно гипербола. Но если идти бесконечно далеко, то прием будет противоречить здравому смыслу, превратится в нелепицу, в абсурд ради абсурда. Мне кажется, перед этим я останавливаюсь, грань не перехожу, ибо цель моя — в конечном счете доказать разумное. Как заметил французский сатирик Николя Шамфор, «все те, с кого я писал, еще живы».

В остальном, можно сказать, что я инакомыслящий традиционалист, ибо для меня важны история, биография писателя, его творчество и на основе этого анализ произведений. А если ухожу от традиции, необходимость отказа от нее тоже должен внутренне мотивировать.

Относительно влияния чужих идей скажу: наверное, влияния были разные. Но ни Хармс, ни Шварц, ни Ионеско не были моими кумирами, хотя они замечательные писатели. Должен признаться, что бывает и обратное: сначала что-то придумаешь, а потом находишь подобный литературный прием у других. Конечно, это изобретение велосипеда, но в литературе часто случается, что новое — хорошо забытое старое. Вряд ли можно говорить о влиянии на меня Витольда Гомбровича, с повестью «Фердиурочка» которого познакомился уже в эмиграции. А вот судьбу свою с его судьбой сравнивал не раз и в чем-то повторял его жизнь. Роман Виткацы «Ненасытность» надо, мне думается, поставить рядом с романами Замятина, Оруэлла, Хаксли. Всех их чту, но, за исключением некоторых экспериментов, к ногам моим привязан якорь исторической реальности. Если залетаю в утопию, как Виткацы, то ненадолго и только если очень необходимо, а после снова сажусь на землю: тут мне интереснее.

7. Какое место в вашей литературной практике и в художественном сознании занимает польская литература?

Это отдельная большая тема, но если коротко сказать, то особое. Книги польских авторов, старых и новых, переведенные на русский, не без трудностей проследовали со мной в эмиграцию и сейчас у меня на полках перед глазами.

Конечно, мы с поляками отбывали срок в одном лагере, но польский барак был теплее, он был за границей, он был в настоящей Европе. В шестидесятые годы польские авторы меня увлекали, и я начал немного читать по-польски, но в Польшу меня выпустили из Москвы только раз, да и то на три часа, а потом поезд вернули, так как началась интервенция в Чехословакию. Впрочем, об этом рассказано в послесловии к роману «Ангелы на кончике иглы». Теперь в Польше бываю чаще, чем в Москве.

Запрещенные русские писатели (включая вашего покорного слугу) возвращаются в Россию через Польшу. Так было в советское время, когда проклятого Москвой Солженицына в Варшаве печатали в переводах на польский. Позже здесь пе-

реводили многих запрещенных в других странах авторов. В 1990 году мой «Доносчик 001» вышел по-польски в Варшаве, когда в России централизованно обругивали лондонское издание книги. Два человека первыми тепло написали о книге в Америке, обратив на нее внимание: Збигнев Бжезинский и Александр Солженицын. На польском раньше, чем на английском языке, вышли мои «Русские мифы», готовится к изданию роман «Ангелы на кончике иглы», книга микророманов. Стало быть, надеюсь, симпатии взаимны.

В Польше, кстати, можно сказать, что роман процветает.

Когда приезжаю в любой город, первым делом иду в книжные магазины. И будь то Варшава, Нью-Йорк, Париж, Мюнхен, Ванкувер, Сан-Франциско, Цюрих, Лондон, Сидней, Москва или города поменьше, — вижу, что у книжных развалов полно людей всех возрастов. Люди ищут не только детективы. Всегда были и есть читатели, которым нужны хорошие романы. Роман как жанр — живой организм, меняется и он, и его теория. Мне кажется, то, что происходит сегодня, можно (и это доказывают наши споры) назвать выходом из кризиса, катарсисом романа. Как трагедия во времена Аристотеля, хороший роман сегодня дает читателю шанс испытать духовную разрядку, которая в хаосе современного мира жизненно необходима.

V

МИНИАТЮРЫ

ВЫБРАННОЕ МЕСТО ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рассказ

Перевод с английского

Юрию Дружникову. Имейл: *druzhnikov@uc.edu*
«Профессор Дружников, это Трик из вашего класса Russian-121, тот самый бритоголовый, который всегда задает вопросы, и, как некоторые считают, смешной. Ваша книга о советском герое Павлике Морозове произвела на меня глубокое впечатление. Сообщаю, что тоненькая русская девочка, которая сидит сзади меня (ее имя звучит как Маш-ша), сегодня на контрольной перешептывалась с другой русской, ее подружкой, и та подсказывала ей ответы. Я точно знаю, что Маш-ша списывала в те моменты, когда вы отвечали кому-нибудь на вопрос и не могли следить. Например, хотя они перешептывались по-русски, я несомненно различил слова «Оруэлл» и «Солженицын». Мистер Оруэлл и мистер Солженицын гуляли шепотом между ними туда-сюда минимум четыре раза. Когда это сошло незамеченным, Маш-ша вообще потеряла честь и списывала все подряд.

Примите меры и зорко следите за этой девочкой, потому что она не уважает Оруэлла и Солженицына, обманывает вас, класс Russian-121, университет, Соединенные Штаты Америки и все мировое сообщество.

Прошу держать этот имейл в строгой тайне. Преданный вам студент Трик Келли».

Юрию Дружникову. Имейл: druzhnikov@uc.edu

«Профессор Дружников, прошло два дня с тех пор, как я отправил вам имейл с информацией о студентке, которая спи-

сывала на контрольной, но ответа не получил. Если вы нуждаетесь в доказательствах, что она будет списывать на следующей контрольной, то, поскольку я по-русски не понимаю, дайте мне карманный диктофон, которым вы записываете свои лекции, я сяду поближе к Маш-ше и запишу все на пленку. Преданный вам студент Трик Келли».

Трику Келли. Имейл: tkelley@uc.edu

«Не беспокойтесь, Трик. Я разберусь и приму необходимые меры. Дружников».

Юрию Дружникову. Имейл: druzhnikov@uc.edu

«Профессор Дружников! Как же мне не беспокоиться? Я просто вне себя от происходящего. Прошло четыре дня с тех пор, как я отправил вам имейл с информацией о той, которая списывала на контрольной, но в классе о наказании студентки ничего не объявлено. Я решил сообщить о вашей бездеятельности в отношении этой студентки в Юридический отдел университета, хотя меня слегка смущает, что придется там встретиться с этой студенткой лицом к лицу. Что делать, не знаю, не могу спать спокойно. Преданный вам студент Трик Келли».

Трику Келли. Имейл: tkelley@uc.edu

«Писать в Юридический отдел не надо. Если не спится, сосредоточьтесь на чтении романа «Бесы», по которому скоро контрольная. Дружников».

Юрию Дружникову. Имейл: druzhnikov@uc.edu

«Профессор Дружников, меня тревожит неизвестность. Приняли ли вы уже необходимые строгие меры по отношению к студентке Маш-ше, которая сидит сзади меня? Выяснилось, что в Юридическом отделе университета лицом к лицу встречаться не надо, поэтому я пошел туда. Там мне сказали, что списывание является серьезным преступлением и может наказываться исключением из университета. Я сообщил им, что вы не приняли мер по предотвращению списывания этой студенткой. Но мне объяснили, что у профессора должны быть веские доказательства списывания, поэтому даю дополнительные све-

дения. Накануне контрольной я пригласил Маш-шу в кафе «Рома» выпить кофе, а она со мной не пошла, сказала, что ей надо готовиться к вашей контрольной. Но раз она списывала, значит, не готовилась. Спрашивается, что же она делала в тот вечер, когда отказалась пойти со мной в кафе «Рома» пить кофе? Преданный вам студент Трик Келли».

Кафедра немецкой и русской литературы, Юрию Дружникову. Имейл: druzhnikov@uc.edu

«Дорогой профессор Дружников, по информации студента вашего класса Russian-121 Трика Келли (Номер Социального Страхования 438-99-7165) студентка Маш-ша, фамилии которой заявитель не знает, списывала во время контрольной. Хотите ли вы, чтобы наш отдел, выяснив данные этой студентки, начал административную процедуру, передав дело в деканат и комитет по изменению оценок? Просьба представить нам списанные работы и другие доказательства. С уважением, Мелисса Каррингтон, Юридический отдел».

Юридический отдел, Мелиссе Каррингтон. Имейл: melissacar@uc.edu

«Дорогая Мелисса, спасибо за письмо. В данный момент я лично занимаюсь этим важным вопросом и, в частности, тем, насколько доказательна жалоба студента Келли. Никаких шагов Юридического отдела не требуется. Объективную оценку студентке я выставлю сам, тем более, что я член комитета по изменению оценок. Как только мне понадобится помощь, непременно дам вам знать. Дружников».

Юрию Дружникову. Имейл: druzhnikov@uc.edu

«Профессор Дружников, завтра утром контрольная, а я не имел времени прочитать роман Достоевского «Бесы», так как собирал для вас важную информацию. Сообщаю новые сведения в доказательство того, что студентка Маш-ша совершенно точно не готовилась к контрольной, а значит, не могла не списывать. Студент из класса Russian-121 Фатаурари Тахлахацариат признался мне, что накануне контрольной он проводил время с Маш-шей в кафе «Синяя борода». Тот факт, что она

отказалась пойти в кафе «Рома» со мной, а проводила время со студентом из Эфиопии в кафе «Синяя борода», является анти-семитизмом и расовой дискриминацией. Об этом я вынужден сообщить в Комитет по защите прав человека. Прошу вас сделать для меня контрольную по «Бесам» на следующей неделе. Преданный вам студент Трик Келли».

Трику Келли. Имейл: tkelley@uc.edu

«Завтрашняя контрольная по «Бесам» не может быть для вас отложена, ибо через неделю финальный экзамен. Дружников».

Юрию Дружникову. Имейл: druzhnikov@uc.edu

«Студентка Маш-ша, как я выяснил у ее эфиопского приятеля Фатауари Тахлахацариата, прочитала «Бесов» и хорошо знает материал. Маш-ша раньше называла меня смешным, а теперь согласна во время контрольной дать мне списать ответы, но я боюсь, что вы сообщите об этом в Юридический отдел. Трик Келли».

Трику Келли. Имейл: tkelley@uc.edu

«Я не сообщу ни в Юридический отдел, ни всему мировому сообществу, но, как вам известно, списывание является серьезным преступлением и может наказываться исключением из университета. Ваша оценка за контрольную будет адекватно снижена. До финального экзамена прошу внимательно перечитать «Доносчика 001, или Вознесение Павлика Морозова» и посетить меня в приемные часы для повторного обсуждения этой книги».

Сан-Франциско, 2000

HOMO SOVOKUS

Рассказ

— Юру попрошу.

— Слушаю.

— Юраша, привет! Не узнал?

— Пока нет.

— Ха! Не узнал, потому что ты меня не знаешь. Я тут щас в Америке, точнее, в Нью-Йорке.

— Понятно. Давайте перезвоню, чтобы вам не тратиться.

— Зачем перезванивать? Не беспокойся, я коллект звоню, за твой счет. Ты, собственно, где находишься-то?

— Я? Дома...

— Ясно, что дома, а дом-то где?

— В Калифорнии, где же...

— Так я и рассчитывал. Хорошо, что в Калифорнии...

— Простите, а как вас зовут?

— Допустим, Жора, но это не важно.

— А что важно?

— То, что мне скоро обратно в Москву ехать, а я еще этот, как его, Лос-Анджелес хотел охватить.

— Интересный город...

— Во! И я так считаю. Мне, собственно, чего надо: Нью-Йорк я уже освоил, теперь перебрось меня с этого берега на твой, в Лос-Анджелес. Ну, если подаришь хороший видюшник, только новый, конечно, не откажусь. Главное, сперва перебрось. У меня с финансами, сам понимаешь...

— Перебросить? Сейчас, Жора. Бегу, завожу мотор, взлетаю. Но вам придется подождать, пока долечу. От нас полета до Нью-Йорка часов семь.

— Во дает! Самолет свой... Это ж меняет дело! Мне Крюк про твой самолет ничего не сообщил...

— Кто это — Крюк?

— Ну Димка Крюковский — щас перспективное дело в Москве раскручивает. Вспомнил?

— Не знаю такого.

— Зато он тебя знает! Говорил, что его сосед Штукович в Америку ездил и тебя по нью-йоркскому радио слышал. Врубился теперь?

— Нет, еще не совсем врубился.

— Совсем и не обязательно! Свой самолет, а! Я-то рассчитывал, ты мне только билет купишь, этот... раунд трип, и все дела. А коли самолет, другой разговор... Слушай, давай по дороге в Канаду сгоняем, я в Монреале к дубленке приценюсь, о'кей? У нас опять гайки закручивают, а у вас тут свобода и изобилие, надо помогать соотечественникам. Если не хватит, ты мне сотен пять-десять подкинешь в порядке гуманитарной помощи, — не забудь с собой взять. Жду тебя, друг, в аэропорту Джей-Эф-Кей, возле «Макдональдса». Знаешь? Кстати, яхта у тебя на ходу? Она где?

— Яхта?! Ах, да, яхта... Тут рядом... на Тихом океане.

— То-то же! Народу известно, что у тебя шикарная яхта. Значит, в кругосветку ходишь? Ну, в кругосветку мне щас не надо, лучше прошвырнемся вдоль Южной Америки.

— Ладно! Сажусь в самолет и за вами вылетаю. Только вот проблема: на чем лететь?

— В каком смысле?

— Самолета-то у меня два: «Боинг» и этот, как его, «Дуглас». Какой предпочитаете?

— Шутишь, что ли? Ах, шутишь!.. Тогда, может, на яхте за мной приплывешь?

— Приплыл бы, да из Тихого в Атлантику через Панамский канал идти, там таможенная пошлина высокая. И потом, долго...

— Не! Долго меня не устроит... Ладно, закажи по телефону билет, всего-то и делов. Шутить со мной не надо.

— Это вы меня расшучиваете. Купить билет не могу, он будет стоить сейчас тыщи полторы.

— Отказываешь? Странно... А в Москве болтают, ты тут процветаешь... Коли деньги кончились, пойдй на улицу, нажми кнопку в автомате да выгреби.

— Вот вы и выгребайте, если это так просто.

— Уже пробовал, ногами по нему колотил. Не дает, сука, приедем! Ну, если не билет, хоть обед-то можешь мне по телефону заказать? Тут вот ресторан рядом — «Русский самовар». У нас в стране голод, сам понимаешь. Жрать охота. Еле долетел сюда, в Нью-Йорк. Щас грохнусь в голодный обморок.

— Простите, я забыл ваше имя.

— Жора, я же сказал!

— Да, Жора, а вы, собственно, по какому делу в Штатах?

— Как по какому? Других посмотреть, себя показать. Чего ж не поехать, если выпускают.

— Действительно! Но у вас тут есть родственники, друзья или коллеги? Может, они за вами прилетят? Я ведь не только вас не знаю, но и про вашего друга Крюка — первый раз слышу. И про Штуковича слыхом не слыхал. Самолет у меня отсутствует. Яхты тоже не имеется. Да и времени лететь или плыть за вами нет: я работаю.

— Ха! Никто не работает, вся Америка сидит у камина, тянет коньячок, ловит фан. А он, видите ли, работает... Значит, не хочешь проявить заботу о своей бывшей родине?

— Давайте закончим этот разговор. Спасибо, что позвонили.

— Ты только не хами! А еще говорят, у американцев традиционное гостеприимство... Ладно. Я вот соображаю: как мне тут вообще остаться? Я сам долечу, мне только у тебя придется пожить. Помоги коллеге обустроиться...

— А у вас какая специальность?

— Широкая.

— Понимаю, а все ж? Если сузиться...

— Допустим, искусствовед.

— Книжки пишете? Лекции читаете?

— Вот именно, близко к этому.

— Как ваша фамилия?

— Зачем тебе моя фамилия, если ты даже билет не хочешь купить? Организуй для меня тур по университетам. Конечно, с питанием.

— Язык у вас свободный?

— Русский-то? Свободней не бывает.

— А английский?

— Зачем? Тебе что, перевести трудно? Я тебе десять процентов буду отстегивать.

— Вы на искусствоведа где учились?

— Я? В тюрьме. За продажу краденых икон три года отсидел. Купи парочку. Перепродашь — заработаешь. Не хочешь? А жалуешься, что денег нету. Кстати, леди у тебя нету подходящей? Само собой, американки, которую можно...

— Можно что?

— Что-что! Я бы женился. Временно, конечно. Ладушки! Давай мне телефон Бобко, он уж точно раскошелится...

— Не знаю я Бобко.

— Даже Бобко не знаешь? Чего же вы все тут делаете, в Америке? Слушай, в ЦРУ у тебя нет своего человечка? Могу им военные секреты продать...

Дейвис, 2000.

ОДНО ЖЕЛАНИЕ

Рассказ

Какое может быть желание у нашего брата-эмигранта? Да самое, можно сказать, скромное, близкое к нулю. Вырваться бы только.

Приехали — черного буханку добыть к бутылке «Смирновской», чтоб отпраздновать начало жизни на второй родине. Ну, апартамент какой-нибудь захудалый — присесть да газетку растелить. Одной спальни более чем достаточно — женщину привести. Хорошо бы днем пиццу развезти за наличные, чтобы вечером в ресторан. Да еще на пяток красных роз и бутылку белого вина, чтобы баба потеплела от моей роскоши. В самолете ведь познакомились, ей обратно в Россию переть.

Ну, двухспальную квартиру уж точно надо: она ведь сказала, что скоро вернется из Рязани с двумя детьми. «Хонду» придется взять, самую ношеную, чтобы встретить их в аэропорту. Хорошо бы пособие до пенсии выдавали, ан нет, надо работенку тыщ на 20 долларов в год. Еще одна квартирка требуется: родители жены из Рязани прибывают. В соседнем городке снял.

Работа мне нужна на 40 тыщ в год, лучше в какой-никакой компьютерной компании. «Тойоту» новую взять, чтобы не стыдно было рядом с сослуживцами парковаться. Жене старенькая «Хонда» жизненно необходима — к парикмахеру и на массаж ездить. Живем — ни своего дома, ни бассейна, ни сауны, ни джакузи. Пришлось купить двухэтажную избенку на три гаража в престижном районе, чтобы как у людей. Детей стало трое, в частную школу отдал.

Желание у меня не Бог весть какое: компанию свою открыть, маленькую, но чтоб командовать. Человек пятьдесят нанять — пускай собирают компьютеры и в третьи страны продают.

Жене «Лексус» купил. Тесть старую мою машину не желает, хочет новый джип. Купил. Сестра жены с мужем, сыном, невестой сына и родными невесты согласились к нам переселиться из Рязани. В письме заказывают квартиру с видом на Белый дом. Так ведь это ж в другом конце Америки! Снял для них с видом на белый забор. Мужа сестры жены к себе взял менеджером.

О каком желании вы спрашиваете, если у меня нет даже предметов первой необходимости: ни дачи на Гавайских островах, ни квартиры на Елисейских Полях? О чем нашему брату-эмигранту мечтать? Какое у меня может быть желание, если мне почти ничего не надо?

Разве что вернуться да развернуться. Пирамиду сообразить, нефть купить, газ купить, сталь купить, алюминий купить, два-три банка купить и соединить. В общем, стать там олигархом: бронированные «Мерседесы», замок в Горках Ленинских, охранники — бывшие чекисты. В Думу избраться, Кремль приручить, страну наладить, в виде 51-го штата к Америке присоединить, стать губернатором штата Россия. Мавзолей Ленина купить, тело Ленина продать, стеклянный саркофаг оставить себе для перспективы сохраниться в веках.

В друзьях-собутыльниках — генеральный прокурор, министры-силовики, еще Алка Пугачева, Мишка Жванецкий, Ирка Хакамада, Мишка Горбачев. Звоню им:

— Ну, что, братва?

— Плохо, — говорят, — затирают, ходу не дают. Мечты о лучшей жизни не достигли предполагаемого максимума в реализации.

— Дуйте, — говорю, — ко мне в Горки Ленинские! Вас пропустят. Все обсудим.

Выглядываю из-за шторы на улицу: приехали, у ворот топчутся.

— Введите, — говорю охранникам.

Какое остается желание? Достаяю из сейфа буханку черного, бутылку «Смирновской». Сажу с гостями, имею фан. Блестяк!

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО КРИМИНАЛА

Рассказ

Молодому американскому пушкинисту недавно удалось обнаружить в архивах Центрального разведывательного управления неопровержимые доказательства ошибки российских средств массовой информации, сообщивших населению о дуэли Пушкина.

Как теперь совершенно точно установлено, дуэль действительно состоялась. Но на самом деле «солнце русской поэзии» выстрелило первым. Дантес, наемник враждебных западных сил, упал.

— Браво! — воскликнул поэт и подбросил вверх пистолет, а за ним шляпу.

Дантес был тяжело ранен в живот. К нему побежали секунданты.

— Погодите радоваться, — мрачно сказал Дантес, превозмогая боль. — Я сделаю свой выстрел.

Он поднял свой пистолет и выстрелил. Пушкин упал, легко раненный в руку. «Солнце русской поэзии» никуда не закатилось и продолжало светить.

Папаша Геккерен будто чувствовал: отпросившись пораньше с работы в Нидерландском посольстве, он дежурил возле лесочка на Черной речке, где происходила дуэль, и привез своего приемного сына в карете домой.

Дантес начал умирать.

Узнав о дуэли, царь Николай Павлович распорядился Пушкина по закону судить справедливым судом, а после суда повесить. В народе стало известно, что нашего любимого Пушкина будут вешать, и толпа стала требовать, чтобы его повесили за ноги, дабы поэт живым дольше любезен был народу.

Дантес умирал долго, а Пушкин сидел в камере, раскладывал пасьянсы и палил из пистолета в угол: на случай, если Дантес выживет, тренировался. Наталья Николаевна говорила дома, что едет к подруге, а сама таскала Дантесу морошку. Она подолгу сидела возле его кровати с надеждой и ожиданием, а Дантес показывал ей на свой тяжело раненый живот и, разводя руки в стороны, отрицательно качал головой.

В свободное от Дантеса время Наталья Николаевна носила Пушкину передачи в тюрьму и подолгу стояла в очереди у окошечка в воротах Петропавловской крепости, чтобы передать ему теплое белье и сухари. Но независимые судьи вынесли решение повесить Пушкина до вынесения приговора. Тогда Наталья Николаевна надела свое лучшее платье и поехала в Зимний дворец. Там она у входа упала на колени и так на коленях дошла до покоев императора.

— Делайте со мной, что хотите, Ваше Величество, — сказала она царю, — но умоляю: не вешайте моего мужа.

Николай Павлович подумал и сказал:

— Поэт в России больше, чем поэт. И поэтому вешать их, поэтов, весьма целесообразно. Однако от этого возникает шум на Западе. А я как раз собираюсь ехать лечиться в Баден-Баден. Зачем мне там эти хлопоты тут? Пускай Пушкин вместо повешения едет в деревню, свободно, но под надзором, и там подумает над собой.

Едва Пушкин уехал, царь попросил у Бенкендорфа ключ от квартиры на два часа, сел верхом и поехал за Натальей Николаевной. А она была подле умирающего Дантеса. Тогда Николай Павлович сказал:

— Пускай скорее умирает, а то Бенкендорф дал мне ключ от своей квартиры только на два часа.

Между прочим, Гоголь тогда гулял по Иерусалиму и вслух читал палестинцам Пушкина на идиш в переводах Надежды Константиновны Крупской.

А в Михайловское, где Пушкин работал над собой, позвонил Белинский и объявил:

— Всё, Саша! На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов.

На что Пушкин ему возразил:

— Ты что, Виссарион, забыл? Я — это, блин, наше всё. А раз я всё, больше никаких могучих дарований быть не может.

Но Белинский попросил:

— Уважь его! Лермонтов — наш человек, он к тебе уже скачет. Окажи содействие. Введи в литературу, как ты ввел Гоголя.

Тут к Пушкину постучался в дверь молодой поэт Лермонтов. Он принес стихотворение «На смерть Дантеса».

— Ну, читай, коли пришел, — нахмурился Пушкин.

— «Погиб Дантес, невольник чести...» — начал с выражением Лермонтов.

Пушкин не стал стихотворение слушать, выхватил бумагу из рук Лермонтова, разорвал на клочки и растоптал.

— Тебя как звать? — спросил Пушкин.

— Миша, — отвечал Лермонтов. — У меня дома еще копия есть. Для Самиздата...

— Это ты, Мишель, зря написал. Обижаешь! Кто у нас невольник чести? Я! Кто наше всё? Тоже я. А ты: «Дантес... Дантес...» Больше так не делай, а то не пушу в литературу русскую, будешь классиком чеченской.

Сидя в деревне, Пушкин принялся переписывать «Евгения Онегина», справедливо решив, что произведение социалистического реализма должно правдиво отражать как, с одной стороны, жизнь, так и, с другой стороны, указания Третьего отделения. А посему беспартийному тунеядцу Онегину не следует убивать правильно понимающего задачи романтизма Ленского. Раз сказано наверху, что поэт в России больше, чем поэт, то пускай Ленский убьет Онегина, тем более, что все равно Евгений — человек лишний. Всех лишних людей надо лишить жизни, и, когда придет настоящий день, проблемы лишнего человека не будет. Пускай потом Тургенев и Гончаров пишут про что-нибудь более важное. Ленский женится на Татьяне, потому что она положительнее Ольги. А генерал женится не на Татьяне, а на Ольге — им, генералам, чем моложе, тем веселей.

Когда Дантес умер и гроб с ним отправили за границу, Пушкин вернулся из заточения в своем имении и тоже решил рвануть кое-куда — других посмотреть и себя показать. Перед отъездом он подарил Толстому сюжет «Анны Карениной», оставшийся за ненадобностью от переделанного «Онегина»,

Чайковскому вручил либретто «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», а Мусоргскому «Бориса Годунова». Хотел еще забрать у Гоголя сюжет «Мертвых душ» и подарить Шостаковичу, но тут как раз Пушкину дали визу в Париж. Там поэт слился с первой волной белой эмиграции, а когда потеплело, стал ездить в Советский Союз и ходить за твердую валюту в музей Пушкина.

Всю жизнь Пушкин никак не мог дожждаться гласности и перестройки. А когда дождался, увидел, что ждал зря. Теперь вокруг него идет вприсядку краснознаменный ансамбль песни и пляски пушкинистов, которых он кормит, а сам Пушкин безмолвствует.

Дейвис, 2001.

ЗАЧЕМ НЕРВИРОВАТЬ ПУШКИНА?

Рассказ

Пришел конверт с вложенным компакт-диском от известной в Америке компании «Минибит», выпускающей компьютерное обеспечение, с предложением воспользоваться их новым «революционным» (так написано в письме) продуктом. Это — «Первый Интертекстуальный Правщик-Интеллектуал» для редактирования любого текста «с целью достижения его совершенства».

«Впервые в истории разработанная квалифицированными инженерами-полиглотами «Минибита» программа помогает достичь высокого качества стиля» (перевожу как можно ближе к тексту). «Она не только уточняет значения слов и выражений во всех грамматических формах, но и редактирует текст, помогая пользователю любого уровня усовершенствовать стиль документа, сделав его более адекватным замыслу. Доведенный до совершенства текст мгновенно переводится на другие языки».

Цена — 250 долларов, но, согласно именному письму, мне вручается бесплатно. «Администрация «Минибита» надеется: когда вы убедитесь в неоспоримых качествах программы, вы напишете о ней критический отзыв. И поскольку «Минибит» предполагает, что вы, как и все американские слависты, к которым мы обращались, очень заняты, то к данному письму прилагается написанный вами отзыв, который можно просто подписать и вложить в оплаченный конверт вместо чека на 250 долларов».

Текст гласил: «Дорогая администрация компании «Минибит»! Не представляю, как я жил раньше, когда мне приходилось самому редактировать бесконечные тексты. Теперь опыт-

ный, умный, интеллигентный автоматический редактор делает всю работу за меня в считанные секунды. От всего сердца благодарю коллективный мозг компании «Минибит». Рекомендую всем моим коллегам, писателям, журналистам и студентам во всех странах мира приобретать новую программу. Это — наш путь к успеху!» Ниже мелко написано: «Подпись поставьте здесь».

Первое желание — отправить пакет обратно или просто выбросить в мусорную корзину. Но жена в тот вечер возвращалась с работы позже, я был голодный и, чтобы скоротать время до обеда, вставил диск в компьютер.

«Welcome! — появилось яркое окно. — Добро пожаловать в программу «Первый Интертекстуальный Правщик-Интеллектуал». Можете называть меня просто «Пи-пи». Зазвучала «Ода к радости» из Девятой симфонии Бетховена, только вместо слов хор (наверное, хор компании «Минибит») пел:

— Пи-пи, пи-пи, пи-пи, пи-пи...

Музыка умолкла, появилось окошко: «Введите текст в редактируемое пространство».

Хм... Что бы такое отредактировать? Впечатываю текст, пришедший на ум первым:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

«Пи-пи» побряхтел, видимо, готовясь к работе.

«Это текст на русском языке? — спросил он после некоторых раздумий. — Нажмите «Yes» или «No». Нажимаю «Yes».

«Это проза?» — «Yes» или «No»? «No».

«Это стихи?» — «Yes» или «No»? «Yes».

Появилось окошко: «По-видимому, у вас имелись трудности при выборе слов для написания данного текста. «Пи-пи» поможет преодолеть неточности стиля и сделать текст безупречным. Кликните: «О'кей».

Пушкин, который тоже смотрел в монитор с портрета Кипренского, отодвинул лиру в сторону и почесал затылок. Хозяином положения стал «Пи-пи».

«Кликните требование усовершенствовать стиль первой строки «Я помню чудное мгновенье». Кликнул. «Ждите. «Пи-пи» анализирует возможности улучшения текста».

«Я помню» — написано достаточно грамотно, но поскольку человеческая память ограничена во времени, точнее сказать «еще не забыл». В выражении «чудное мгновение» слово «чудное» — субъективное преувеличение, а «мгновение» не является точной физической величиной. Окончательно отредактированный текст строки «Я помню чудное мгновенье» следующий:

Я еще не забыл зафиксированную секунду.

«Пи-пи» переходит к редактированию второй строки: «Передо мной явилась ты».

«Передо мной» — неопределенное выражение, без указания, где именно в пространстве. «Явилась» — для существа женского рода неясное движение, носящее мистический характер, следует заменить на «появилась». Отсутствует также мотивировочная установка. «Пи-пи» предлагает следующий вариант строки «Передо мной явилась ты»:

Преградив мне путь, с неясной целью появилась ты.

«В связи с усложнением текстового материала допускается возможность дальнейшего уточнения стиля». «Yes» или «No»?

Пушкин кивнул в знак согласия, и я решительно нажал «Yes».

«По вашему требованию проводится дополнительная коррекция текста. Наиболее вероятно, «чудное мгновение», когда «передо мной явилась ты», — это покупка нового компьютера, дизайн которого представляет собой «гений чистой красоты». К сведению пользователя программы: компьютер на русском языке мужского рода, поэтому логический вариант первых двух строк может быть следующим:

Я еще не забыл зафиксированную секунду:
Тебя поставил я на стол.

«Yes» или «No»?

Пушкин высунул из портрета руку и сам кликнул «No».

«Хотя это ухудшает качество вашего текста, «Пи-пи» возвращается к предыдущему варианту второй строки и переходит к третьей: «Как мимолетное виденье».

«Чтобы ликвидировать «мимолетное видение» на экране, следует увеличить яркость и контрастность монитора». «Yes» или «No»? «No» — глянув на Пушкина, нажал я.

«Ваша основная проблема — отсутствие семантической задачи. Слово «мимолетное» позволяет предложить улучшенный текстовый аналог. Уточненный вариант строки «Как мимолетное виденье» следующий:

Как пролетающее мимо телевидение.

«Yes» или «No»? Опять «No»? Следовательно, проводим максимальную коррекцию строки «Как мимолетное виденье»:

Как НЛО, пролетевший с высокой скоростью.

«Yes» или «No»?

Я хотел нажать «No», но Пушкин придержал мою руку.

— Что это за хреновина — НЛО?

— Видимо, «Неопознанный летающий объект».

— Интересно! — воскликнул Пушкин. — Нажми «Yes».

«Вы сделали правильный выбор, — сообщил «Пи-пи». — Переходим к последней строке: «Как гений чистой красоты».

«Чистая красота» — неправильное словосочетание, так как не существует «грязной красоты». «Чистый» в данном контексте лучше заменить на «умытый». Слово «гений» — не конкретное, для усиления звучания строки используется словосочетание из фразеологического словаря «Пи-пи». Вывести на экран законченный текст целиком? «Yes» или «No»?

Пушкин длинным ногтем на мизинце нажал «Yes».

Я еще не забыл зафиксированную секунду:

Преградив мне путь, с неясной целью появилась ты,

Как НЛО, пролетевший с высокой скоростью,

Как умытый лауреат Нобелевской премии.

Схватив отставленную в сторону лиру, Пушкин размахнулся, чтобы запустить ею в монитор, но, передумав, поставил ее на стол и только выругался, не скажу, как. Он спросил:

— А что это — Нобелевская?

— Это премия, которой ты не получил, поскольку преждевременно умер...

Мы никак не отреагировали на прочитанное, и появилась надпись: «Усовершенствование стиля текстового материала успешно завершено. Однако вначале вы указали, что это стихи, и «Пи-пи» напоминает, что в стихах необходимы созвучные окончания, называемые рифмами. Зарифмовать указанный текст? «Yes» или «No»?

Я кликнул «Yes».

«Мудрое решение. Вы получаете возможность убедиться в высоком качестве нашей программы. «Пи-пи» предлагает доведенный до совершенства текст вашего черновика в виде стихотворения с рифмами»:

Я еще не забыл зафиксированную секунду:

Преградив мне путь, с неясной целью появилась ты.

Как НЛО, пролетевший с высокой скоростью в Пицунду,

Как умытый лауреат Нобелевской премии... бинты, болты, винты,

Воркуты, дурноты, духоты, зонты, киты, клеветы, коты, красоты,

кресты, мосты, наготы, нищеты, слепоты, срамоты, суеты, тахты,

хомуты, хрипоты, цветы, шуты...

— Хватит, хватит! — Пушкин замахал руками.

«Демонстрируя свои неограниченные возможности, «Пи-пи» производит нужные рифмы в алфавитном порядке».

— Ишь ты! — похвалил Пушкин. — А еще чего-либо с этим текстовым материалом сотворить нельзя?

Как в воду глядел! Появилось окошко: «Теперь ваш текст пригоден для перевода. Напоминаем, что «Пи-пи» с абсолютным совершенством переводит тексты на двадцать восемь основных языков мира. Высветите языки, на которые перевести текст, и кликните «Перевод».

Переводить я не стал: зачем нервировать Пушкина? Он уже и так упер взгляд в пластмассовую копию своего пистолета, которая висит у меня на стене.

Тут как раз жена пришла, и запахло обедом. Пушкин потянул носом воздух, вылез из портрета Кипренского, пнул меня коленкой в бок и с выражением прочитал текст Грибоедова, улучшенный с целью достижения совершенства:

Вон из Калифорнии, сюда я больше не ездук!
Похиляю без оглядки вокруг земного шара на аэробусе
Искать, где лишенцу из России есть адресок, городок, дружок,
задок, итог, кабачок, особнячок, острог, плевок, погребок, пупок,
совок, теремок, уголок, хуторок, чертог, эпилог...

Дейвис, 2001

ПЕСЕНКА О ТРЕУГОЛЬНИКЕ

Пародия на детские стихи

События в классе том шли, как на киноэкране.

(Советская школа)

Сидела за партой, второй у окна,

Весьма симпатичная девочка Аня.

(А дальше крамола)

В окно почему-то печально глядела она.

С ней рядом сидел очень умный и правильный Сеня,

(Но странный, конечно)

Он плохо учиться ну просто не мог

И, кроме того, от погоды весенней

(Бывает так вечно)

На Аню смотрел и смотрел за уроком урок.

А Веня жил в классе таком же, соседнем, за стенкой.

(Лентяев засилье)

Он круглые сутки валял дурака.

Но бегала Аня на всех переменах

(Кармен из Севильи)

Дежурить у двери его от звонка до звонка.

Шли Анины дни чередой в расписание недельном.

(И лучше не будет)

Спросила училку она, как ей жить?

— Зачем, — та сказала, — дружить в параллельном?

(Не наши там люди)

Дружи в своем классе, с чужими не надо дружить.

Ведь слева направо нормальные пишутся строчки

(Ислам тут в помине)

Весна надвигается вслед за зимой.
 Когда остаются в тетради две точки,
 (Согласно доктрине)
 Нам проще простого связать их кратчайшей прямой.

Отрезок А—С нарисован у Ани в тетрадке.
 (Учил это каждый)

И точка В рядом — источник всех бед...
 Те мысли свои изложив в беспорядке,
 (Сознательность граждан)
 В конверте отправила Аня в одну из газет.

«Учти, что отличник, — ответили быстро ей, — Сеня,
 (Хотя слишком умный)

А Веня совсем даже наоборот».
 Но Ане по-прежнему нравится Веня,
 (А он как чутунный)

И он на нее ноль внимания по-прежнему. Вот.

Никто не поможет: ни юный, ни опытный школьник.
 (И в Горьком живущий)

Седой академик — не авторитет.
 Как быть и что делать, когда треугольник?
 (О, Бог всемогущий!)

Хоть смейтесь, хоть плачьте, а выхода, видимо, нет.
 Нет? Есть!

С утра ежедневно вставай, Аня, делать зарядку,
 (Как делает каждый)

Потом умывайся водой ледяной.
 Портреты вождей непременно целуй по порядку
 (Еще лучше — дважды)

И к счастью шагай в коллективе дорогой прямой*.

1980

* Стихи не публиковались и считались утерянными. В свое время они были предложены журналу «Юность», попали в Самиздат, а вскоре на допросе в известной организации превратились в статью Уголовного кодекса: «Изготовление материалов, порочащих советский общественный и государственный строй». Недавно присланы в Калифорнию читательницей из Сибири.

ИЗЛОМ СУДЬБЫ

Пародия на калифорнийское танго

Последний поцелуй — я ухожу к другому.
Нет более пути единого с тобой,
И линия судьбы подвергнулась излому:
Мой цвет теперь навеки голубой.

Припев:

Другие краски,
Идите прочь!
Ах, голубые ласки
И голубая ночь,
И небо голубое,
И Тихий океан,
И танго голубое,
И голубой роман.
Душе моей так близко
Родное Сан-Франциско:
Здесь каждый boy -
Латентный голубой.

Об этом не боюсь пропеть стране и миру,
Все нынче решено, и наш закончен бал.
Зачем, скажи, зачем ты шла со мной к ОВИРу?
В Саратове у нас я сам себя не знал.

Припев.

Сан-Франциско, 2001

«СОВИНЬОН»

Пародия на авангардную тему

Дорогая Людмила пишет вам догадались нет солдат-сверхсрочник энской пограничной заставы которая видна на бугре поселка Планерское-Коктебель Аким Поворот. Не улыбайтесь такое мое фамилие наблюдал вас в бинокль а потом визуально через посредство личных дозорных глаз на пляже Залива Коктебель тихая бухта Черного моря в свободное от вахты-дежурства время и нет тренировочных занятий по ловле диверсантов наряжающихся в женские платья похищенные на пляжах ЮБК*.

Вы конечно извиняйте что пещу употребляя не все препинания которые для вас как возможно законченной высшим образованием требуются на лицо особенно запятые. Это не от того что я неграмотный а так как наоборот у командира заставы старшего лейтенанта Каракулько Н. В. на столе который отлучился с девушкой на предмет распития вина «Совиньон» в кусты имеется пишущая машинка а запятая на ей только одна. Поэтому сразу сообщаю что могу по грамматике о которой во мне сомневаетесь поставить запятых, , , , , , , , , , , а вы пожалуйста употребляйте их по вашей естественной надобности.

Людмила-Люда! Надеюсь что вы меня обратили вашим вниманием но я честно сказать не краснея после краткой беседы на международную тему которую газеты пишут и Агресия на ближнем востоке на которую вы мне не реагировали и своей черной бровью не повели после чего я не мог спать и вращался вокруг своей оси в казарме всю ночь из-за внутреннего ранения в результате глазного излучения сильнее Чернобыля поразившего меня вашего внешнего вида в черном купальнике с

* Южный берег Крыма.

вызову друга собой комсомолец голубые глаза хотя хромает натертая нога но и она не королева. И также командир старший лейтенант Каракулько Н. В. всегда пойдет за бутылку от бабы Луши навстречу солдату с уволнительной учитывая опыт сверхсрочной незаменимости службы и понимание остроты для солдата вопроса девушки как женщины.

Не бойтесь Люда обмана крепкого мужского слова которое мама тебе возможно всегда запрещала говорила не надо ходить с солдатами распивать «Совиньон» и в кино на последней ряд а тем более в кусты то я не такой. Все будет по чести исполнения солдатского долга по охране рубежей от гнусных замыслов Империалистических Агрессоров. А насчет кустов или искренности чувства увлечения предметом возникшего через бинокль во время боевой вахты заметив вашу красоту то повторяю за серьезность намерений не беспокойся.

Если что и утаю так про Афганистан как давал подписку о неразглашении ничего а то. Главное что остался живой и все органы при мне хотя утомление-сдвиг по фазе периодами в сторону мрачных мыслей и запятые средней школы отбило. Травкой больше не буду баловаться клянусь там ведь только со страха за жизнь дружественного народа Афганистана. Зато теперь на погранзаставе как курорт хотя за человека тебя не считают размазывают об пол казармы и голодаем с огорохов колхозников ночью прикорм. А если Люда ребенок то даю слово солдатское и в церковь в белом платье вместе пойдем под венец не смотря член в КПСС.

Убедительно прошу умоляю продолжить переписку и знакомство пора кончать печатать не могу за окном командир Каракулько Н. В. окончил распитие вина «Совиньон» и возвращается в гнев без девушки и без сапог из кустов которая убежала как не своя. Мне не миновать губы двое суток на хлебе и воде но за вас пострадать Людмила приятно думать что за тебя. И за ваши рыжие волосы отдуваемые ветром на небольшое пространство от лба а также за другое что было отчетливо видно в бинокль с которым солдат-сверх-срочник Аким Поворот когда ты гордо выплываешь на пляж залива Коктебель для принятия воздушных и морских ванн и особенно в надетом черном купальнике на загорелое голое тело всегда на посту. Особенно

надеюсь что ты не замужем а если развод был то не отчаивайся другое будет наоборот.

Надеюсь на твое быстрое получение через подругу моего искреннего письма полного горячего стремлением встречаться-дружить для серьезного намерения а не сразу покупать вино «Совиньон» или самогон у бабы Луши для распития в кустах как все.

Остаюсь с надеждой на ожидание вас выходить на пляж Залива Коктебель Голубая Бухта в черном купальнике открытая для всех спина а особенно круглый вырез между верхом и низом что захватывает дыхание на третьем году службы по охране рубежей нашей Родины. Аким Поворот.

«Литературная газета», 8 апреля 1992

БЫЛИНКИ

Былины — это, как известно, легенды про старинный быт и про древних богатырей. А былинки — истории про современный быт и про новых богатырей. Некий слегка модернизированный фольклор нашей прекрасной эпохи.

Обмен

Меняю квартиру из семи комнат на Тверской на квартиру из семи комнат в Манхеттене. Все шестеро соседей на обмен согласны.

Просчитались

Мирно спали пассажиры поезда № 35, когда бандит проник в кабину машиниста. Угрожая оружием, он замедлил ход поезда, а другой бандит бежал впереди и укладывал рельсы в сторону границы.

Но рельс не хватило. Просчитались!

Ни года без отдыха!

Юбилейную, десятую сваю строители решили забить в фундамент Дворца бракосочетаний и разводов в этом году. Всего в фундаменте 3 650 свай.

Сплетня

К вахтеру Неваниной вошел начальник, и она отдала ему честь.

Гигиена прежде всего

Перед распятием на кресте необходимо смазывать гвозди йодом.

Ефрейтор проводит политчас

— Мы здесь сейчас мирно живем, а в этот момент в Америке Кукрыниксы негров линчуют!

С приветом

Бывший колхозник Бурундуков из села Новая жизнь нашел за околицей баллистическую ракету. Теперь, пролетая над Азией, Африкой и Америкой, Бурундуков посылает приветствия борющимся народам.

Ценная находка

Депутат Петушков на углу Дерибасовской потерял сознание. Он был удивлен, когда неожиданно нашел его в вытрезвителе.

Попытка — не пытка

Гражданин Т. сделал попытку оскорбить гражданина К. словом. После этого гражданин К. сделал попытку оскорбить гражданина Т. действием. Обе попытки увенчались успехом.

Сервис

Новый вид услуг ввели в сбербанках города Карагинска: с любого вклада может получить деньги любой вкладчик.

Конверсия

Конструктор К. Г. Бешников предложил использовать атомные бомбы для уничтожения комаров.

Бездушие

В гостиницах города Сомовска нет душа.

Заявление

Прошу перевести меня из внутренней эмиграции в наружную.

Песня входит в быт

Умелец Шутейко сделал летающий велосипед, на котором можно промчаться сквозь тайгу, пургу и черный дым, а также через реки, горы и границы. Изобретателя поздравил главврач психбольницы.

К сведению покупателей

Магазин закрыт на беременность продавца.

В мире агротехники

Известно, что растения реагируют на музыку. Агроном Яшкин доказал недавно, что они внимают устному слову. Призыв начальства увеличить урожай, усиленный в поле репродуктором, привел к желаемому результату.

Объявление

Меняю одни убеждения на два в разных партиях.

Объявление

Меняю. Возможны варианты.

Люди с сильной волей

Усилием воли жарит яичницу повар Сердяков. Масло остается.

Для вас, туристы

В далеком походе и загородной прогулке незаменима циркулярная пила, выпускаемая оборонкой в результате конверсии. Весит пила 1240 килограммов.

Пятиэтажную палатку освоила фабрика солдатских шинелей. Если палатку положить набок, на всех пяти этажах можно спать.

Приказ

За систематические опоздания на концерты тенора Сидорекина И. И. понизить на должность баритона.

Внимание!

Завтра два юбилея: 800 миллионов лет Каспийскому морю и 750 миллионов лет реке Волге. Деньги на складчину сдавать секретарю Бунькиной.

Пенсионер ведет поиск

Закон сохранения материи просуществовал лишь 250 лет. Самогонный аппарат пенсионера Штуцера не требует продуктов, однако из него исправно выползает зеленый змий.

Только для писателей

Ателье творческих услуг жилкооператива «Беллетрист» принимает заказы на сочинение стихов, романов и другой лит-продукции на бумаге ателье и заказчика. На заказанные произведения изготавливаются рецензии, положительные или отрицательные по желанию клиента.

Хобби экономиста

Старший экономист Очник научился читать газеты вверх ногами. Теперь на чтение газеты у него уходит не 20 минут, а четыре часа. Так умелец решил проблему культурного досуга.

Свидетельство

ЗАГС удостоверяет, что гражданка Прокофьева Ф. А. действительно является гражданину Абрамовичу Н. И. двоюродным сыном. Выдано для представления в ОВИР.

Товарищи клиенты!

После отстоя пены требуйте перевеса колбасы.

Происшествия

Токарь Федорук случайно вошел в женский душ, где мылась чертежница Иванова. Иванова вышла в декретный отпуск.

Волшебство перевода

Известный переводчик-полиглот Александр Вертеп обнаружил, что при переводе одного стихотворения с русского на финский, с финского на испанский, с испанского на хинди, а с хинди снова на русский Пушкину, Лермонтову и Блоку удастся достичь уровня Андрея Вознесенского.

Объявление в столовой города Сыктывкара

Пальцы и яйца в соль не мочить.

Объявление на пляже Брайтон-Бич

Кто потерял протез нижней челюсти, обращаться по адресу, где я сдала его в полицию.

Объявление на вокзале

Вниманию пассажиров! С 31 августа контактная сеть будет под напряжением 3 300 вольт.

Граждане пассажиры!

На остановке автобуса картошку сажать запрещается.

Плакат

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
«Аэрофлот».

Объявление в Доме творчества в Коктебеле

Сегодня помывка писателей производиться не будет в связи с отсутствием воды.

Объявление в Доме творчества композиторов в Репине

Композиторы, к которым приезжают соавторы с ночевкой, должны сообщить об этом администрации для выдачи чистого белья.*

В мире шахмат

На мат противника Петров ответил тройным матом.

Кампания

Превратим Карфаген в образцовый город!

Для тех, кто дома

В случае пожара не забудьте сообщить адрес пожара.

Жалоба врачу

— Я докатился до того, что, глядя на светофор, не имею ни единого процента цветоощущений.

* Эту надпись принес и подарил мне Д. Д. Шостакович на следующий день после того, как я ему прочитал несколько объявлений из своей записной книжки. Ту зиму я жил в Комарове, и Шостакович иногда приходил к нам обедать.

Приказ

Переименовать Институт культуры в Институт культуры и отдыха.

Долгосрочный прогноз погоды

Солнце будет всходить на востоке и садиться на западе. В отдельных районах имеет место облачность. Местами возможны осадки, временами грозы и в отдельных районах снег. Ветер переменный. Температура будет колебаться. Синоптики утверждают, что к весне ожидается потепление, а к зиме похолодание.

Для вас, деловые люди

Оригинальные часы выпустил Чистопольский завод: их минутная стрелка ходит против часовой.

Полезный совет

Кофе становится вкуснее, если во время варки его помешивать по направлению вращения нашей Галактики.

Сказка

Жил debil Иван Царевич...

ЧТО ГОВОРИЛА ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДОЧКА ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

— Папа у нас стихотворечник. Но лучше бы придумать такую машинку — стихосочинялку. Тогда бы он со мной играл.

•

— Молоко такое длинное, никак выпить не могу.

•

— И почему это папа спит с моей мамой? Пусть спит со своей, а я со своей буду.

•

После детского сада.

— Мы целый день веселились, ходили вокруг крематория и на братскую могилу.

•

— Пап, кто такой стерв?

— Не стерв, а стерва.

— Нет, он был стерв!

— Откуда ты это слово взяла? Это же ругательство.

— Как падл, да?

•

Получив подарок:

— Папа, ты мой потребитель.

•

Читает плакат: «Золотом буквы на солнце горят, да здравствует дружба советских ребят!»

— Это же бумага. А где золото?

•

— Когда я вырасту большая, буду белкой. Вы будете ходить внизу, а я прыгать по веткам и орешки есть.

•

— Вам не понять, как это приятно, когда в гости приходит собака!

•

Увидела на улице портреты вождей.

— А Маршак почему не висит?

•

На Пушкинской площади.

— Вот Пушкин. Его написал Заходер.

•

Летом возле речки.

— Сегодня вода на целый килограмм теплее.

•

— Зачем меня называли Леной? Лучше бы называли Ирочкой, тогда я была бы лучше.

— Почему?

— А соседская Ирочка — очень хорошая девочка.

•

— Черепах голову прячет в живот, а черепаха в животу.

•

— Хотя Витя молодой, он мой старый друг.

•

После детского сада.

— Это буква Миша, это Оля, а это буква Кукла.

— А ты с какой буквы начинаешься?

— Я с буквы Ленин.

•

Умер мой отец. О похоронах решили ей не говорить. Но она через бабушку каждый день передавала ему приветы в больницу, и раз та сказала: «Дедушка умер».

Ленка зарыдала. Обняла бабушку за шею, и обе плакали.
Успокоившись, Ленка спросила:

— А папа знает?

•

Пришла в гости.

— Вам везет: у вас краны поют.

•

Обнимая отца:

— Когда у меня плохое настроение, я тебя не люблю, а когда хорошее, очень люблю. Только почему у тебя уши холодные?

•

— Поиграй мне на гитаре.

— Мне писать нужно.

— Все пишешь, пишешь, а толку что?

•

Поет песню про солдата.

— Хорошую я песню придумала — солдатскую? Сейчас придумаю еще солдачее.

•

Про мальчика, с которым играла:

— Это мой друг.

•

Издали видит каждую церковь и сообщает:

— Вон кремлевская стена!

•

— Лена, эти грибы есть нельзя. От них можно умереть.

— А где мой дедушка?

— Умер.

— Поел таких грибов...

•

— Подумай! Для чего у тебя головка?

— Для шапочки.

•

Играет в доктора.

— Кукла умирает, и я ей помогаю.

•

— Папа, ты куда идешь?

— В туалет.

— Надо говорить «до свиданья». Если, конечно, ты вежливый.

•

— Бабушка, я знаю одну тайну: взрослые тоже бывают дураки.

— Это тебе папа сказал?

— Конечно! Он же взрослый.

•

После выступления по телевизору жонглера.

— Ты чего плачешь?

— А я бублики ртом ловить не умею.

•

Долго называла карандаш «Мяу», потому что я рисовал им кошку.

•

Слушая по радио последние известия:

— В Англии живут англичаны, в Италии — итальяны, в Индии — индиоты, в Америке — америсты, а в России — росисты.

•

Новый год. Открытка Лене от Деда Мороза.

— Это же папа. Дед Мороз написал бы аккуратнее.

•

Подарили цветные карандаши.

— Ну, конечно, папа ходил в магазин — там карандашей нет. А Дед Мороз узнал, и теперь вам деньги тратить не надо.

•

— В зоопарке плохо.

— Что тебе не понравилось?

- Слон.
- Почему?
- Он пахнет майонезом.

•

Обедаем. Ленка говорит:

- Съела холодец, окрошку, котлету с рисом, напиток, клубнику, и теперь у меня джинсы не спадают.

•

Грустно, сама с собой:

- Сначала меня воспитывали туда, потом сюда. Все равно я после сама воспитаюсь обратно.

•

Скороговорку повторяет целый день:

- Карл Маркс у Клары Цеткин украл кораллы.

•

Бабушке по секрету:

- А папа когда-то знаешь кем был? Мальчиком!

•

В день рождения смотрели кино «Козленок, который считал до десяти».

- Все-таки рано мне исполняется пять лет. Я еще считать до десяти не умею и даже не школьница.

•

— Папочка, я тебя очень, конечно, люблю. Но все-таки лучше бы ты был мамой. У меня было бы две мамы и обе бритые.

«Литературная газета», 19 октября 1994

ЧТО ВИДЕЛ И ГОВОРИЛ ПИСАТЕЛЬСКИЙ СЫН ОТ ДВУХ ДО ВОСЬМИ

Разговор с дедушкой наедине: дед-а-дед.

•

Девиз учителя: каждой твари по паре.

•

Праздник: Октябрьская гадовщина.

•

Труд облагораживает человека.

•

Дорожный знак: «Вправо только для обкома партии».

•

Уголовный кодекс: статъистика.

•

Новое имя: Терянтый.

•

Новый псевдоним: Папин-Сибиряк.

•

Новая советская наука: имдохренология.

•

Наша логика: алкологика.

•

Баня: гололюдица.

•

Любитель мыться: мыломан.

•

Друг в бане: мылый друг.

•

Толстяк: великотушный человек.

•

Из Летописи: жена черниговского князя Изяслава сказала: «Изя, возьми Киев!»

•

Лотерея во время голода: денежно-пищевая лотерея.

•

Народная песня об отказниках: «Но нельзя рябине к дубу перебраться».

•

Надпись на дверях ОВИРа: «Добро пожаловать в наш фиг-вам».

•

Шотландский классик: Мак-Коган.

•

Из инструкции: «Стоны пылесоса как живого существа не допускаются».

•

Лубянка по-английски: Чекаго.

•

Оговорка учительницы: оберштурбанфюрер КПСС.

•

Объявление: «Выгул собак запрещен из-за как».

•

Объявление: «Запрещается водить собак на чердак со всеми вытекающими последствиями».

•

Объявление: «Требуется боец охраны, имеющий не менее двух нижних конечностей».

•

У посла было послюиное лицо.

•

Ругаться дипло-матом.

•

Мать детям: «Кашить подано!»

•

«Во-кал!» — сказала тенору лаборантка в поликлинике.

•

Болтун: мели-оратор.

•

Вероятность отравления: вероядность.

•

Из газеты: ударный коллектив боксеров.

•

Новый русский коньяк: «Хамю».

•

Анонс ТВ: Вместо передачи «Камера смотрит в мир» состоится передача «Из камеры смотрят в мир».

•

Гуд-баюшки-баю!

«Литературная газета», 1997, № 36

ЗАПИСКИ НА КЛОЧКАХ

Сколько себя помню, моим любимым занятием было резать бумагу на мелкие кусочки и эти клочки рассовывать по ящикам письменного стола, сумкам, портфелям и просто по карманам. Карандаши тоже резал на короткие огрызки, затачивал и прятал во все карманы, чтобы не искать, если понадобятся.

На клочках я записывал огрызками карандашей все, что казалось мне интересным: события, байки, сплетни, цитаты, мысли свои и мысли чужие. Это строительный материал для писания: сырье, заготовки, полуфабрикаты, дневниковые записи. Но на клочках оказывались и важные вещи: сюжеты, замыслы, планы. Часть этого бумажного богатства вошла в мои книги. Но многое остается неиспользованным.

Не раз пытался систематизировать эти заметки, но они расползались. Хаос считал себя хозяином и не хотел подчиняться моей логике. Потом я решил, что бессистемность этих клочков и есть их система, и самое лучшее — отдать их читателю в том беспорядке, как они складывались годами.

Слишком толстая книга — как слишком широкий автомобиль. Даже если она очень хорошая. Автомобиль не может быть шире улицы. Но можно сделать широкий автомобиль в одном экземпляре и поставить во дворе.

Завет древних писателей: «Ни дня без строчки» — в общем-то есть поощрение графоманства. Ни дня без наблюдения, ни дня без мысли, может быть?

•
 Андре Моруа цитирует Бальзака: «Недостаточно просто быть человеком, надо быть системой».

•
 Сатира, это еще Новиков подметил, имеет свою отрицательную сторону. Она ожесточает нравы, способствует обидам, озлоблению и пр.

•
 Василий Катанян рассказал, как в школу пригласили выступать Маяковского. Он стоял в коридоре с маленькой толстой женщиной. Подбежала девочка, спросила:

— Кто здесь Горький?

Маяковский обиделся и указал пальцем на толстую соседку:

— Вот она!

•
 Я родился в голодный 33-й год. Сталин был в разгаре, Гитлер пришел к власти. Наши жизни пересекали 37-й, война, послевоенный голод, все время террор, лишения и страх. Удивительно, что мы не сошли с ума и некоторые еще вроде бы живы.

•
 Писать должен человек, которому есть что сказать. Так считалось раньше. В советское время успешнее пишут люди, которым что-то сказали наверху.

•
 Писатель сродни энтомологу: его интересует наличие всех видов насекомых в данной местности.

•
 Всегда будут существовать фанатики. Чувство меры служит условием спасения человека.

•
 Самое трудное для новеллиста — уметь не сказать о чем-то.

•
 Как ни странно, только свободная проза, описание поступков, чувств и мыслей приучает писать точно. Документальные статьи и эссе расплывчаты, слова произвольны, мысли хаотичны.

•
Кто-то: «Писателю мало, чтобы его хвалили. Ему еще надо, чтобы ругали других».

•
Мэтры не любят помогать молодым писателям. Они любят давать советы. Например, как бы они написали то, что у вас уже написано.

•
«В детских воспоминаниях нет последовательности. Что было раньше, что позже, не все ли равно? Это было». (Илья Толстой. Мои воспоминания.)

•
В декабре 1974-го на станции Голицыно стоял в очереди за билетом на электричку с Григорием Мирошниченко, комсомольским работником двадцатых годов. Человек недобрый, сталинец, рассказывал, как служил главным редактором журнала «Литературный современник», позже переименованного в «Неву». Алексей Каплер принес Мирошниченко сценарий фильма «Ленин в 18-м году». Редактор решил его печатать, но Щербаков, тогдашний секретарь Ленинградского обкома, запретил. Мирошниченко по молодой смелости написал письмо Сталину. Сталин прочитал сценарий и исправил в нем одно слово. Во фразе «Ленин будет жить сто лет» заменил слово «сто» на «тысячу». Сценарий был напечатан.

•
Нам десятилетиями твердили, что литература — это типические характеры в типических обстоятельствах. На деле все же работают три других варианта: исключительные характеры в исключительных обстоятельствах, обыкновенные характеры в исключительных обстоятельствах и исключительные характеры в обычных обстоятельствах. А тот, затверженный вариант — скука, нелитература вообще.

•
Брежнев приезжал в Кисловодск на дачу, которую для него построили, один раз: она ему не понравилась. Тогда же он пошел по городу. В магазины все завезли, но к нему обратилась

старуха, которую не успели оттащить в сторону, дескать, почему с продуктами совсем плохо. Он ответил, что не знает почему, он этим не занимается и отвечает за другие дела.

•

Машинистка (впрочем, теперь компьютеристка) печатала так, что клавиши дымились.

•

— Наше государство все же о людях печется, — сказала она. — ЗАГСы вместе со свидетельством о рождении или смерти выдают талоны на продукты. Но надо попросить. Они сами не напоминают, зажуливают.

•

Паустовский жаловался:

— У меня скопились сотни интереснейших цитат из великих людей. Но когда пишешь, все это не ложится.

•

«Иногда несчастные бывают очень счастливыми», — заметил Осип Мандельштам. Видимо, он имел в виду взгляд со стороны.

•

Проза должна была быть как женщина: на первом месте изящество. Нельзя чего-то, например, матерщины, или сидеть, расставив коленки. Сдержанность и внутреннее чувство. Потом стало все можно.

•

Недостатки талантов — их самые главные достоинства.

•

Трудность жизни читателя в том, что очень много пишут.

•

Грузин в магазине:

— А грузинский глобус у вас есть?

•

Начальник военной кафедры МГУ говорил:

— Это секретно, но скажу для узкого круга ограниченных людей.

•
Всю жизнь собирал газетные вырезки и скопил их великое множество. А теперь смотрю их с другой стороны. Там — все самое интересное, а то, что вырезал, не нужно.

•
— Литература, голубчик, не должна ничего объяснять. Дай Бог ей показать, что происходит. А уж объяснить — пускай читатель это делает, каждый в меру своей испорченности.

•
Много лет с детства я вел дневники. Но лет в тридцать как-то перечитал множество толстых тетрадей и понял, что ничего такого, что еще не было сказано, или такого, что я не мог бы написать теперь, в моих дневниках нет. Они были неинтересны, и я их утопил в Москве-реке. Еще через десять лет, уже замыслив уехать, когда дневники вести было просто опасно, я, тем не менее, понял, что совершил ошибку. Неинтересное из молодости интересно, возможно, именно своей банальностью. Впрочем, люди, которые не ведут дневников, тоже живут, сжигая прошлое. Писатели идут по трупам собственных книг.

•
Имя его новой жены друзья вписывали в записные книжки рядом с его именем только карандашом.

•
Люди делятся на тех, кому все нравится, и на тех, кому все не нравится. А еще есть равнодушные. Но есть такие равнодушные, которым все не нравится. Вот эти самые скучные.

•
Никогда не поздно стать честным, даже после смерти. Только подготовиться к этому надо при жизни.

•
Феллини: «Вторую половину нашей жизни мы проводим, занимаясь тем, что зачеркиваем табу: исправляем вред, который нанесло воспитание в первой половине жизни».

•
Есть сочинения, в которых единственное интересное — цитаты, которые автор нашел у других.

•
Достоевский говорил, что любое пятнышко на одежде отвлекает его от писания. И пока не счистит, он смотрит на эту точку.

•
Ничто человеческое гениям не чуждо. «Желудок просвещенного человека, — говорил Пушкин, — имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».

•
Он не закончил оперную студию в Одессе — забрали на Гражданскую. Руки не были приспособлены держать винтовку. К тому же боялся, что его сделают запевалой и он сорвет свой драматический тенор. Поэтому в строю никогда не пел. В 25-й стрелковой дивизии Восточного фронта его поставили охранять фураж для лошадей и выдавать по норме, ведрами, потому что комиссару дивизии Фурманову он показался на вид единственным честным.

Солдаты не любили командира этой дивизии Чапаева за то, что комдив приносил их в жертву своему честолюбию, а прощсе говоря, гнал на смерть, чтобы заслужить похвалу от начальства. Выбрав удобный случай, когда пришлось отступить и Чапаев плыл через реку, красноармейцы своего командира сзади пристрелили. Тенор сам это видел, ибо плыл через холодную реку с другими. Сам он от переохлаждения или от нервов голос потерял навсегда. После стал фотографом.

•
Честертон: «Великие писатели не отдали должного нашим модным поветриям не потому, что до них не додумались, а потому, что додумались до них и до всех ответов на них».

•
Виктор Шкловский любил приводить слова Сергея Эйзенштейна о том, что в жизни правда существует всегда, но вот жизни обычно не хватает.

•
Жизнь состоит из четырех частей: потребление (есть, пить, читать), отдача (писать), движение (ходить) и отсечение (отказ от ненужного).

•
Читаешь, как классики входили в литературу: в самые мрачные времена то был рай. Мы входили на четвереньках, а кто и ползком.

•
«Что такое наука? — любил повторять академик-ядерщик Арцимович. — Это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет». Я слышал это от него в конце пятидесятых. Результатом любопытства были более сильные атомные бомбы.

•
Часть моих критиков утверждает, что я пишу слишком кратко, часть — что слишком длинно. И те, и другие советы мне очень помогают в литературной работе.

•
Говорят, детский писатель второй раз проживает детство, которого у него не было, и в результате получают детские книги. Можно прожить детство второй, даже третий раз, но нельзя всю жизнь оставаться ребенком. И, соответственно, детским писателем. Не случайно оба Толстых — Лев и Алексей — описав свои детства, с детской литературой покончили. Чуковский стал литературоведом. А Касиль остался, но ничего стоящего после «Кондуита и Швамбрании» не написал.

•
Марк Твен: «Нерегулярному образу жизни я следовал с неуклонной регулярностью».

- — Ваше заветное желание?
— Открыть толстый журнал.
— А если это не удастся?
— Притон.

•
Лев Кассиль: «В Союз писателей или принимают ни за что, или ни за что не принимают».

•
Чтобы расписаться, надо преодолеть некий звуковой барьер.

•
В январе 1972 года меня по-царски принимали в каком-то дворце культуры в Пензе. Молодая заведующая областным отделом культуры взошла на трибуну и сказала:

— У нас в Пензе бывали Пушкин, Белинский, Лермонтов и Маяковский, который здесь влюбился в дочь архитектора Яковлева. А теперь у нас Дружников, который пока здесь ни в кого не влюбился.

•
Оскар Уайльд: «Надо быть всегда чуть-чуть неправдоподобным».

•
В искусстве, в отличие от геометрии, часто кривая линия — более короткое расстояние между двумя точками.

•
Искусство предположительно исторгает вас из суеты и переносит в мир вечности. Поэтому торопливым оно быть не должно. «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». Что касается журналистики, суть ее — суета.

•
Лев Толстой о Мопассане: «Он дожил до того трагического момента жизни, когда начиналась борьба между ложью, которая его окружала, и истиной, которую он начинал сознавать».

•
— Ваше хобби?

— Зарабатывать деньги.

— Это как?

— Поскольку литература не кормит, я трачу свободное время, чтобы прокормить семью.

•

Писатель придумывает имя, но оно прирастает органически. Попробуйте принять роман «Евгений Ленский» с героем Владимиром Онегиным. Сделайте Наташу Ростову Мышкиной, а князя Болконского Карамазовым. Трудно дать подходящее имя герою, но уж если дано...

•

Мы живем в сдвинутое время. Узнаём, что происходило в собственной стране десять, тридцать, а то и семьдесят лет спустя. Не слишком ли дорогая цена для целого народа — жить архивным умом?

•

Стиль могучей советской пропаганды (газета «Правда»): «Сальвадорский диктатор сидит в бункере и оттягивает свой конец».

•

— Из чего состоит КПСС?

— Из глухих согласных.

•

Писатель обвиняет историю или время, в которое он живет. Защищать историю и время — дело политиков и военных. Получается, в некотором смысле литература — это прокуратура.

•

Ответственность учителя. В пятом классе учительница литературы Мария Александровна Шлыкова нам говорила:

— Обратите внимание, как Толстой описывает глаза. Глаза в портрете очень важны. Они — зеркало души. В глазах истина.

С тех пор, описывая человека, не забываю о глазах. Но теперь это все чаще лишнее. Глаза бегают, они лгут не хуже, чем уста.

•

Эпитафия на могильном камне: «Здесь обосновался человек, который всю жизнь старался избежать случайностей, но случайно не избежал смерти».

•

Отличие литературы от журналистики. Литература — это то, где сказано больше, чем написано. А журналистика — наоборот.

•

Съезд советских писателей (1970 год). В связи с тем, что с питанием стало плохо, на съезде вместо традиционных продуктовых спецзаказов писателям будут выдавать импортные подтяжки.

•

Уходя от друзей, как вспоминал В. Лифшиц, Зощенко сказал: «Знаете, Володя, я иногда думаю: я ведь ничем не могу быть вам полезен, почему же вы ко мне так относитесь? И вдруг понял: вы меня просто любите. Перехитрили вы меня. Перехитрили...»

•

Честертон: «Классик — тот, кого хвалят не читая».

•

Рефлекс на автора. Должны пройти годы, пока новый оригинальный писатель приучит к себе редакторов и читателей. Чем талантливей — тем дольше приручение. Но есть риск, что редакторы и читатели быстрее приручат автора, чем он их, и тогда прощай его оригинальность.

•

— Я хочу быть самым главным, как Сталин, — сказал мальчик с легким грузинским акцентом, сын наших знакомых.

Это было в 46 году, нам было по тринадцать. Первый раз в жизни я столкнулся с таким честолюбием. Мальчик тот вскоре случайно утонул. А то бы...

•

Название мемуаров: «Автобиография фантазера».

•

Хороший рассказ как аквариум. В нем все видно насквозь, и все же есть тайна. Хочется смотреть и смотреть.

•
«Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним... Крепи у мира на горле пролетариата пальцы». Это «Левый марш» Маяковского. Сколько энтузиазма при воспевании террора, который рифмуется со словом «Аврора».

•
В моей рукописи была фраза: «Обыкновенные дворняжки — тоже люди». Редакторша исправила: «Обыкновенные дворняжки тоже имеют большое значение».

•
Ответственность фразы по отношению к целому.

•
Писатель и журналистика — тема нераскрытая. Кто остается журналистом в литературе, а кто писателем в журналистике.

•
Московская школа, в которой я учился, носила имя наркома Ворошилова. Сам Климент Ефремович, высеченный из камня, стоял перед школой на облупившемся постаменте. Нос у него был отбит. Каждый год в школе торжественно отмечали не наши дни рождения, и не учителей, а наркома обороны. К этому приурочивали день встречи со старыми выпускниками. Величественно зачитывали телеграмму приветствия вождю товарищу Ворошилову, каждый год одну и ту же. За все годы ни сам он, ни его помощники ни разу не ответили. Так он и остался в моей памяти — немой безносой мумией, которой посылали приветственные телеграммы.

•
Бергман: «В наше время пишущий художник вынужден ходить по канату без спасательной сетки».

•
Переход из детства в мир взрослых. Тут-то все и начинается: приспособление, ложь, обман, хитрости игры. Это все взрослые называют мудростью.

•
Как одолеть пропасть меж рукописью и книгой? Писатель в трудной стране за что ни возьмется, все непубликабельно.

Приходится сделать и отложить до лучших времен. К сожалению, жизнь человека коротка относительно эпохи, и автор рискует не дожить до себя самого.

В 1970 году зимой Дом творчества писателей в Дубултах частично заполнили колхозники. Это была новая совместная инициатива Союза писателей и партийных органов. Газеты писали о большом успехе новой инициативы, о новых импульсах для творчества писателей и обогащении культуры колхозников.

В это время писатели возмущались, что по всему дому шум, песни под гармонь и пьянки, а колхозники жаловались, что писателей поселяют в комнаты по одному, а их впятером.

Сожженное большим писателем мы держим за гениальное, говорим: вот если бы... Но ведь это не обязательно так. Автор лучше знает, что сжигать.

Детство заканчивается, столкнувшись со взрослым разочарованием жизнью. Розовое становится черным, чистое грязным, романтика цинизмом. По экзистенциалистской философии — конфликт между абсолютным принципом личной морали и конкретными требованиями жизни. Кто сильнее: подростки или общество, в которое они попадают? Ответ ясен их подгоняют под себя. Но завтра подростки сами станут этим обществом, которое нам не нравится. Порочный круг.

Знакомый сценарист: «Сумасшедший дом — это академия наук по сравнению с тем, что происходит у нас в кино».

Писатель — как женщина. Любопытство к нему, интерес, желание познакомиться поближе, сплетни вокруг. Увлечение, может, даже любовь. Пик. Усталость. Надоедает, уже не возбуждает. Хочется чего-то новенького. Развод.

Следствие соцреализма — скептический реализм, переходящий в пессимистический реализм.

•
Терпение — тонкий стакан, в который забыли положить ложку и льют кипяток.

•
Левша попал в автомобильную катастрофу и стал правой.

•
Горький: «Главное, не пишите рецензий для писателя. То, что вы хотите сказать писателю, передайте ему при встрече или позвоните ему по телефону. Пишите для читателя, привлекайте его к книге, объясняйте ему книгу».

•
Писатель пишет не для всех, а для узкого круга. Такова природа литературы, а некоторые предаются иллюзиям всеохватности. Ничего нельзя сделать для всех — ни ботинок, ни политики, ни искусства, ни светлого будущего.

•
Чаще всего толчком для того, чтобы писать правду, бывает ложь.

•
В. Г. Короленко: «Смерть? Ну, так что же! Жизнь писателя должна быть также литературным произведением».

•
Свое русло копает экскаватором большой писатель с новой взрывоопасной темой. Но вокруг мириады меньших проблем, из которых составляется, которыми объясняется глобальное. Литература начинается и кончается «вокруг». О таком писателе говорят: «Он внимателен, как никто».

•
Писать — как рисовать многогранные фигуры в стереометрии. Человек многогранен: грань отвратительная, грань так себе, грань вдруг открывшейся порядочности. Показывать это, постепенно поворачивая многогранники новыми сторонами, чтобы читать было каждый раз неожиданно. У писателя должны быть фасетчатые глаза, как у пчелы. Разделять предмет на части и видеть каждой ячейкой отдельно.

•

И наступает момент, когда писателю с его выдуманными героями становится встречаться интереснее, чем с живыми людьми.

•

Дом в Чапаевском переулке, в который мы въехали по обмену, был построен сразу после войны пленными немцами. Слышимость потрясающая: дыхание соседки, будто она спит с тобой. С друзьями говорили только на кухне, включая громко музыку. А главное, оказалось, что в одной из комнат было две лишние двери, запертые на ключ. Предыдущие хозяева, меняясь с нами, завесили эти двери коврами, и мы их не заметили. Двери вели в две соседние квартиры.

В домоуправлении сказали, что двери сделаны на случай пожара, но ключей от них нет, а заделывать их категорически запрещено. После информированный сосед-грузин рассказал по пьянке, что двери сделаны на случай обысков или арестов, чтобы в любое время можно было незаметно войти в любую квартиру. Я нашел на соседней стройке двух рабочих; мы вдвоем завезли кирпич, цемент и заложили эти двери заподлицо со стеной. Пускай теперь въезжают из соседней квартиры на танке.

•

Михаил Пришвин (из дневника): «Довольно много написано... «полубеллетристики». Легче всего писать такие книги! Достаточно узнать кое-что о предмете, и это полужнание подать в соусе личного отношения, полуискусства».

•

Вдова Ивана Катаева Мария Кузьминична, вышедшая из лагеря, вспоминала, что жили они во Всехсвятском и ходили гулять на Братское кладбище (в мое время уже разоренное). В старый домик во Всехсвятском привезли сына, которого она родила в 1928-м. А сам Катаев хотел писать роман «Хамовники» и бродил там по переулкам.

•

Теперь часто пишут, что Валентин Катаев был злой человек. А может, просто ироничный?

— Вы фантастически популярны, — сказал он мне с неподдельной искренностью в голосе и хитростью в глазах, встретив на улице в Переделкине. — Кого бы ни перечисляли в газетах: членов правительства, писателей, артистов, лауреатов, героев, депутатов, — вы во всех этих списках.

Я все еще не понимал, и он торжественно объяснил:

— В конце всегда «и др.».

Он сделал эффектную паузу и объявил:

— «и Дррружников».

И пошел дальше месить мокрый снег, очень довольный своей шуткой.

•

Жена ростовского поэта Вениамина Жака Мария Семеновна рассуждала:

— Люди делятся на четыре категории: подлецы, подлецы, делающие также хорошее, люди, старающиеся не делать подлостей, а четвертая категория пока пуста.

•

«Еврей, — сказал он, — да ведь это у многих сейчас просто хобби».

•

Мандельштам о Пастернаке: «Набрал в рот Вселенную и молчит».

•

На реке Угре, под Калугой, повстречался тихий человек с сумкой. Встает в пять утра, идет в обход леса. Вынимает кротов, попавших в капканы. Ловит по 80—100 штук в день, шкурки обдирает на ходу, сдает их в заготовительную организацию по дешевке, но получает прилично. В десять вечера возвращается в деревню, ложится спать. И так всю жизнь.

•

Купил автомобиль, и с тех пор ему снится только один сон: автомобиль украли.

•

Уцененная комедия.

•

Директор театра тоже играл в спектаклях. Исключительно ответственных работников, секретарей обкомов, адмиралов, генералов.

•

Серее четыре года. Он одноухий. Вместо другого уха — дырочка. С дырочкой в правом боку. Говорит о себе гордо:
— Я результат пьяного зачатия.

•

Фамилия инженера была Рублик.

— Кому Рублик, а кому дырка от рублика, — говорила его невеста.

— За Рублика я и копейки не дам, — говорил его начальник.

— Пиши вместо «Р» «б», — советовали собутыльники.

— Я не б., — огрызался он.

И в ЗАГСе записал фамилию невесты. Теперь он Кобылицын. Совсем другой экстерьер.

•

Услышанное давным-давно: «Писать нужно стоя, а вычеркивать, сидя в удобном кресле».

•

Плакат по безопасности движения. Под умным лицом милиционера, стоящего на фоне машины «скорой помощи», стихи:

Мечтая о чести и даже о славе,
Она позабыла об уличном праве,
Забыв, что простая неосторожность
Буквально отрежет такую возможность.

•

Для словаря труднопереводимых русских терминов:

Абортпроводник — гинеколог.

Башлевик — большевик, ставший дельцом.

Блудотека — публичный дом.

Виршмахер — поэт.

Плутотека — малина, воровской притон.

Трогательно — держась за.

Трубадур — дурак, трубящий об успехах.

Фистула — физкультура и спорт в Туле.

Эфирист — диктор на радио.

Юмористы вынуждены периодически отмежевываться от старых знакомых, которым они всё уже вышутили и всё осмеяли.

Писатель о критике: он плохой критик, он высказывает свое мнение о моей книге. А хороший критик тот, кто высказывает об этой книге мое мнение.

Будущее они у нас не отберут. Они умрут, а будущее останется.

Прогрессивно ли то, что идет борьба за долголетие? Ведь старики дольше мешают молодым, прогресс замедляется. А что думают об этом старики?

Хозяйка: «Когда я готовлю завтрак, сначала у меня убегает молоко, потом какао, потом каша, потом все убегают из кухни — нечем дышать».

— Матерщина — это единственный язык, который партия не использовала для пропаганды.

— Использовала! Я использую. Все приказы сверху перевожу работягам для лучшего понимания.

Мопассан — литератору Морису Вокеру: «Я думаю, нужно избегать неопределенного вдохновения. Искусство математично, великие эффекты достижимы простыми и хорошо скомбинированными средствами. Бюффон сказал: гений — это только долгое терпение. Думаю, что талант — это только упорное размышление, и дан он тому, у кого есть ум».

•
Терраса была закрыта ставнями, и снимать их хозяева дачи не разрешали. Радость была в щелях. Сквозь них проходил свежий воздух и солнечные лучи. Я старался писать, положив бумагу под зайчика.

•
Есть множество определений пессимиста и оптимиста. Вот еще одно: пессимист тот, кто считает, что он был счастлив вчера, а оптимист — сейчас.

•
Эффект неизвестного мне доктора Орлова: «Мы долго помним тех женщин, с которыми у нас что-то не получилось».

•
Он занимался своим делом, чтобы иметь деньги заниматься чужим.

•
Любит ходить на похороны и рассказывать анекдоты про покойного.

•
Дефект присутствия.

•
Компиляция — слово латинское, значит оно — воровство.

•
Человек, заявляющий: «Я один пить не люблю», — вовсе не коллективист, а алкоголик.

•
— Слушай, давай с тобой на «ты». Я человек компанейский, больше двух дней «на вы» не могу.

— А вы потерпите еще день — расстанемся.

•
Первым Домом творчества русских писателей была Петропавловская крепость. Декабристы, Писарев, Чернышевский, Достоевский и многие другие плодотворно работали в ее камерах.

•
В Иване Карамазове просвечиваются черты Белинского, которого Достоевский хорошо знал.

•
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

•
Это Блок. Вот уж поистине зарок для нашего поколения.

•
Анекдоты записывать? Нет уж, пускай летают по воздуху!

•
Диалог:
— С «Новым миром» покончено. Куда теперь спускать пар?
В «Мурзилку»?

•
— Ни в коем случае! В журнал Общества глухонемых.

•
Семейная сцена в зрительном зале:

•
— Скажи, а то спектакль сорву!

•
Щегол и его жена щеголиха.

•
— В большие праздники я не верю, — сказала она, — и на них не веселюсь. Я верю в маленькие, которые как-то случайно устраиваются. Вот встреча с тобой — маленький праздник.

•
У него вкус заменен апломбом.

•
— А дальше?
— Дальше, как пишут настоящие писатели, кусты черемухи выдали им брачное свидетельство.

•
На семинаре молодых писателей:

— Почему все говорят, что я плохо пишу?

— Флобер и Достоевский были эпилептиками, Мопассан сифилитиком, Бетховен гидроцефалом. Твоя беда в том, что ты слишком здоров.

•

Люди делятся на деловых и обещающих. Обещающие — те, кто помнят, что вам обещали, но думают, что вы забыли про свою просьбу.

•

Уродился — от слова «урод». Пожилой — от слова «пожил».

•

В преферанс играл под псевдонимом.

•

— Испаряюсь, — сказала она зычным голосищем.

•

Шаман — это теперь психотерапевт.

•

Казахское поверье: верблюд, когда соврешь, обязательно посмотрит в глаза и покачает головой.

•

В мужчине важны два отношения: к труду и к женщине.

•

Есть люди с большим умственным развитием, есть с малым, а есть вообще без.

•

Зайдешь в театр — все счастливы, зайдешь в больницу — все больны.

•

Стефан Цвейг: «Итак, Бальзак теперь основательно берется за работу. Он извлекает из библиотек мемуары современников, он изучает отчеты о военных действиях и делает подробные выписки. Впервые обнаруживает он, что именно мелкие, неинформативные, но достоверные детали, а вовсе не размашистые мазки, которыми пользуются другие авторы, придают роману жизненное правдоподобие. Но без правды и правдопо-

добия не может быть искусства, и никогда образы не оживут, если они не показаны в связи с непосредственным своим окружением, с почвой, пейзажем, средой, если они не связаны специфическим воздухом эпохи».

•

Роман Франса «Восстание ангелов» — это гнездо, откуда вылетели многие современные фантасты. Сатана после восстания приходит к власти и провозглашает себя Богом. Он объявляет справедливое несправедливым, а истину — ложью. Это дало пищу Оруэллу и напичкает еще многих.

•

Генерал Игнатьев говорил:

— Телефон — ужасное изобретение. Кто хочет, врывается в ваш дом бесцеремонно, без дворцового. Говорит вам, что вздумает, может обругать, а вы даже перчатку ему не можете швырнуть.

•

Эстонский прозаик Энн Ветемаа в подпитии, в 1973-м:

— Когда я вижу радостного человека, мне это уже подозрительно. А грустный человек — норма.

•

Корней Чуковский сказал, что этой девочке никогда не будет больше четырнадцати лет. Я часто встречал ее то на улице, то в магазине и однажды не выдержал:

— Не могу больше! Не здороваюсь с вами, а ведь знаю вас с детства, мальчиком видел в ЦДРИ.

— Замолчите! — строго произнесла она. — Я и так себя потеряла в этом... как его... во времени. Вы взрослый дядя, а я кто?

— Вы всегда девочка. Для всех.

— Да вы что! Поглядите, я давно уже старуха. Меня теперь просят документы предъявить, не верят, что я Рина Зеленая. А вы — «девочка, девочка»... Постыдились бы!

•

Жан Грива рассказывал:

— Когда я был секретарем парторганизации Союза писателей Латвийской ССР, меня вызвали в ЦК и просили последить

за Фолманисом. Есть данные, что он, мол, говорит лишнее, не то, что следует, да и моральный облик коммуниста Фолманиса оставляет желать лучшего. Хорошо, говорю, постараюсь последить. А ведь неувязочка у них вышла. Фолманис — мое настоящее имя, Жан Грива — псевдоним.

•

Как я стал Гулливером. В мае 72-го я оказался в Караганде по командировке одного московского журнала. Жил в центральной гостинице, которую заполнили артисты приехавшего на гастроли цирка шапито, все они были лилипутами.

•

Сергей Антонов заметил, когда я стал жаловаться на что-то (1969):

— О чем говорить! Да чтобы просто быть порядочным человеком, надо иметь гражданское мужество.

•

Несколько лет «Новый мир» был журналом либерально мыслящей интеллигенции. Могли его прикрыть? Разумеется. Однако долгие годы КГБ было выгодно, что такой журнал существует. Легко было вести учет инакомыслия, тех, кто интересуется такого рода литературой. Подписчики, не говоря уж об авторах журнала, изучались, с наиболее активными «вели работу», то есть вербовали, беседовали, предупреждали. Полезность для властей такого, в общем-то лояльного журнала теперь забылась, и создается однобокая картина только героического противостояния.

•

Старый журналист и сиделец Григорий Литинский вспоминал, что его друг Виктор Кин говорил о сокращениях текста.

— Надо резать до живого мяса, пока не будет больно.

Кин был жесткий и квалифицированный редактор. Роман свой он так сократил, что оставшееся было меньше вычеркнутого. Именно Виктор Кин дописывал и переписывал полуграмотного Николая Островского, который работал на кухне вокзального ресторана, а после окончил Высшее начальное училище (только после революции могли такое название выдумать).

В результате Островский занял чужое место в советской литературе. А Кина замучили в лагерях.

•

Евгений Замятин сказал, что пока над литературой будет висеть политическая дубинка, у нее будет одно будущее — ее прошлое. Но вот дубинки нет, а другого будущего не появилось. Впрочем, культура в России всегда жила и питалась за счет прошлого, а настоящее топтала.

•

Добрый писатель Исай Рахтанов за обедом у нас рассказывал:

— Однажды Аркадий Гайдар, подвыпив, шел по улице и остановился возле какого-то посольства.

— Это что за дом?

— Проходите, гражданин!

— Что за дом, спрашиваю? Я не просто интересуюсь, я бомбу бросить хочу.

Забрали его сразу, думали совсем. Но в дело включились сильные люди. В результате, продержав три дня, Гайдара выпустили.

•

За столом в Доме творчества писателей все ругали Горького. Один из присутствующих молчал. Наконец, он взорвался:

— Перестаньте! Как вы можете так о нем говорить?! Он мой первый рассказ напечатал!

•

Известная журналистка делилась со мной опытом (конец шестидесятых):

— Когда я еду писать очерк для «Известий» о Герое Труда, я никогда не задерживаюсь на месте больше трех дней. Если дольше — то увидишь и услышишь такое, что лучше совсем не писать.

О том же и тогда же другой известный публицист:

— Чем глубже я копаю факты и чем ближе к истине, тем меньше шансов это опубликовать. Я непрерывно занимаюсь щелеведением.

•

Рассказ инженера из «почтового ящика»:

— В курилке у нас был выступ в стене, какой-то строительный дефект, об него тушили окурки. Раз, поздно вечером, кто-то, уходя, заметил: пришел человек и стал чистить этот выступ и что-то там крутить. Только тогда дошло, что это микрофончик. А чего только там не говорилось, пока курили в стороне от начальства!

•

Почему в России матерятся? Потому что каждую секунду возникает матовая ситуация. Или инфаркт, или выматериться. Мат — это, в сущности, матоотвод. Хамство везде как терапевтическое средство для одних, которое, однако, разрушает других.

•

Шлюшность нашей эпохи.

•

«Я не редактор. И всегда буду стараться вести праведную жизнь, чтобы Господь не сделал меня редактором» (Марк Твен).

•

«То выражение особенно хорошо, которое, с точностью передавая определенную мысль, вместе с тем дает вам чувствовать и отношение ее к другим мыслям, более или менее к ней близким или отдаленным, но которые не входят непосредственно в цепь излагаемых вами понятий» (А. В. Никитенко. Дневник).

•

Йома — по-латышски — граница между водой и берегом, несуществующая линия, вечно меняющаяся от прибоя. По-русски подходящего слова нет. Кромка, край — неточно. Но точно то, что все мы идем по йоме.

•

«С появлением пианино возобновилась наша игра на рояле». (Цветаева Анастасия. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1972. С. 117.) При встрече в Коктебеле, между всяким прочим, более важным, я сказал ей об этом. Она в ответ:

— Такое пусть редакторы поправляют. Им за это деньги платят.

Не был уверен, что она поняла. А спустя месяц Анастасия Ивановна прислала мне в Москву открытку: не обнаружил ли я еще ошибок, для нее это очень важно.

Тост: «За нечаянную радость!»

Пушкин и Некрасов собирались стать военными, а страсть к картам была у них не слабее страсти к стихам. Чайковский учился на юриста, был ленив и всю жизнь боролся со своей ленью. Мария Конопницкая вышла замуж за каменщика, родила шестерых детей. В 35 забрала детей и уехала в Варшаву. К 39 годам выпустила первую книжку стихов. Жила уроками, сама учила детей и... стала национальной поэтессой Польши.

Эразм Роттердамский говорит: во всем есть доза глупости. Суть сатирика — помочь нам увидеть ее.

Бальзак сказал: когда историк говорит, все верят, а писатель должен всё доказывать. Но есть разные писатели. Если Гофман пишет, что женщина превратилась в куницу — все верят. А когда у Софронова говорится, что человек вошел в комнату, не верит никто.

О литературе он вещал как-то чересчур развязно, например: осталось раздвинуть рукописи ноги и оплодотворить ее. Впрочем, а чем лучше Джонатан Свифт? «Смех, — пишет он, — является самым безвредным из всех мочегонных».

Каков гонор, таков гонорар.

Из письма: «Твоей любовью я остался доволен, но не удовлетворен».

•

В Германии это занятие называется горизонтальным ремеслом.

•

Синклер сказал о гигантских мясокомбинатах: там используется все, кроме поросячьего хрюканья. Так у писателя все должно использоваться из жизни для литературы. И даже хрюканье.

•

— Рассказ пишете? Первую фразу придумали?

— Придумал.

— Выкиньте! Начните сразу со второй.

•

Среди множества интеллигентных профессий в русской культурной традиции главных три: врач, учитель и писатель. Они лепят человека.

•

Старый писатель: «Начало пишется с конца».

•

Посадите своих героев в лодку и пустите в бурное море. Посмотрите, как они себя будут вести, даже если такой сцены у вас не будет.

•

Сколько написано о важности пейзажа. С пеленок знаем о важности портрета. Но с некоторых пор не могу читать рассказ, если в нем пейзажи и портреты.

•

Заголовок — это витрина вашей лавочки. В ней могут быть замечательные вещи, но если витрина засижена мухами, не хочется входить.

•

Бабель: «Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два».

•
Если в нормальной стране о писателе судили по тому, что написано в его книгах, то в нашей стране — по тому, о чем он избегал писать.

•
Максим Горький (оставим без комментария): «Кстати, Христос, «сын божий» — единственный положительный тип, созданный церковной литературой, и на этом типе неудачного примирителя всех противоречий... показано... слабосилие церковной литературы» (доклад на Первом съезде советских писателей).

•
Кровавые утописты.

•
По Спинозе, есть три радости: богатство, слава и чувственные удовольствия. Но есть, по-моему, еще одна радость: ощущение свободы. Например, для заключенного или для писателя, которому не дают быть самим собой.

•
Заходил своеобразный поэт Николай Глазков и декламировал:

Под небом жаворонок вьется,
Зеленая блестит трава,
А Эмма мне не отдается,
И в этом Эмма не права.
Вопрос возникнет поневоле:
Чему ее учили в школе?

•
Запрет на максимальные слова: гениально, эпохально, прекрасно, отвратительно, безобразно, чудовищно. Крайности оставлять на после, отодвигать как можно дальше.

•
Гёте о сути писательства: «Вы, люди, не можете ни о чем говорить, не вынося тут же приговора: это безумие, это разумно, это хорошо, это плохо. А почему? Разве вы пытаетесь понять, почему совершен тот или иной поступок? Что вызвало

его, что сделало его неизбежным? Если бы вы знали это, вы бы не судили так поспешно».

•

Он очень гордился, говоря, что на бюсте его любимой женщины можно расставлять рюмки и закуску.

•

Жюль Ренар, один из моих любимых писателей, в дневнике: «Каждая строчка в записной книжке должна быть сочной, как земляника».

Должна... Но сушеные ягоды тоже хороши к чаю.

•

Национальная черта американца — ритмичность. Если повар варит вкусный суп, то он будет делать такой же до пенсии. Русский бы убавил масла, потом мяса, в общем, творил бы. А тут методизм в генах.

•

Начало рассказа. Я вошел в купе и сразу понял, что мне, как всегда, не повезло. Две толстых деревенских бабы, чавкая, ели, запивая пивом из одной бутылки. А ведь кто-то оказывается в купе с молоденькой травести.

•

Наш стиль — наплеvizм.

•

Молодого Хемингуэя взяли работать репортером в газету по блату. Об этом радостно информирует советская его биография.

•

В Вайвари, на Рижском взморье, по соседству со мной жила писательница, похожая на домработницу, и у нее была домработница, похожая на писательницу. Гости проходили мимо писательницы к домработнице и говорили:

— Какое счастье, что вижу, наконец, известного автора собственными глазами!

— Не видите! — отрезала домработница, указывая глазами на писательницу.

Некоторые визитеры сопротивлялись, начинали спорить, думали, что их разыгрывают. Вскоре домработницу уволили.

•

Один пишет — говорят, читать можно, а печатать нельзя. Но этот один лучше того, которого печатать можно, а читать — да ни за что!

•

Константин Паустовский довольно спокойно, с улыбкой, рассказывал, что он пишет свободно, без условностей. Он сказал: «Я открываю все шлюзы». Но потом, правя, занимался самоцензурой, эти шлюзы закрывая.

•

Искусство писателя, говорил Чехов, не в том, чтобы решать вопросы, а в том, чтобы их правильно ставить.

•

Настоящая литература рождается из настоящего скепсиса. Скепсис — это оптимизм циников.

•

Качество в литературе может превратиться в количество. Количество в качество — никогда.

•

Если у писателя нет биографии, ее надо придумать. Писатель без биографии все равно что без книг.

•

Селинджер: «Надо писать так, чтобы тебя прочитали как можно больше старых библиотечарш».

•

В Переделкине поздней весной выпал пышный снег. Мы стояли на крыльце с писателем-волжанином, украшенным белой шкиперской бородкой. Незнакомый человек подошел и сказал:

— Красиво как! Жаль, что все уже описано. И как-то стыдно братья: напишешь хуже.

— Человек неповторим, — возразил волжанин. — Другой писатель напишет не хуже, а иначе. Как он чувствует. Если толь-

ко вспоминаешь, как было у других, ты читатель. И если стесняешься — тоже не писатель.

•

Ах, Джон Чивер: «Ее тощая, длинная физиономия напоминала унылый подъезд захудалой гостиницы в ненастный день».

•

Есть писатели, а есть описатели.

•

Познакомился с человеком с польского радио. Он переводчик письменной речи на устную. Меняет порядок слов, вставляет разговорные выражения и пр. Но сам по-русски говорит строгим письменным языком.

•

Достоевский писал в 1861 году: «Все искусство состоит в известной доле преувеличения, с тем, однако ж, чтобы не переходить известных границ».

•

Важен вопрос, когда пишется. Если по горячим следам, то много живых, которые не простят ни одной детали. Если история, то можно домысливать, как А. К. Толстой в «Федоре Иоанновиче». Вымышленные исторические лица, целые коллизии и т. д.

•

Опять Жюль Ренар: «Я люблю людей больше или меньше в зависимости от того, больше или меньше дают они материала для записных книжек».

•

Зоценко пародировал Шкловского: «Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше».

•

Писателю нужен свой камертон. Начинаешь читать вещь, она кажется ничьей. Но вот автор взял в руки камертон, ударил им о край стола — и уже ясно, что вещь не ничья, а только его. Если проза без камертона — она плохая или сырая, и над ней надо еще работать.

•

Владимир Федорович Одоевский написал «Городок в табакерке» — страшный срез человеческого общества с бюрократами и рабами, в общем, почище любой утопии. А Виссарион Григорьевич Белинский, большой социальный мыслитель, сказал об этой вещи, что «через нее дети поймут жизнь машины».

•

Во дворе попался навстречу Шкловский, заулыбался и прошепелявил:

«Мне сегодня очень хорошо писалось. Даже если бы меня привязали за ногу к потолку, я бы все равно писал».

•

Это снова Ренар: «На минуту представьте себе, что он умер, и вы увидите, как он талантлив».

•

Иннокентий Анненский о воображении: «Из похорон элегии не выкроишь. Надо еще вообразить и пожалеть себя в гробу».

•

Лев Толстой в работе своей видел три этапа. Первый: поставить слово «конец». Второй: поставить на место мысли. Третий: поставить абзацы.

•

В соавторстве можно делать вещи, в которых надо много придумывать, спорить и мало писать: эстраду, пьесу, песню. Но роман — брррр!

•

Чехов по разным параметрам — французский новеллист. Многие вышли из Чехова и еще будут выходить. Создается неочеховское направление. Мне встречался молодой, приткий автор со связями, который просто переписывал рассказы Чехова, добавляя современную атрибутику, и это печаталось. Да здравствует гибкий соцреализм!

•

Опять Виктор Шкловский: «Тут книжка начала писать себя сама».

•
 Эккертман записал слова Гёте о творчестве. «Мы точно женщины: когда они рожают, то дают зарок не подходить к мужчинам; и раньше, чем заметишь, глянь, они уже снова беременны».

•
 Искусство делится на совестьливое и бессовестьливое. Бессовестьливое искусство можно категорически считать неискусством и успокоиться, уверившись, что только совестьливое искусство — подлинное. Но то, другое, все равно существует, и остается решать, какое делаешь ты сам.

•
 Этот поэт пишет стихи только потому, что не может найти женщину, которая бы его удовлетворяла.

•
 «Талант — это подробность», — сказал Тургенев. Подробности умеют видеть и записывать многие. Писатель составляет из подробностей пасьянс, потом собирает все карты в одну колоду. А в чем же талант? Не в общем ли и целом?

•
 Литература — есть умелый выбор дефектов из жизни общества.

•
 Хороший писатель отличается от других людей тем, что он умеет называть вещи своими именами.

•
 Набоков: «От стихов она требовала только ямшикнегино-лошадейности».

•
 Джон Чивер сперва считал, что роман — это свидетельство неторопливой жизни XIX века и сейчас устарел. Чивер долго писал рассказы, а потом пришел к группе связанных рассказов-глав, которые сперва печатал отдельно. А потом получились «Хроника семейства Уопшотов» и «Скандал».

•
 Роберт Конквест: «Не следует впадать в другую крайность

и отрицать какие бы то ни было достоинства в людях, чьи действия бывали сомнительными. Это означало бы руководствоваться столь же узкими критериями, какие установили для себя сталинисты».

•

Злое письмо в редакцию: «Больше я вам не читатель!»

•

Старый писатель молодому: «Это плохо, это отложи. Это ты напечатаешь, когда у тебя будет имя».

•

Едва ли не самый большой разрыв был в советской литературе между тем, как писатель понимал, о чем писать, и как он писал на деле.

•

Набоков в «Даре»: «Вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть современников, а ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки, не говоря уже о том, что малейший поворот моды может изъять их из употребления... Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного, будущего, — который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени».

•

Бабель: «Никакое железо не может войти в сердце человеческое так леденяще, как точка, поставленная вовремя». Он заимствовал эту мысль у Флобера: «Точка, поставленная вовремя, входит в тело человека глубже, чем остро заточенный нож».

•

Древний китайский мудрец: «Если в двенадцати фразах ты не можешь ясно выразить свою мысль, оставь ее».

•

Плакат в центре города Черкесска:

«Течет вода Кубань-реки,
Куда велят большевики».

•

Для рассказа берем безысходную ситуацию, непонятную. Люди могли поступить так или иначе, и от этого сложилась бы другая жизнь или смерть. Безысходная ситуация интересна автору, потому что он вынужден думать одновременно в разных направлениях, и после интересна читателю, держит его в неопределенности.

•

Смысл прозы (а может, всего искусства). Прочитав вещь, спрашиваю себя: а стал ли хоть чуточку лучше понимать этот мир?

•

Не могу отделаться от мысли, глядя на Шишкина, что у него слишком толстые сосны. В Австрии в горах такие видел, а в русских лесах таких сроду не встречал. Это что — патриотизм «наши сосны — самые толстые в мире»?

•

Драматург Андрей Кузнецов, с которым мы часто гуляли по вечерам, приводил в пример художника, который в углу каждого полотна рисовал маленького белого пуделя. Ему говорили:

— Картина ваша нам нравится. Но пудель для чего?

— Хорошо, — говорил художник. — Пуделя я уберу.

— Для редакторов я всегда рисую в рукописи белого пуделя, — добавлял Кузнецов.

•

Дж. Б. Пристли дал в молодости зарок: «Если хорошее настроение — пиши, если плохое — тоже пиши, если здоров — пиши, голова болит — все равно пиши».

•

Идеальное рабочее состояние в молодости. Уезжаю на реку подальше от Москвы. Вдалбливаю четыре кола и растягиваю кусок брезента. Потом четыре кола поменьше — стол. Сплю под брезентом, ем из котелка. Если очень повезет, все десять дней идет дождь. Бумага сыреет, и я ношу ее за пазухой и сушу у костра. И никакого давления. К счастью, а может, к сожалению, дома есть телефон, семья, друзья, встречи с читателями,

нужны деньги, — и все это возвращает обратно. Но за десять дней успеваю написать больше, чем за год за удобным письменным столом.

•

Сюжетный ход на каждом этапе должен иметь ступеньку. Читатель подозревает, что произойдет еще что-то. Это может произойти, а может и не произойти. Главное, чтобы возникали предчувствия.

•

Всю жизнь он обсуждал проблемы смерти, намереваясь, вероятно, проблемы жизни обсудить после смерти.

•

Есть люди, которым надо спустить пар, как чайнику. От них жди скандала в автобусе, дома или истерики на работе. А потом снова все тепло и сердечно.

•

Иностранец в Союзе писателей:

— Ваши лучшие писатели очень любят Самиздат.

— Уверяем вас, никто у нас не любит Самиздат!

Все смеялись, каждый по-своему. Иностранец так и не понял почему.

•

О решении стать профессиональным писателем:

— Ты был мужчиной и доказал, что умеешь зарабатывать деньги. Теперь будь мужчиной и докажи, что умеешь их не зарабатывать.

•

Нравственность в природе вещей. А что же в природе людей?

•

Если ты слишком аккуратен в выполнении обещаний, люди начинают думать, что ты им чем-то обязан.

•

Соблюдение законов в стиле и некоторая сумбурность в композиции — вот секрет великого искусства.

•

Вы не будете смеяться, услышав анекдот второй раз. Взрослый пресыщен. А дети второй раз смеются над той же шуткой, и третий, еще сильней. Этот феномен происходит от радости получения ожидаемого эффекта.

•

В тридцатые годы стал известным профессор Иосиф Ребельский. Тогда в моде были всякие попытки повысить производительность труда стахановскими методами и создавались разные науки, которые обязаны были способствовать этому. Профессор Ребельский предложил вдвое повысить производительность труда в интеллектуальной сфере и даже стал испытывать новый метод на себе и своей жене. Он состоял в следующем. Вы начинаете работать рано утром, а в середине дня, когда уже несколько утомились, ложитесь спать. Через некоторое время вы просыпаетесь отдохнувшим и снова принимаетесь за работу. Теперь вы можете работать допоздна. Вот и вся хитрость.

В теории это выглядело как возможность создания для советского работника умственного труда двух рабочих дней в течение одних суток. Завистники ставшей вдруг популярной идеи стали обвинять профессора Ребельского в том, что он призывает интеллигенцию спать днем вместо того, чтобы весь день строить социализм. Ребельского отправили в лагерь.

Не знаю как насчет теории, но на практике спать днем хочется, а после этого работать — нет. Вспомнил обо всем этом, когда у нас в университете выступал один известный автор очень популярных книг о том, как преуспеть в бизнесе. И мои студенты его донимали вопросами: «Ну, в чем все-таки секрет успеха?» Он ответил: «Работайте по субботам». Для американцев, у которых на багажнике автомобиля приклеена надпись «Живу для уик-энда», это был удар ниже пояса.

•

Мой тесть был маленького роста и всегда страдал от этого. Когда он построил дачу, он сделал все двери низкими, так что нормального роста человек должен был сгибаться, чтобы пройти. Я часто забывал, что надо согнуться, и набивал себе шишки. В конце концов я раздобыл строительную каску и надевал

ее перед тем, как входить в дом. Но когда приходили гости, хозяин торжествовал. Входя, все ему кланялись. А сам он гордо ходил выпрямившись.

•

Начало рассказа. На дороге стоял ящик, полный денег.

•

Деревенский ресторан в калифорнийской глухомани. Вокруг, вдоль улицы, припарковано десятка три машин, большей частью маленьких грузовичков. В кабак собираются со всей округи фермеры и мексиканские подсобные рабочие, нанятые на сезон. Внутри пьянка, впрочем, весьма мирная, игра в бильярд и в карты. У выхода стоит полицейский. Он специально поставил свою машину так, чтобы всем было видно, что он тут присутствует. Он оглядывает каждого выходящего. И если тот нетвердо стоит на ногах, он ему говорит:

— За руль садиться не рекомендую, пойдешь погуляешь вокруг часик-другой...

И фермер, пошатываясь, послушно уходит гулять, цедя, наверное, какие-либо нехорошие слова в адрес неутомимого полицейского.

Я вдруг подумал, что было бы, если бы такое происходило в российской глубинке. Страж порядка стоял бы за углом, выжидая, пока «клиент» сядет за руль, и только потом подходил. И собирал бы немало.

•

Армянин, владелец магазина женского платья для мужчин в Сан-Франциско.

•

Коммунисты — партия некрофилов. Состоят при трупах Ленина и Сталина, бальзамируют, перезахоранивают, развешивают свои иконы. «Мы жертвою пали в борьбе роковой» — выходит, мертвые поют. «Все, как один, умрем за власть советов!» — кто же останется стеречь мавзолеев? А массовые убийства... И опять рвутся к власти с той же целью. Посмотрите на лица их нынешних вождей — на них все пороки. А «вечно живое учение» — только потому и вечное, что мертвое.

•
За четыре года до своей смерти в 1932 году великий русский физиолог Иван Павлов написал: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами».

•
Литературоведение с человеческим лицом.

•
Пушкин писал: «Проза наша так еще слабо обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных». А так называемые писатели-модернисты превращают хорошо развитую прозу в убогую. Куда же они движутся?

•
Бранящиеся критики доказывают, что у них с критикуемым писателем нет ничего общего. Они — плохая, с дырами, изоляция между автором и читателем.

•
Невыносимый человек: никуда его не вынесешь.

•
«Узник России» — о Пушкине, беглеце и отказнике — писался в Клязьме, под Москвой. То были десять лет отказа: не давали печататься, не выпускали. А вокруг кое-кто из знакомых, то писатель, то пианист, то актер, нет-нет да получал визу. Каждый день мой маленький Илья вбегал с улицы в дом, клал руки на клавиатуру пишущей машинки, не давая мне писать, и спрашивал:

— Ну что? Пушкин уже уехал?

Он очень надеялся, что Пушкина выпустят, и тогда, может быть, наш час приблизится.

•
Кто не любит цитат, тот заимствует без кавычек.

•
Тынянов потрясающе рассматривал жизнь писателя как материал для литературы: «И еще... входит в состав славы, — в нее засчитывается биография как личные издержки литературного производства. Биография, которая делает возможным осуществление литературы и в которую переходит литература».

•
Эдисон сказал, что каждое поражение — это шаг вперед. Мысль очень утешает в случае поражений. Даже воодушевляет. Подумайте только: чем больше поражений, тем более стремительное движение вперед. А если сплошные поражения и провалы, то просто яростное движение вперед со скоростью эдисоновского электрического света, распространяемого от его лампочки. И не надо добиваться успехов, они только вредят, лучше, если все до лампочки.

•
В милиции на стене надпись: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка» (Феликс Дзержинский).

•
Русская удаль: «В ночь с 1 на 13 января хорошо погуляли».

•
Депутаты Госдумы — это «думняки». А женщины-депутаты — «депутаны».

•
В Москве были такие «калорийные булочки». Название немислимое и отпугивающее для Америки: название, чтобы никто не покупал.

•
Чехов на пятьдесят процентов ошибался. Только в женщине все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А мужчина — его уже не исправишь.

•
Калифорнийский город Сан-Хозе, называемый русскими эмигрантами Санхозеевкой.

•

Рассказ о техасском моем друге Майкле Адамсе с его Купером.

Купер этот достоин отдельной новеллы. Ярко-рыжий (соррег — значит «медь» или «медный»), гладкошерстный пес с умными глазами, лающий, когда все смеются, будто он тоже понял шутку, он был взрослым ребенком в бездетной семье Адамсов. Однажды Майкл позвонил и попросил моего сына поработать dogsitter'ом, то есть побыть с его собакой на время их пятидневного отъезда в Париж. Сын переселился к ним в дом. Оказалось, однако, что кормить Купера не надо: он сам открывает холодильник, достает себе еду, а главное, сам закрывает холодильник. Выгуливать собаку тоже не надо: Купер обучен садиться на унитаз и спускать за собой воду. Зачем же нужен dogsitter?

Оказывается, надо с собакой разговаривать и не выгуливать, но гулять с ней, дать ей побегать, поиграть в мяч и прочее, чтобы она не так скучала по хозяевам. Так что сыну моему скучно не было.

•

— Мой жених не без способностей, — сказала Наталья Николаевна Гончарова подругам.

И хихикнула.

•

В самолете, летящем из Сан-Франциско в Лондон над Гренландией, пилот по ошибке включил какое-то радио. Диктор сказал по-русски: «Передаем концерт по заявкам радиослушателей. Инне из Воронежа песня в подарок от мужа из Красноярска».

•

Юлиан Тувим: «Я — поляк, оттого что хочу быть поляком. Это мое личное дело, и никто не вправе требовать от меня отчета, объяснения, доказательств».

•

Истоки терроризма. Героическое прошлое русской революции — объявление возле метро «Василеостровская» в Петер-

бурге: «Здесь помещалась динамитная мастерская партии «Народная воля».

•

Томас Мор, поэт, бард и переводчик нескольких моих книг на английский: «Я написал новую песню и сказал в ней так много, что на некоторое время высказался весь. Так что не знаю, когда теперь снова возьмусь за стихи».

•

Ирландским детям в школе говорят: мы — маленькая страна, когда вырастете, у вас не будет работы и надо эмигрировать. И пол-Ирландии выезжает. Но когда ирландцы в Америке выходят на пенсию, они могут вернуться на родину. Там их хорошо встретят, помогут купить недорого жилье, снова акклиматизироваться, поддерживать здоровье и вести нормальную, спокойную и уверенную жизнь в обществе без катаклизмов.

Так хочется, чтобы российские старики эмигранты возвращались в Россию, дабы на родине прожить счастливо и беспечно остаток лет. Может, это когда-нибудь будет?

•

Старение: остается все меньше людей, которые с тобой на «ТЫ».

1970—1999.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Из Калифорнии с любовью, или От автора</i>	<i>3</i>
---	----------

1. ВРЕМЯ БЕЗ МЕСТА

Я родился в очереди	7
Ликвидация писателя № 8552	15
Потемкинская Олимпиада	22
Как меня редактировали	27
Цена точки	37
Прощание с Москвой	45
Бегом из партии	52
Ад, рай и колючая проволока	56
Чудеса переименований, или Партийная топонимика	69
Место для Гоголя	79
Прозаические рифмы	86

2. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Фельдфебели человеческих душ	89
Родимые пятна, или Московиты на Диком Западе	97
Бюро погоды имени Павлика Морозова	106
Власть и слово	120
Тусовка для нигилистов	130
Хороводы вокруг мифов	137
Уроки Василия Гроссмана	148
Летописец Брайтон-Бич	159
В зените славы и после	165
Без намордника, без поводка, даже без ошейника	172

3. ВЗГЛЯД И НЕЧТО

Моды через годы	179
Впереди планеты всей	188
Техасские заскоки	198
Заметки калифорнийского мозаичника	219
Парадоксы кампуса	239
Активисты театра абсурда	254
Светофор по-московски	260

4. ДИАЛОГИ

Зигзаги писательской судьбы	273
От «Бесов» до «Ангелов»	280
Литература в эмиграции: из вчера в завтра	298
Миф, который всегда с нами	307
Есть ли связь между Пушкиным и Павликом Морозовым?	317
Роман как катарсис	329

5. МИНИАТЮРЫ

Выбранное место из переписки	347
Номо Sovokus	351
Одно желание	355
Подлинная история одного криминала	357
Зачем нервировать Пушкина?	361
Песенка о треугольнике	367
Излом судьбы	369
«Совиньон»	370
Былинки	374
Что говорила писательская дочка от двух до пяти	381
Что говорил писательский сын от двух до восьми	386
Записки на клочках	389

Юрий Ильич Дружников

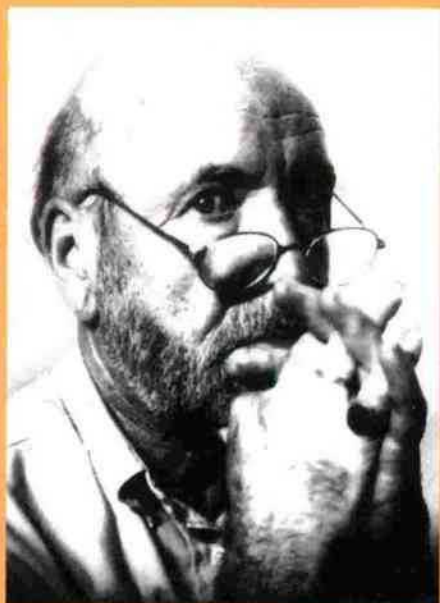
Я РОДИЛСЯ В ОЧЕРЕДИ

Редактор *Б. Т. Евсеев*
Компьютерная верстка *В. И. Тушева*
Корректор *О. И. Голева*

Лицензия ЛР № 071949 от 23.07.99
Издательский дом «Хроникер»
123007, Москва, Хорошевское ш., д. 62
Тел./факс: (095) 941-40-23

Подписано в печать . Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная.
Печ. л. 27. Тираж 2000 экз. Заказ № 447

Отпечатано в типографии
"ООО ТНК Маркет"
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 4



ЮРИЙ ИЛЬИЧ ДРУЖНИКОВ родился в 1933 году в Москве. Был известен как детский писатель, хотя большинство произведений на родине писалось им «в стол». С 70-х годов участвовал в правозащитной деятельности. После вынужденной эмиграции поселился в США.

Ныне Юрий Дружников автор известных романов «Ангелы на кончике иглы», «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», многих микро-романов, профессор Калифорнийского университета, Вице-президент Американского ПЕН-клуба (секция «Писатели в изгнании»).

В книге «Я родился в очереди», название которой дало опубликованное в газете «Вашингтон пост» эссе, перепечатанное впоследствии двумястами газетами мира, автор пишет: «Вся Россия стоит в очереди за лучшей жизнью...»

В собранных под одной обложкой статьях, воспоминаниях, фельетонах и юмористических миниатюрах, автор книги «Я родился в очереди» искренне и доверительно размышляет о России, в ее прошлом угадывая ее будущее.